23.1.14

Вальдшнепы. 1989 г.

В МАСТЕРСКОЙ ВЛАДИМИРА КОРКОДЫМА

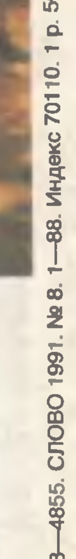
Читайте на стр. 30

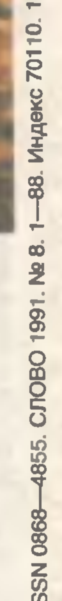
Андрийчево. 1990 г.





Пижма. 1988 г.





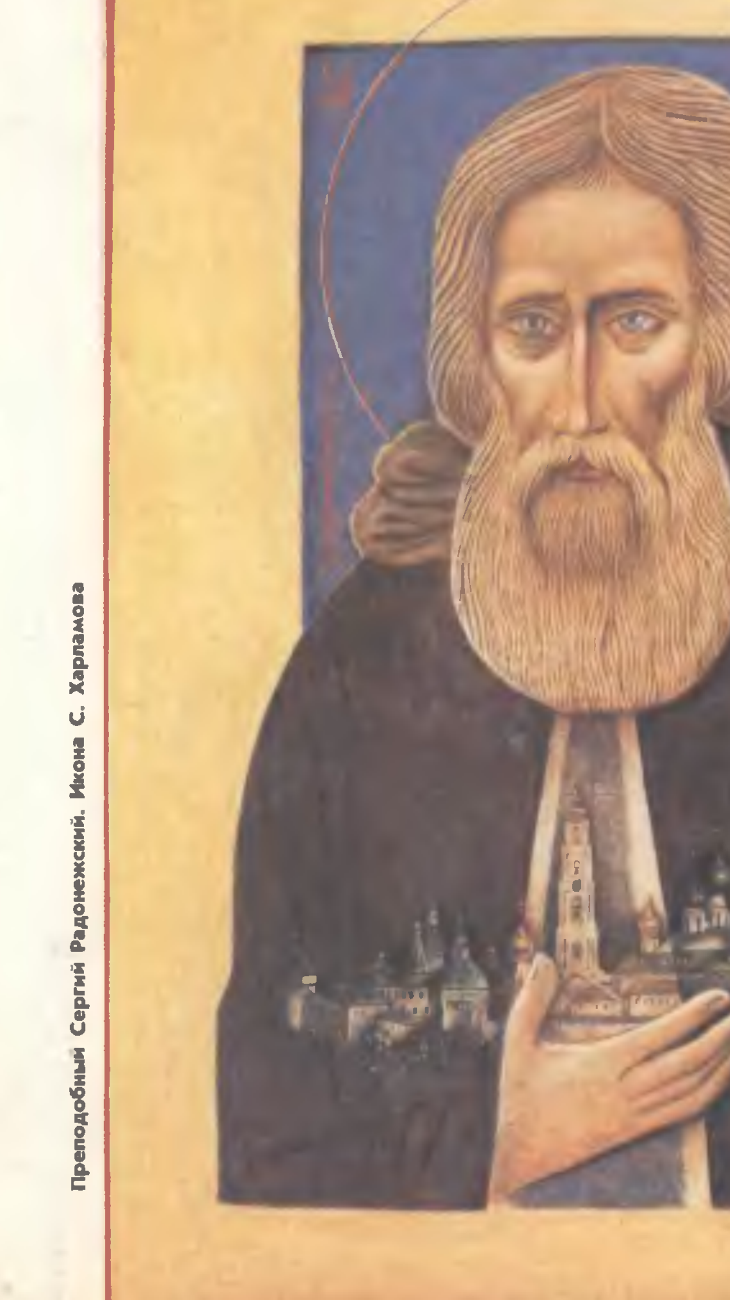
ISSN 0868—4855. СЛОВО 1991. № 8. 1—88. Индекс 70110. 1 р. 50 к.

АВГУСТ

ISSN 0868—4855

СЛОВО

VIII'91



Преподобный Сергий Радонежский. Икона С. Харламова



ИСТОКИ

ЛЕГЕНДЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ. НАХОДКИ.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

Год Сергия

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия. Такой бессменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу Преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего ко гробу Преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни Преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества прнтекают ко гробу Преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего чвстного существования. И этот приток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивалнсь или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы можно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это описание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической н нравственной жизни.

Впрочем, если Преподобный Сергий доселе остается для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встреченные лица из многого множества в эти дни здесь теснящихся, чтобы понять, во имя чего поднялись со всех мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы Преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетни одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил Преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени? И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ: но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действнем так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почитать их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской землн, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародиым бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые прнносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались детн, родившиеся после нее. Мать пугала неспокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросвлись бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную ро-

бость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу. 〈...〉

Напутствуемые благословением старца шли борцы, одни на юг, за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно уже глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе царит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах, языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными, нравственными средствами, про которые не знаешь и что рассказать, как не находишь слов для передачи светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси, и это мнение разделял православный Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением воскликал: «*как о может в сих странах таков светильник явиться?*» Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, сидевших *во тьме и сени смертией*, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV в. признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни. Впечатление людей XIV в. становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Там духовное влияние Преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем, и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохранило силу непосредственного личного впечатления, какое производил Преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной памятью, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух настроение. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил целые века: оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени Преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады Преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.

ГОД СЕРГИЯ мы открываем словом историка В. О. Ключевского к 500-летию со времени преставления Сергия Радонежского и серией гравюр и словом о Преподобном художника Сергея Харламова к 600-летию со времени преставления этого великого покровителя и защитника Русской Земли. ЮНЕСКО уже объявила 1992 год ГОДОМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. Но в нашей стране до сих пор Загорску не возвращено его историческое имя — Сергиев Посад. Хочется надеяться, что это произойдет в Год Сергия, который станет началом восстановления всех монастырей, основанных Сергием и его ближайшими учениками: Благовещенского в Киржаче, Андроникова и Симонова в Москве, Голутвинского в Коломне, Зачатьевского в Серпухове, Борисоглебского под Ростовом Великим, Георгиевского на Клязьме, Саввино-Сторожевского близ Звенигорода и Прилуцкого близ Вологды, Дубенского, Стромынского, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского... Только так, восстановив эти духовные святыни, сможет возродиться сама Русь. Святая Русь!..

Гравюры из альбома С. Харламова, посвященного 600-летию со времени преставления преподобного Сергия Радонежского см. на второй стр. обложки и стр. 18—20. Икона С. Харламова «Преподобный Сергий Радонежский» (первая стр. обложки) — в храме Рождества Богородицы в Старо-Симоновом монастыре.

ЮРИЙ ГАЛКИН
ВЛАДИМИР СТЕЦЕНКО

Молчаливое большинство

Шел третий день съезда писателей России, многое в выступлениях ораторов стало повторяться, так что — откровенно признаться — было уже скучно сидеть в зале, хотелось лишний раз выйти и покурить. Кроме того, обозначились и так называемые групповые интересы, хотя особого разнобоя в речах и не было заметно — все призывали к консолидации здоровых конструктивных сил, к здравому смыслу и прочее, но, видимо, каждый призывающий вкладывал в эти понятия свое содержание, о каковом приходилось только догадываться. У меня, человека отчасти на съезде постороннего, крепло убеждение, что «молчаливое большинство», к которому адресовались все эти призывы, уже догадалось о тех невысказанных тайных смыслах, что-то решило про себя, склонилось к какому-то определенному убеждению, и вот об это молчание, как о скалу, разбиваются всякие благие призывы.

В прежние времена, бывало, это «молчаливое большинство» на всяких собраниях и съездах никто всерьез и не принимал. Да и само-то это «большинство» как будто бы заранее согласно было с тем, что никто не принимает его всерьез. Мало того, что согласно, но как будто бы и благодарно было, что допущено на съезд, — мне приходилось быть свидетелем таких съездов и прежде, и такое состояние публики наблюдателю очень хорошо заметно. Но вот на сей раз очевидно было совершенно другое поведение «молчаливого большинства»: и молчания прежнего не было, да и не таким безобидным оно было — из этой «тучи» иногда гремели самые настоящие раскаты грома.

Рядом со мной за стол со своим стаканом чая пристроился — с первого взгляда видно было — товарищ из провинции. И я, любопытства ради и чтобы не молчать, спросил:

— Издалека, видимо, на съезд приехали?

— Нет, — говорит, — не так чтобы издалека.

— Откуда же, если не секрет?

— Нет, не секрет. Из нечерноземной зоны.

И какая-то насмешливость в голосе, только я не понял, по какому адресу, но показалось, что по отношению к «зоне». Должно быть, принял меня за журналиста из какой-нибудь центральной газеты.

— И как, — спрашиваю, — жизнь в этой «зоне»?

— Да так, — отвечает, — средней паршивости.

Я про себя думаю: вот типичный представитель «молчаливого большинства». Если что и слышно в кулуарах, так это только невнятное недовольство своим материальным положением: дескать, негде печататься, не издают... А что печатать, что издавать?.. Недаром, видимо, живет в издательской среде мнение о таком литераторе: талант посредственный, мыслишка скромна и необязательна, а поскольку все-таки человек, да и семья, дети, то именно материальный вопрос и выходит на первый план. Да и откуда же могут взяться у задавленного нуждой человека мысли высокие, суждения смелые?.. С невольным участием я сказал соседу, что вот идут разговоры, да и в газетах мелькает, о российских писателях как о людях консервативных, что на съезде они ничего нового не сделают, никаких прогрессивных решений не примут, так что и ждать от съезда нечего, и вот, говорю, интересно, как вы сами об этом можете рассудить?

Признаться, я ждал протеста, неудовольствия, но этот товарищ из «нечерноземной зоны» отвечает весьма спокойно:

— Ну что ж, может быть и так, а вообще-то кто его знает.

— Видите ли, — говорю, — это происходит потому, что вы, писатели из глубинки, своего рода тайна. Если известные писатели, такие как Астафьев, Белов, Распутин, у всех на виду, мы знаем уже заранее все их суждения по всем злободневным вопросам, то вот о том, что думаете вы и что можете сказать, никто не знает. Вот, к примеру, вся страна знает мнение Василия Ивановича о том, что землю нужно отдать крестьянам.

— Видимо, Василий Иванович прав.

— Но похоже, вы в чем-то сомневаетесь? Почему я так спрашиваю? Потому что существуют и другие мнения о тех же колхозах. Одни говорят: колхозы надо разогнать. Другие — наоборот: колхозы сохранить. Как вы считаете?

— Ничего определенного по этому вопросу я сказать не могу.

— У вас нет своего мнения?

— Не то чтобы нет, но я не могу эти решительные термины приложить к той деревенской жизни, к тем деревенским жителям, которых знаю. Они все слишком разные: молодые и старые, здоровые и больные, семейные и бобыли, многодетные и бездетные. Или даже вот такой пустяк: одному до пенсии 2—3 года, другому 15—20 лет, и вот вам уже два различных суждения о том, взять землю или не брать, выйти из колхоза-совхоза или не выходить. А еще прибавьте к этому разные профессии — от инженера до скотника. А еще учтите различные характеры, разные понятия о том, что хорошо, а что плохо. Я уж не говорю о трудолюбии, о том, как люди, даже молодые, по-разному воспринимают самые элементарные бытовые понятия. А все это может повлиять на решение вопроса о земле, о личном хозяйстве, о колхозе. Плохие они или хорошие работники, но это прежде всего живые люди, точно такие же, как мы с вами, и как их можно разгонять или загонять? Я этого понять не могу.

— Но вы не будете, я думаю, отрицать, что и Василий Иванович, когда говорит о том, чтобы землю отдать крестьянам, подразумевает не каких-то условных крестьян?

— Нет, не буду, что вы! Это свидетельствует только о моих ограниченных возможностях судить о жизни, которую я вижу.

Полностью диалог будет опубликован в седьмом выпуске ежегодника «Писатель и время» (изд-во «Советский писатель»).



ГАЛКИН Юрий Федорович, родился в 1937 году в Архангельской области. Окончил Литературный институт. Автор книг: «Брусника» (Архангельск, 1965), «Кто там стучит?» (Архангельск, 1967), «Пиво на дорогу» (Москва, 1970), «Будний круг» (Северо-Западное изд-во, 1971), «Красная лодка» («Советская Россия», 1974), «Беглецы» («Современник», 1978), «На родных берегах» («Советская Россия», 1984), «Дорофеевский календарь» («Советский писатель», 1985), «Слова и годы» («Современник», 1989).

— Прошу прощения за бесцеремонный вопрос, — сказал я, — но хочу спросить вот о чем. Вы-то почему так пассивно держитесь? Выступают одни и те же люди, преимущественно известные писатели, многие уже не по одному разу успели выити к микрофону, а большинство как молчало, так и молчит. Не могу понять: это равнодушие к чему — к своему литературному делу? к своей судьбе? или к судьбе Отечества?

— Может быть, просто нет привычки к публичным выступлениям и к высокому штилю. Во всяком случае, я за свою жизнь еще ни разу не выходил на трибуну.

— Только это?

— Нет, не только. Я, например, сомневаюсь, что мог бы сказать что-то важное и интересное, что еще не сказано. А банальных вещей и без меня много говорят. Да, я знаю, что Отечество в опасности. Но при этом в первую очередь думаю о том, что бы такое сделать для Отечества, как ему помочь? Может быть, весной посажу лишнюю сотку картошки. Вы улыбаетесь, но что же мне делать? Конечно, такие понятия, как «Отечество» и «съезд» ближе лежат, чем «Отечество» и «картошка», но съезд скоро закончится, мнкрофоны уберут в кладовку, я поеду домой, останусь один на один со своими бумагами, со своими заботами. Вот сидишь с такими сомнениями и молчишь.

— Может быть, для Отечества полезнее было бы ваше слово, чем сотка картошки? Это сколько килограммов примерно?

— Смотря какой год. Если взять по-среднему... Мешка три, два.

— Ну вот — два мешка! Но сколько бы ни было. Разве можно писательское слово сравнивать с картошкой!

— Да отчего же нельзя? Если это слово знаменитого, крупного писателя, тогда, конечно, нельзя, а если неизвестный, средний, так отчего же? Ведь вот у вас, издателей, журналистов, у критиков есть такой верный термин: «серая» литература. Кто же делает эту «серую»? Мы и делаем, серые, посредственные сочинители. Что уж тут на трибуну вылезать. На трибуну, чтобы быть услышан, надо выходить героем, известным человеком, тогда тебе внимают, тебя слушают, даже если ты и говоришь о том, что снег-де, товарищи, белый. А представьте: выхожу я или кто-то другой вроде меня, и вот люди в зале нвчинают друг у друга спрашивать: кто такой, откуда, что написал, какие книжки? И никто ничего не знает, все пожимают плечами.

— Извините, но вот вы сказали: второсортные, посредственные. Это, по-моему, несколько оскорбительно?

— Нет, ничего оскорбительного нет. Если мы согласны на «серую» литературу, то должны согласиться и на наличие «серого» сочнителя, то есть второсортного, посредственного. Ну, можно назвать и так: средний писатель. Вот нас таких, средних, и большинство. И не вижу причины обижаться. Если человек не надувается тщеславием, если не выдумал своеи значительности, своего величия, тогда для него нет ничего оскорбительного в том, что вещи называются своими именами. Таких, как я, было тьма до меня, и будет тьма после меня.

— Но этого не скажешь о наших писателях-трибунах!

— А потому их и почитают и доверяют. Из нынешних новых политиков они самые, пожалуй, бескорыстные. Ведь Василий Иванович Белов, когда ратует за деревню, не стремится, я думаю, на этом коне въехать в министры сельского хозяиства...

— Да в этом бы ничего и зазорного не было.

— Зазорного нет, но если ты претендуешь, так прямо и говори: хочу-де быть президентом! Хочу быть мэром! Хочу быть председателем! А то ведь говорит про консолидацию, про здравын смысл, а разумеет какую-то свою тайную цель и думает, что мы дураки и ничего не видим. Да как же не видим, все ведь видно, все у него на лице написано!

— Да, время, что называется, смутное.

— Смутное, да... И не грешно сейчас не только писателю свой стол с бумагами оставить ради трибуны, но и монахам взяться за мечи. За духовные мечи...

— Так вот и оставили бы стол!

— Да если бы у меня была к этому общественному делу какая-то склонность, так разве не оставил бы? Но вот в том-то и беда, что нет к этой деятельности никакой способности. И трибуны боюсь, как лобного места. Да и красно говорить не умею. А при таких своих достоинствах я только опорочу и званье, и все дело, а пользы от меня никакой не будет. Здесь я зритель. Статейка, очерк — это еще куда ни шло. Да вот посмотрите, на почве литературы сейчас как раз н меньше стало официальной лжи.

— Вы хотите сказать о «секретарской» литературе?

— Да. По-моему, наши бывшие лнтературные генералы удалились от дел и почивают на покое вместе со своими собраниями сочинений.

— Не беспокойтесь, места, которые они освободили, уже активно занимают новые, молодые претенденты.

— Вот как?

— Да разве вы не видите этого по вашему съезду?

— Видеть-то вижу, да в толк не возьму, ведь говорят хорошие слова о принципах, о новых подходах, о поколениях, об Отечестве... И за всеми этими высокимн словами как-то и не предполагается личного интереса, корыстной цели...

— Вот за что я люблю провинциальных писателей, — сказал я, — так это за их наивность, за их доверчивость и простодушие!..

Может быть, я и зря так сказал: мой собеседник насупился, стал теребить свою бороду.. По виду — ему было за пятьдесят, так что должен бы и сам понимать, что же тут хмуриться?

— Вы хотите сказать, что ничего не изменилось, кроме терминологии? — спросил он растерянно.

— Нет, изменилось, но похоже, что в худшую сторону. Особенно для провинциальных писателей. Вот взять хотя бы план нашего издательства. По сравнению с прошлым годом, он сокращен наполовину, и сокращен в первую очередь ваш молчаливый брат. Писатель-общественник, он ведь активен не только на съезде, на собрании, на митинге, он весьма активен и в издательстве. И меня, как издательского работника, удивляет ваше спокойное отиошение к такой невеселой перспективе. Сейчас, когда грядет рынок, конкуренция, коммерческий подход к книге, вам, провинциальным, придется и вовсе тяжко. Почему вы об этом не говорите здесь, на съезде? В чем тут дело? Или вы доверили свою судьбу этим писателям-общественникам, которые, как я слышу, говорят о каких-то издательских концернах, о новых структурах?

— Конечно, слова красивые: структуры, концерны, ассоциацин. И вроде бы есть надежда, что и тебе там местечко найдется.



СТЕЦЕНКО Владимир Пантелеевич, родился в 1935 году в Азово-Черноморском крае, окончил филфак МГУ, заведовал отделом в журнале «Вокруг света», в настоящее время — ведущий редактор русской прозы издательства «Советский писатель». Автор и составитель десяти «молодогвардейских» сборников «Бригантина» и пяти «совписовских» сборников «Писатель и время». В 1991 году вышла его книга «Паруса жаждут ветров».

Я невольно улыбнулся такой наивности:

— Надежды юношей питают, а вы-то из такого возраста как будто вышли.

— А что же делать-то нам? Вот если бы я был уверен, что я писатель хороший, что со мной обходятся несправедливо, то я бы, может быть, и иа трибуну вышел, и гневную речь сказал в защиту культуры. А так — что же... Я знаю, что литература без меня не обеднеет, что люди проживут и без моих сочинений, так по какому праву я буду требовать каких-то льгот, какой-то особои защиты? Пускай будет так, как будет, а там посмотрим.

Я вижу, что незаметно для себя втянулся в этот ни к чему не обязывающий разговор, да и в зал было поздно идти. «Может быть, говорю, выпьем еще чайку?» — «А давайте», — отвечает мой незнакомец из «нечерноземной зоны». Налили еще по стаканчику...

Бывает, стоишь со знаменитостью и вот так о чем-нибудь хочешь поговорить, так одна только мука выходит, а не разговор: то и дело подходят самые разные люди и вмешиваются. И вмешиваются-то не для чего-то важного, а чтобы за ручку подержаться, поздороваться, себя зафиксировать в памяти знаменитого человека: «Здрасьте, Виктор Петрович! Читал ваш новый рассказ — потрясающе!..» А ведь видно, что врет, а говорит так — только ритуал исполняет. И вот так — один за другнм подскакивают и не дают слова молвить. А тут и знакомые авторы, проходят мимо, точно тебя и нет, так что можно спокойно поговорить... Впрочем, хорошо, думаю, что пока до кумовства не дошло. Дело в том, что провинциальные писатели обычно гораздо интереснее рассказывают о себе, о своей жизни, о местах, где живут, и так тебе распишут-разрисуют, что готов, кажется, все дела бросить и ехать аж на Камчатку или на Сахалин, а начнешь книжку читать — куда все и девается: как все скудно, убого, топорно написано, и все куда-то пропадает...

— А вообще, что вы читаете из современных авторов? Что вам дорого, близко?

— Из современных... Да как вам сказать... — он для чего-то оглянулся по сторонам, словно бы хотел сообщить мне какую-то тайну. — Читать-то иногда читаю, особенно наших корифеев, но так, чтобы шапку снять, давно ничего такого не попадалось.

Разговор наш неожиданно повернулся и на такие темы, на какие я и не предполагвл говорить с незнакомым человеком. Но в конце концов почему бы и не поговорнть? Это раньше опасно было вести с незнакомыми такие разговоры. И если у одного из «молчаливых» есть такие соображения, значит, оно, это «большинство», знает, о чем молчит. Интересно мне было и другое: когда говоришь на такие темы с писателем знаменитым, вся твоя душа превращается в одно внимание: ты вннмаешь, и более ничего на твою долю соображения не остается, потому что Он знает все, ему и положено все знать, а тебе положено внимать, и в этом внимании есть своя прелесть, и, не скрою, прелесть большая: проникновение в тайное тайных, прикосновение к творчеству. Зато тут приходится и самому соображать, самому г о в о р и т ь. Я чувствую, как меня охватывает странное волнение, как будто я уже приступил к работе над статьей... Да вот и названне выскочило: «О чем молчит «молчвливое большинство». В самом деле, вот их тут тысяча человек сидит и молчит, уже третий день сидят и молчат, и посмотреть со стороны: ну что это за писатели такие? что они сочиннли и что интересного могут сочинить? да и для чего их такое количество? разве не достаточно только одних знаменитых?.. Но нет, не все так просто с этим «молчаливым большинством», и хоть журналисты сейчас и празднуют свой праздник, похоже на то, что информационный порох у ннх скоро кончится. В самом деле, не такое уж это консервативное болото — «молчвливое большинство»!

— Знаете, — говорю, — очень было интересно поговорить, но и о некоторых вещах хотелось бы продолжить. Вы не возражаете?

— Да что же... если нужно...

— Не то чтобы и нужно, а у меня возникло такое желание. Между тем мы с вами говорим почти два часа, а так и не познакомились. — И тут я назвал себя. Назвался и он:

— Галкин...

Нет, не слышал. Впрочем, «Пиво на дорогу»? Слышал, но не читал. Ничего, спрошу у знакомых... тот ли?!

— Давайте, — говорю, — ваши координаты. — Достал блокнот, на чистой страничке написал крупно: «Молчаливое большинство».

— Итак: Галкин...

— Юрий Федорович. Владимирская область, деревня Дорофеево.

Ну что же, это интересно — деревня!

— И после съезда вы в деревню и поедете?

— Да, туда и поеду.

— Интересно было бы взглянуть на вашу деревню, — сказал я, впрочем, без всякого определенного решения, а скорее — просто так, машннально, из вежливостн. И он в таком же необязательном духе — из вежливости — ответил:

— Ну что ж, пожалуйста, гостям всегда рады.

На этом мы и расстались.

Съезд между тем продолжался, и уже началнсь самые волнуюшне и решительные минуты — выборы всякнх руководящих органов и секретареи, — а разве не для этого только и собираются все съезды?! И вот тут-то я еще больше убедился, что не зря интунция поворачивала меня к загадке «молчаливого большинства». Ведь если прежде никто с этнм большинством и не считался (да и само-то себя оно, это «большинство», принимало ли всерьез?!), если раньше судьба всех руководящих органов и руководящих персон решалась где-то на Старой площади, в укромных кабинетах и уютных подмосковных дачах, и проводилась в жизнь двумя-тремя лицами, а «молчаливое большинство» дружным поднятием рук только формально утверждало тайно принятое решенне, то сейчас я был свидетелем иного состояния, совершенно иных взаимоотношений между «большннством» и теми «двумя-тремя», сидящими за длинным столом президиума. Нет, это «большинство» уже было не молчаливое и не послушное, з а л весьма чутко реагировал на все те призывы, с которыми к нему обращались то уговаривая, то угрожая выходящие на трибуну персоны.

В перерыве я стал искать Галкина в толпах гуляющих по фоие и буфетам писателей. Но где ты его найдешь — облнком такой неприметный, а борода — так теперь едва

ли не у каждого борода. У одного спрошу — нет, не знает. Другой — не видел. Я уже и надежду всякую ствл терять. Но вот в самом конце дня, в гардеробе, когда одевался, чтобы домой идти, мелькнуло что-то знакомое.

— Ну что, Юрий Федорович, приглашаете в гости для обстоятельного разговора?

— Если желаете, так что же, пожалуйста, да только чем же я могу быть вам полезен? Впрочем, поимейте в виду, что у среднего писателя все среднее: и житье, и слова, и мысли.

— И прекрасно. Мне как раз это и надо!

Собрался я только в середине января, на Крещение. Дорога не такая уж и дальняя — часов пять на междугородном автобусе, но такое впечатление, как будто попал в совершенно иной мир. Не сказать, чтобы я прежде не бывал в деревне в такую глухую пору, но давно — во времена студенческих лыжных турпоходов, и ночевать даже приходилось в крестьянских домах, но когда ты в компании веселых и беспечных сверстников и сверстниц, так тебе и дела нет до всего постороннего. А тут — иду вечером по деревне, в домиках ни единого огонька, и кажется, что деревня эта — какая-то странная бутафорская постройка. И пусто, безлюдно. Если кого и встретишь, так только старушку с батожком...

Мое пристрастие к популярным произведениям лирической «деревенской» прозы невольно воспитало и укрепило во мне несколько стереотипов, к которым у меня подспудно свелось представление о народе, о народной культуре, о духовности и нравственности, и все это я уже осознавал как бы в прошедшем времени, — разве «Лад» В. Белова не об этом именно и говорит?!

Вот и сейчас, посреди пустой и показавшейся мне бутафорской деревни, я как будто воочию в этом убеждался: да, все а прошлом здесь, и только что-то условное осталось, призрачное, предположительное, как декорации после спектакля. И о каком же тут народе-кормильце всерьез можно говорить, о какой эстетике, о каких песнях и плясках? — ведь все это предполагает наличие живой жизни, живых, здоровых людей, полнокровного бытв, а что здесь? — тихо и пусто, как на кладбище, да и резные наличники на заледеневших окнах пустых домов скорее похожи на те самые пластмассовые венки...

Такими невеселыми впечатлениями о деревне Дорофеево я с Галкиным и поделился. И у нас совершенно неожиданно получился разговор на эту горькую тему.

— Так-то оно и так, зрелище зимней деревни не очень веселое для непривычного глаза, — сказал он, — но не поддавайтесь первым впечатлениям, в них много эмоций, а эмоции парализуют наши и без того слабые способности соображать передним умом. Да первые впечатления часто бывают и обманчивы.

— Что же, мне не верить своим глазам? А если шире взять. Разве пустые наши продовольственные магазины не свидетельствуют о плачевном состоянии сельского хозяйства?

— Это в вас, Владимир Пантелеевич, уже громким голосом заговорил рассерженный потребитель. Но ведь пустые магазины могут свидетельствовать и о другом...

— Нет, извините, это правда, факты, статистика, она прямо указывает! Да и как отрицать очевидное?

— Я согласен, что есть — то есть. Но я на старости лет убедился, что жизнь состоит не только из очевидного, не только из фактов и стітистики...

— Ну, само собой, есть еще духовность, нравственность, мораль.

— Дело тут, может быть, не в морали, а в том, что у жизни, да и у частного человека тоже, есть странное свойство: какую бы правду вы ни сказали, как бы точно все ни определили, всегда найдется что-то такое, чего вы не заметили, не учли, в чем чуть-чуть ошиблись, и вот из того, что вы не учли, не заметили, не определили, жизнь вдруг производит свое главное достоинство, как бы вопреки вашим гордым определениям, как бы наперекор даже самой себе, а доказательство своей непостижимости, незаконченности.

— Но к вашему-то Дорофееву это вряд ли относится, ведь тут все очевидно: разруха, запустение, одним словом, неперспективный населенный пункт.

— Отчасти и так, но возьмите во внимание и то, что жизнь в таких деревнях пресекается во многом искусственно. И вот в этом-то насилии вся и беда. И точно так же в других местах, на тех же центральных усадьбах, она искусственно возбуждается. И не то чтобы тут был какой-то прямой злой умысел, а под предлогом более производительного труда и разумной организации всего быта трудящегося человека. Ведь по поводу таких вот деревень существует научный термин: архаическое расселение. И вот это архаическое расселение умные административные головы стараются привести к правильному виду. Правда, кончается все это очень плачевно для жизни.

— И вы говорите, что тут нет злого умысла! Да здесь преступление!

— Вообще во всех экспериментах над российской деревней я вижу необыкновенный, ничем не ограниченный произвол административного творчества. Из всех видов творческого труда творчество административное самое, по-моему, агрессивное, эгоистическое и страшное по конечным результатам, потому что в него вовлекаются массы людей. И все эти творцы, малые и большие, активные и пассивные, ленивые и энергичные, умные и глупые, в меру своих способностей, настроений и разумений стараются не над чем иным, а над живым делом, над живым человеком, над нашей общей жизнью. И при этом никакой совершенно ответственности за результаты своего творчества. И если деревня еще дышит на этих самых дотациях, если в городе есть еще молоко, так только потому, что приходит весна и вырастает зеленая трава. Порой мне кажется, что только на этом мы и держимся.

— Но что же произошло с деревней, с сельским жителем в результате такого массового и многолетнего творчества?

— По сути то же самое, что и с городом, только там в коловращении тысячных толп и потребительских страстей эта главная беда не бросается в глаза; труд для трудящегося человека потерял высокий смысл, потерял творческое созидательное содержание. Не выдержал, так сказать, конкуренции в соревновании с творчеством административным, по природе своей хищным.

— Смысл труда искажен, потерял созидательное начало. Как это случилось? Когда? В семнадцатом году?

— Хронология, как мне думается, тут может быть и другая. Шафаревич находит идеи и практику социализма в самых древних временах. Но если говорить о российской деревне в новейшее время, то эта новейшая драма русского народа началась тогда, когда люди, овладевшие властью, поняли, что практическое дело решают не идеи, а хлеб: в чьих руках хлеб, в тех руках и власть в государстве. И вот они взяли в свои руки хлеб. Сначала прямо, грубо — при помощи продотрядов и всяких экспроприаций, потом — при помощи соответствующей оргвнизации сельского хозяйства в колхозы и совхозы. Тут уже вовсю действовало это самое административное творчество. И все ради того, чтобы понадежнее отделить трудящегося человека от результатов своего труда, от конечного продукта для того, чтобы по своему усмотрению этим самым продуктом распоряжаться. Вот тут административное творчество показало настоящие чудеса. Ведь распределять приходится не только миллионы тонн чугуна или ствли, комбайны или нефть, распределять приходится и квартиры, и табуретки, лекарства, колечки для жениха и невесты, соски для новорожденных, гвозди, шурупы, даже вот навоз в деревне — и тут надо идти к бригадиру или к директору совхоза и писать заявление: такому-то от такого-то, прошу вашего разрешения... И вот мы все сделались иждивенцами и путаемся в этой распределительной паутине. Да мало того, что не желаем из нее выбраться, но еще придумываем

все новые и новые способы такого именно существования. Вот уже и распределять-то, кажется, нечего, один разве воздух остался, но тем не менее так сладко, так радостно, с таким пафосом твердим: кризис там, кризис здесь, на краю пропасти, у последней черты!.. А мне кажется, что это прежде всего кризис нашего иждивенческого сознания. Вы не согласны?

— Нет, нет, я слушаю.

— Да это теперь уж стало общим местом, на эту тему сейчас пишут газеты и журналы, говорят все радиостанции и все президенты...

— Но при этом как-то исподволь утверждается мысль о том, что все дело в плохой работе крестьянина, рабочего, что вообще русский человек работать не умеет. И в самом деле, посмотришь — сколько кругом безалаберности, сколько всякого брака, ведь на каждом шагу...

— Так-то оно и так, но мне кажется, что такой взгляд на вещи как нельзя лучше обличает в самом говорящем стопроцентного иждивенца, да еще алчного, эгоистичного и рассерженного, его заинтересованность не в человеке, а только в результатах его работы, в конечном продукте. Другими словами, мы видим в другом человеке не брата, а работника. И естественно, что если я вдруг остался без масла и ветчины, так кто же виноват? — прежде всего он, работник. Раньше-то я не особенно об этом думал, но брюзжать-то брюзжал, с Германией сравнивал, с Америкой, однако исправно ходил на службу в какой-нибудь Союзглавболт на семь, на восемь часов, и вот так все более-менее шло, очередь на квартиру ли, на машину ли подвигалась, а тут вдруг — бац! — нету масла, нету ветчины, нету того, нету сего. Даже болтов не стало, и распределять как будто стало нечего, однако не зря же я творческий работник — я начинаю распределять какую-нибудь условную продукцию: там где-то ее условно делают, а я условно распределяю. Вот тут уж и запахло краем и пропастью. И умные забеспокоились, заволновались — ведь голова-то работает, анализирует, сопоставляет, ищет причину, ищет выход на благополучие. А таких умных, ищущих, сравнивающих, представьте, сколько по городам и весям накопилось за эти десятилетия, сколько одних только пенсионеров, просидевших свои жизни по Союзглавболтам, по всяким комитетам и исполкомам, по всем конторам и конторкам! Теперь они требуют своего обеспечения уже на полном законном юридическом и нравственном основании. Да и трудно не согласиться: ведь сейчас они не служащие, которые что-то там распределяли, согласовывали, увязывали, продвигали или тормозили, планировали или проектировали, сидели на совещаниях и заседаниях, подписывали, плутовали помаленьку и долго или крупно и одним махом, брали подношения, ждали своей очереди на повышение и на премию, нет, теперь они просто живые люди, при этом пожилые, больные, на заслуженном отдыхе при скромной пенсии. Но ведь свой творческий опыт и приемы они передали своим сынам, дочерям и внукам, и теперь уже эти поколения продолжают их дело. И вот таких нас накопилось уже в нашем государстве не тысячи, не миллионы, а тьма! И хотя мы разные по всем статьям, и особенно по уровню материального достатка, но сущность у нас одна — иждивенческая. Это взгляд внешний, взгляд постороннего, все равно что иностранца, ведь иностранец смотрит на чужой народ, как фотоаппарат или как телекамера, судит о народе по магазинам, по сервису, по преступникам, скандалам да по лакеям в гостиницах. И для иностранного туриста, приехавшего ублажить свою плоть и любопытство, это вполне естественно. Но иждивенческое сознание и нас самих сделало иностранцами в своем отечестве. И словно никому в голову не придет, что пора бы, братец, на себя оборотиться, подать пример, да ведь умным-то нашим соотечественникам — в первую очередь. Но нет! Если и зайдет речь о работе, так только в смысле колхозного поля или автомобильного завода. И это вполне естественно для иждивенческого сознания, для самой природы административного творчества: оно крепко тем, что распределяет результаты чужого труда, и чем больше возможностей распределения, тем увереннее и полнокровнее это административное творчество, тем оно самодовольней. Я смотрю, вам все это скучно слушать?

— Нет, я думаю: к чему все это вы подведете?

— Да к тому, почему русский человек работать не умеет. Он не не умеет, он просто *не хочет работать*. Вот в чем вся трагедия. Можно даже сказать и так: национальная трагедия. Я боюсь таких высоких слов, но тут, по-моему, преувеличения нет. Да вы и сами заметили: бутафорская деревня. Разве это не признак совершившейся трагедии?

— Но все-таки я как-то не до конца понимаю ваше рассуждение. Административное творчество — ну, допустим. Но если оно заинтересовано а конечном продукте и чтобы его было как можно больше, то отчего этого продукта становилось все меньше и меньше? Что же, была допущена ошибка?

— Да, вот тут-то вся и штука! Нам всем казалось, что дело а ошибке, в бюрократизме, в волюнтаризме, в том или ином ведомстве. И мы думали, что стоит ошибку исправить, стоит одного деятеля заменить на другого, обновить или омолодить состав Политбюро или правительства, как все в нашем государстве и наладится, и мы все получим ожидаемые блага, догоним и перегоним. Но как-то все не получалось, верно? Да по сути оно и не должно было получиться, потому что мы хотели догнать и перегнать по потреблению, и ради этого мнимого «душевого потребления», как будто душе так уж и нужно мясо, масло и холодильники с телевизорами, мы усердно совершенствовали административное творчество, механизмы распределения и этим самым окончательно добивали а людях творчество созидательное. И вот тут-то начинается другая половина дела...

— О!.. (Вечерело. С дороги глаза мои предательски слипались. Да я и не ожидал, что этот хмурый «леший» зальется соловьем.) Перехватив мой взгляд, сей новоявленный наследник Энгельгардта на минуту стушевался:

— Нет, не беспокойтесь, эта половина короткая. Помните, у Пушкина сказано: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». А если право продавать ваши рукописи присваивает какая-нибудь контора, какой-нибудь ВААП, какой-нибудь комитет или главк, надолго ли хватит вашего вдохновения? И вот чтобы у художников, музыкантов, писателей, изобретателей совсем не упали руки, а была видимость свободы, их государство и держит на коротком поводке. Иначе оно просто и не может. Это только унтер-офицерская вдова сама себя высекла, а государство наше — вдова слишком самолюбивая и крутая. Вот на крестьянстве наше государство и показало себя: тут слабины никакой нет. Но сколько времени, сколько лет такой грабеж мог продолжаться? У народа иссякли всякие запасы и резервы трудолюбия, ответственности, совести, чести, долга да и просто трудовых навыков. Да и сам народ иссяк, распался на людей, превратился в население, в контингенты. Вот с этими последними старухами и кончаются эти самые нравственные резервы. А тут подрастают и хилые поколения крестьянских детей, и они уже не только не знают таких понятий, как трудолюбие, совесть, ответственность или любовь к ближнему своему, но и знать не желают. А для чего ему это знать? Хватит того, что бабка да отец в юности своей работали «на совесть» на умного дядю. И тут уж видно даже какое-то злое, мстительное чувство, глухая, утробная ненависть к самому образу жизни своей бабки. Умные дяди и тети вовсю, конечно, стараются ради производительного труда на заводах и фермах: тут тебе и всякие дотации, и тарифы, и приплаты, и переплаты, и обещания, и посулы лучшей жизни в следующей пятилетке. Но ведь и я стал умный, и я сказал себе: все, Ваня, хватит, веру в построение потерял, а жить между тем хочется. И жить — как люди. Но как? Трудом? Трудом если чего и наживешь, так только гроб. И к такому выводу пришел не один какой-то умник, а все, все без исключения, в том числе и дети. Не разумом, так своей обывательской селезенкой это поняли, так по примеру свата-брата-приятеля усвоили. Подобные вещи в людях распространяются без всякой гласности. Но что такое для трудящегося человека,

для всякого вообще здорового, нормального человека, в том числе и администратора, перестать трудиться с сознанием ответственности и своего достоинства? — ведь это верная гибель. Может быть, более надежная, чем на войне. Перестать трудиться в свое удовольствие, потерять возможность трудом рук своих и ума своего обеспечивать себе и ближним своим достойное существование, потерять вкус к своей работе, не испытывать в редкие минуты вдохновения в труде, не переживать светлой радости при виде плодов этого труда — да ведь это растлить душу свою, развратить сознание свое, превратиться в попрошайку, в иждивенца, в лукавого бездельника, в пьяницу, которого будут стращать тем, что удержат премию за третий квартал. Вот что на другой стороне нашего государственного фасада. Достоинство трудящегося человека — в полнокровном труде, когда можио «рукопись продать», в труде, который человеку по душе, по призванию, по способностям, то есть в труде творческом, каким бы этот труд ни был. Только такой труд, в котором человек осуществляет весь свой потенциал, напоминает ему о его божественном начале. Вот о жизни на основе такого труда мечтает всякий нормальный человек, когда устремляется в перевороты, революции, переделки, переустройства, перестройки. В такие редкие минуты, мне кажется, население становится народом. Только ради этого да ради Отечества своего, а вовсе не за какие-то блага, которые ему обещают лукавые вожди. Вот в чем природа того первоначального пафоса, первоначального порыва «униженных и оскорбленных».

— Вы имеете в виду семнадцатый год?

— Нет, вовсе нет. Да вот хоть у Пушкина в «Дубровском» — чем не семнадцатый год? А сколько таких местных бесшумных возмущений, по выражению Ключевского, постоянно полыхало в России, пока они не сливались в какой-нибудь Пугачевский пожар! Если сословная распря висит в воздухе, сама собой она теплым тихим дождичком не прольется. Нам иногда кажется, да и в книжках об этом пишут наши философы, ублажая наше любопытство, что все-де случилось от того, какие взгляды были у Чернышевского, а какие у Бакунина, как о том или о сем судилрядил Герцен, да в чем он не сошелся с Марксом, или какие слова Ленин написал на секретной записке Троцкого, да кто какие речи произнес на шестом или двадцать шестом съезде. Нет, я думаю. Всякие революции — это не сочинения Бабефов, Робеспьеров и Лассалей с Марксами о том, как нужно распределять имущество, решать женский вопрос да как быть с прибавочной стоимостью. Эта вся теория, все партийные и личные взаимоотношения и интриги оказываются важны потом, когда волна схлынет, на мокром берегу остается только пена и мусор — вот тут надо наводить порядок и все раскладывать по местам, чтобы придать истории желанный и удобный для обывательского восприятия вид. Вот тут-то и становится важным, кто чего и когда сказал, кто какую статью написал и в какой газете это напечатано, где и когда приняли ту или эту резолюцию да кто чего утаил от партии, и что бы случилось, если бы партия вдруг узнвла, и кто кого повелел немедленно р-р-растрелять.

— Но разве не такова вообще традиция исторической науки? Возьмите летописи. Или ту же «Историю» Карамзина...

— Так-то оно и так, но «История» Карамзина не искажает хотя бы фактов. Пусть там все связывается исключительно с именами князей, царей российских, пусть их имена и деяния — как опорные столбы этого исторического обозрения, но ведь так Карамзин свою Историю и именует: «История Государства...» Но и народ русский в этой истории постоянно присутствует — как некое национальное единство, которому и призваны служить монархи. И Карамзин постоянно об этом напоминает. Тут есть свой взгляд, но нет преднамеренных искажений. Да и ради чего бы искажать Карамзину факты, что-то умалчивать, прятать князей за псевдонимы? Но вот фвльсификация русской революции приобрела не только государственный, но и межгосударственный, мировой масштаб. И само собой это не могло случиться. Значит, была цель. И для этой цели очень быстро была создана пропагандистская индустрия со своей технологией производства. Но чтобы производство работвло исправно, то есть чтобы продукция выходила именно та, какая и нужна, необходимы надежные кадры. Не знаю, кажется, уже в восемнадцатом был создан этот знаменитый Институт красной профессуры... Во всяком случае, очень скоро кадров таких стало в избытке. Но чтобы у этого производства была перспектива, прочный фундамент и горизонты развития, нужна наука. И пожалуйста, готова наука, в полную силу уже десятилетия работают соответствующие академии, институты, высшие школы. И вот спросите, для чего все это? Только для того, чтобы придать истории желанный облик.

— Но мне кажется, что сейчас картина изменилась. Если говорить о прошлом, вы правы, но сейчас... Посмотрите, сколько всего открылось!..

— Ну как же, очень много. Секретное письмо Троцкого! Неизвестная записка Бухарнна! Зверства Зиновьева! Пометки на полях Владимира Ильича Ленина! Да вот еще интересный факт — мягкие сапоги товарища Сталина!..

— Нет, извините, этот ваш тон я не принимаю! Во-первых, восполняются белые пятна, а во-вторых, правдивое освещение ставит все по своим местам. Сейчас появилось очень много интересных книг.

— Да, согласен, интересное чтение. Вот хоть о Кирове тоже. Мне уже раз пять попадались книжки по поводу того, кто да как убил Сергея Мнроновича. И вот люди тоже, кого ни спроси, готовы читать про эти дела и пять, и десять раз. А дай ему статьи да речи этого горячо любимого вождя, тут же начнет зевать и бросит. И вот эти наши новые философы, новая волна аспирантов, кандидатов, докторов. Чтение, конечно, любопытное. Кто убил, как убил, у какого наркома сколько жен было, да как сложилась дальнейшая судьба его детишек и внучат, да что они помнят про дедушку... Все эти историки и философы напоминают мне Наполеона, сидящего на барабане. Помните, у Толстого при опнсании Бородинского сражения? Наполеон смотрит в подзорную трубу и в маленький круг видит отдельные фигуры, лошадей, орудия, но когда опускает трубу и смотрит простым глазом, то где находится то, что он только что видел, он не знает, потому что кругом дым, беспорядочное движение толп людей, выстрелы, крики, и Наполеон, этот великий полководец, не находит себе дела и места в том, что видит «простым глазом», и идет пить пунш. Но мало того, что эти наши философы и историки, старые и молодые работники нашей пропагандистской индустрии, похожи на такого Наполеона, но благодаря им и у нас уже в мозгах эти самые подзорные трубки, и мы с таким удовольствием и восторгом смотрнм в свою историю и удивляемся, как дети: ах, Сталин на Ближней даче, ах, теперь на Дальней, ах, Троцкий с кроликами, ах, Никита Сергеевич грядки копает! А когда мы эти трубки опускаем, то чего видим простым глазом? — вот эти бутафорские деревни? А тут и другие, новые фнлософы свон трубочки подсовывают: взгляните, сударь, какие величественные фигуры! Взглянешь, и в самом деле, даже дух перехватит: и царь Николай, и Петр Аркадьевнч Столыпин, и генерал Врангель с супругою!.. И какие все лнца благородные, какне интеллигентные, какое обхождение приятное, какое воспитание!..

— Но ведь нельзя и отрицать!

— Да дело не в том, чтобы одно отрицать и замалчивать, а в другом — надувать, пока не лопнет. Вот Толстой — смотрите, как он взглянул на событне, на Бородинское сражение. Не в подзорную трубочку Наполеона, не простым глазом Кутузова. И не сверху, как бы с аэроплана. Он смотрит на это драматическое событие, на кровопролитие, на толпы людей, как Бог, и мы, малые, смотрим вместе с ним из-за его плеча. Смотрим и видим все события разом, и каждого человека в этом событии на своем месте, чувствуем этого человека, понимаем его, но главное — понимаем смысл всего события.

— Но там — художественное произведенне, роман, эпопея! Мы же говорим о конкретной истории.

— Дело, думаю, в другом. Прежняя однопартийная наука и пропаганда отличается от новой, перестроечной, независимой и многопартийной только тем, что в тех подзорных трубках, которые нам в мозги вставлены, меняются стекляшки да фокус подкручнвается, и больше ничего. И все под предлогом устранения белых пятен и черных дыр. Да оно и понятно. Ну вот представьте, может ли великий полководец Наполеон вслух признаться, что он не руководит сражением, что все те команды, какие он отдает своим адъютантам и генералам, сплошная чепуха, игра, некий ритуал, и вот он вовсе не великий полководец, а беспомощный раб этого ритуала. Да ведь признайся он себе в этом, ему бы, если он честный, искренний человек, надо бы тут же пустить себе пулю в лоб. А если бы рука не поднялась, так его бы свои же генералы тут же бы и пристрелили. Или солдаты закололи: с ума-де сошел, и так не ко времени. Потому что им в их кровавом деле, в которое они уже влипли, нужен полноценный кумир, соответственно обутый и одетый раз и навсегда, а уж как там стрелять да штыком колоть, это мы сами знаем. Вот в таком же положении и наша государственная пропаганда, вся эта индустрия контроля над мыслями, чувствами и поведением населения. А ведь оно громадно — триста миллионов. Да еще и разнородно. Вот так сразу взять и признаться? А в чем признаваться? Разве только в отдельной ошибке, в секретном указании по изъятию ценностей из храмов? Или приоткрыть закрытую статистику? На это, пожалуй, и мы, обыватели, согласны, но и не больше — ведь нам жить надо.

— Но почему же? Ведь обыватель как раз больше хлеба жаждет правды, правды и только правды!

— Это верно, правды-то я жажду. Но все-таки больше правды я хочу государственной надежности. Когда народ превратился в населенне, распался на людей, у каждого из нас нет иной защиты и опоры, кроме государства. И правды мы жаждем только такой, которая бы укрепляла нашу надежду на государство. Вот так наше сознание и балансирует...

— Ну хорошо, допустим. Но это все-таки из другой уже оперы. А вот вы говорите, что Толстой взглянул на событие, как Бог. А возможна ли наука, официальная или независимая, которая глядела бы подобным образом на события? Вот на ту же нашу революцию.

— Мне кажется, что это невозможно. Науке необходимы документы, бумаги, всякого рода резолюции, приказы и указы, а крестьяне Тамбовской или Костромской губернии никаких документов о своих настроениях, намерениях, страданиях обыкновенно не оставляют.

— Но давайте допустим такую возможность. В конце концов есть ведь произведения художественной литературы, в которые это попало. Разве наука не может опереться хотя бы на эти факты? И вот что бы она могла увидеть в нашей драматической истории, чего она пока не видит в свои подзорные трубки?

— В самом деле, даже в официальной художественной литературе иной раз чего-нибудь проскочит непонятное, молчаливое... как Григорий Мелехов. И видно, что народ ко всем этим партийным интригам, съездам и конференциям, брошюркам и статейкам отношения-то не имеет никакого. В порыве надежды и отчаяния он совершил страшное и кровавое дело, он как будто бы и не желал этого, хотел только постращать, попугать, на справедливое место все поставить, а тут глядь что получилось, какая заварилась каша. И это сознание вины как бы отрезвляет обыкновенного человека, делает его виноватым, признающим свой невольный грех. А сознавать свой грех, да еще сознавать искренне — это ведь мучение, пытка, она ввергает человека в одиночество, и солнце в такие минуты делается черным. Может быть, из-за этого-то и распадается то единство, которое делало людей народом. Но сам этот распад драматичен. Да и в «Тихом Доне» это хорошо видно: отряд превращается в банду, банда распадается на обозленных одиночек... Народ распадается на отдельных людей, но и люди-то эти уже стали другие, души изломаны насилием, сознание отравлено злобой. Вот говорят: брат на брата, сын на отца. Ничего странного, ведь всякое родство уже теряет смысл. Но люди все-таки разные, и одному хочется поскорее домой, к жене, к детям, к отцу с матерью, снова пахать, ковать, заботой излечить душу. А другой уже привык к сладкой тяжести маузера, привык к власти над себе подобными, которую этот маузер ему обеспечивает, привык шарить по чужим домам, а в особенности по дворцам. А мало ли таких именно натур в народе, таких характеров? — кто их считал... Да что я вам буду говорить!

— Если такой взгляд принять, то все другое теряет смысл, все наши Робеспьеры и Наполеоны превращаются не в вождей и полководцев, а во что-то противоположное.

— Мы содрогаемся, когда читаем всю эту открывшуюся кухню о репрессиях, казнях, убийствах, но для них это было делом будничным, обыкновенным революционным текущим делопроизводством. Глотки рвали из-за Карла Маркса или Розы Люксембург, да ведь при таком кровавом деле чем нелепей, тем лучше, легче. Конечно, грязную работу умные комиссары поручали тем самым озверевшим голубчикам, кому по вкусу пришлась тяжесть наганов, умные комиссары их приметили, собрали в число и приставили к делу, выписали им мандаты, разослали по губерниям и волостям. И пошла работа! Так вот и началось это административное творчество масс. Так начвлось превращение громадных и многолюдных деревень в бутафорские. Что, вы не согласны относить начала в такую даль?

— Согласен, однако, Юрий Федорович, что-то... все у вас как-то сложно слишком получается. И безотрадно. Только отчаяния нам в дни кровавой смуты, созданной перестройщиками, не хватает! — вырвалось у меня, когда в сгустившихся сумерках бородатый «домовой» перевел дух и встал подбросить в камин дровишек. «Ишь как прорвало молчальника! Завил-таки столетье в узелок. Надо же: «Наполеон на барабане»! Того и гляди антитезой Народная Дубина явится, чтобы гвоздить направо и налево...» Но я не успел додумать эту мысль.

Оседлав конявое березовое поленце и укрощая осиновым колышком искрометные головешки, плещущие на избяной пол из кровавой пасти камина, новоявленный владимирский Георгий продолжил недозволенные речи:

— Что же делать, Владимир Пантелеевич... Раньше, бывало, как-то все попроще объяснялось, в основном личными достоинствами вождей, ошибками, происками троцкистов, капиталистов. Потом стали всю беду искать в коллективнзацин, потом — культ личности, репрессни, ГУЛАГ этот, а тут, дескать, война, разруха. И выход напрашивался как будто простой: выполнить план, освоить целину... А сейчас вон какие открылись горизонты, вон куда наши мысли смело простираются!.. При такой информированности населения метафоры с социальным смыслом трогать опасно. Никогда не знаешь, что под нею похоронено. Вот лежит такая метафора: «История ВКП(б), краткий курс...» И такая с виду непрезентабельная книжечка, обложка картонная, бумага серенькая, а тем не менее — катехизис нескольких поколений, их судьба, их вера и оправдание...

— Оправдание этого самого админнстративно-политического творчества масс?

— Да, так выходит. Получила выход и оправдание эта темная энергия, какая прежде была зажата законом, заперта в душах людей религией, традицией, общественным мнением, живой действующей культурой, даже необходимостью в поте лица добывать хлеб свой. Теперь ворота широко распахнулись. И вся эта дьявольщина хлынула наружу — молодая, энергичная, жадная, невежественная, да мало того — уже и подзаконная — все оказались при важных государственных делах — от избы читвльни в такой вот деревне до комиссариата в Москве, все стали как бы «должностными лицами», а все понятия, вся терминология уже приготавливалась полным ходом. И даже

дети — пионеры, синеблузники, комсомольцы. И все при деле, все в строю и под руководством, все дружно и весело поем. Вот вам и пафос тот самый первых послереволюционных лет, первых пятилеток, видимость асеобщей бодрости, счастья. Не забудьте и работу пропагандистской машнны, она хоть груба и примитивна, но маховик уже пошел, и его просто так не остановить. И творческий жар при виде всего этого волнует и жжет душу: пятилетку в четыре года! пятилетку в три года! даешь то, даешь это!.. А те, кто держится за плуг, за лопату, за топор, за косу и серп? — вот пусть покрепче и держится, труд этих самых масс и нужно организовать соответстаующим образом: в коммуны, в колхозы, в бригады — и чтобы не обременять трудящегося человека лишними заботами по распределению «конечного продукта». И с точки зреиия административного творчества, в которое вовлечены массы людей, это уже все само собой разумеется. К тому же и слова оправдательные, объясняющие есть, и наука готова! — не зря корпели монахи-бенедектинцы над своими «утопиями», не зря думу думали Сен-Симоны, Бабефы, Гольбахи над вопросами о собственности, о Боге, о женщинах — в смысле освобождения трудящегося человека от всех этих посторонних забот. А в практической жизии все это еще и упростилось — для удобства административного управления одних масс людей другими массами — до нелепостей, до абсурда. Но ничего, — это головокруженне от успехов, сейчас маленько охладим этот админиистративный раж. И затормозить бы машину, но — поздно, маховик уже набрал обороты, и все может затрещать и сломаться, и самих вождей похоронит бесславное крушение того, чего сами построили. Значит, выход один: пусть крутится. Да и обслуги уже много набралось, штаты большие. Да, иекуда деваться, нужио оставить все сомнения и строго смотреть за машиной, вовремя ее смазывать, проводить профилактические работы да оберегать от возможных диверсантов и вредителей. Ну вот так... Наверное, вы и не рады, что поделились своим впечатлением о деревне Дорофеево?

— Нет, ничего... Но картина, конечно, невеселая. Да это бы ладно, но вот какое-то чувство безвыходности, безнадежности. И не знаешь, что и делать... Вас-то такой вопрос не угнетает?

— Да как же, хочешь — не хочешь, а на что-то надо опираться. Конечно, во всеобщем масштабе я не знаю, что делать, я не политик, не академик от экономики, не депутат. Но я знаю, что участвовать в совершенствовании такого порядка вещей, даже в роли обличителя, я уже не могу.

— Извините, но это не ответ: «Никто не даст нам избавленья...»

— Да ведь вы, Владимир Пантелеевич, ответа и не ждете!

— Да, вообще-то так, ио хотелось бы знать, что же делать...

— А что делать! Как там в песне поется: поручик Стеценко, поднимем бокалы!..

— Нет, что вы!

— Как — совсем не употребляете?

— Ну не то чтобы совсем, но сейчас... я бы погулял немножко.

— Да, смотрите-ка мороз н солнце! Погуляйте, конечно, а я пока приготовлю дровишек да затоплю печку.

Я оделся и вышел на деревенскую улицу, пустую и белую...

●

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Евреи и Россия

Памяти
О. и Н. Мандельштам,
Бориса Пастернака,
Леонида Каннегиссера,
Ильи Бунакова-Фондаминского,
Эм. Райса,
Марка Алданова,
Петра Равича и многих других...

Встреча со второй советской эмиграцией (с ее еврейским большинством) невольно заставила меня сравнить бывших советских евреев с евреями русской эмиграции двадцатых годов. К сожалению, вряд ли можно будет определить более или менее точно национальный и социальиый состав этой эмиграции. Ясно одно: что в околомиллионном послереволюционном потоке были не только аристократы и капиталисты, но и крестьяне, рабочие, мещане, интеллигенты самых разных этний. Русские евреи, бежавшие от коммунизма, после поражения Белого движеиия, тоже принадлежали к разным социальным категориям: сахарозаводчики, банкиры, писатели, журналисты, адвокаты, художники, музыканты, ученые, философы, доктора и иемало еврейской бедиоты. В благотворительной и культуриой общественной жизни русского «беженства» евреи принимали живейшее участие. Что же касается политических воззрений этой части эмиграции, то приверженцев «Союза русского народа» в ней, понятно, не было (да и среди русских их было раз-два и обчелся), но существовали разные общерусские политические оттенки: кадеты, эсдеки, монархисты, эсеры, среди последних и бывшие террористы*.

Как это ни удивительно, но как раз русские евреи, знавшие черту оседлости (впрочем, легко пересекаемую) и другие ограничения, для них оскорбительные, оказались глубоко привязанными к обидевшей их России. Самые яростные противники царского режима не написали и не издали за границей ни одной статьи против России и против русского иарода. Среди политически умеренных было немало таких, которые считали, что не будь революции, и при монархии были бы проведеиы либерально-государственные реформы, и еврейский вопрос был бы разрешен. Россия для них не была чужой страной; те, кто принадлежали к интеллигенции, были привязаны к русской культуре, другие, которых раньше звали «местечковыми», просто к русскому быту, так долго сохранявшемуся у первых поселенцев в Палестине или США. Страна, в которой они родились, народ, среди которого они жили, и язык, на котором они говорили, не были для них презренными.

* Покойный Петр Шувалов рассказывал мне, что тогдашний редактор «Русской Мысли», С. А. Водов, захотел познакомить его с приехавшим в Париж из Америки М. В. Вишняком и пригласил их позавтракать в ресторане. Перед тем, как войти, М. Вишняк отвел Шувалова в сторону и сказал: «Прежде чем сесть с вами за один стол, я хочу дать вам честное слово, что я не участвовал в убийстве вашего отца» (бывшего московского губернатора, убитого террористами).

Статья публикуется с любезного согласия Зинаиды Шаховской. Впервые опубликована в журнале «Вестник русского православного движения» (Париж, 1983, III—IV, № 140).

Как же могло случиться, что революция, которая стерла черту оседлости и дала — по коиституции — одинаковые права всем народностям Советского Союза (в действительности, одииаковое бесправие), и позволившая евреям в страшиое ленинское время занять в правительстве и органах репрессий самые ответствеиные посты, сделала из миогих детей и аиуков тех, кто революции служил, обличителей на Западе не так марксизма, как России и русских.

Я не голословио это утверждаю. Мне страшно было прочесть — страшно не за Россию, а за авторов и их фантазмы — напечатаиные в Израиле признания, иапример, «Позднюю любовь» Амоса Оза: «...эти фаитазии приятно волиуют меня», — признается герой романа Амоса Оза. Он видит еврейские танки, сметающие восточные границы Европы. «...Дрожит и стонет русская земля. Рушатся и падают церкви. Киев, Харьков, Приднепровье, Ростоа — все повержено, все сметено с лица земли. Месть! Месть! Кишииев! Посмотрите, как вчерашиие наши притеснители — такие сильные и рослые — поднимают руки и сдаются. Звоият колокола всех церквей!» До этого сотни еврейских танкоа пересекают не менее мстительно и Польшу: «...никто не уйдет от ответа, ни литовец, ни поляк, ни украииец. Вся Россия повержена в прах. На языке моих предкоа шепчу: амен, амен!»

Немногим лучше и стихи Давида Маркиша. В журнале «Сион» в 1973 году в поэме «Синий крик» Давид Маркиш пишет:

> Мы ели хлеб их — но платили кровью.
> Счета сохранны — но не сведены.
> Мы отомстим — цветами к изголовью
> Их северной страны.

И когда заглохиет «красных криков гул», давиды маркиши стаиут «у березового гроба в почетный караул». А дальше хуже:

> Мы дали вам Христа — себе а ущерб,
> Мы дали Маркса вам — себе на горе.

Такие недостойные излияния заслуживают презрения; они опасны только тем, что могут питать антисемитизм. И жалко, что их авторы не получили отповеди от самих евреев. Может быть, и другие подобные сочинения печатаются в Израиле, но уверена, что русские их отыскивать не будут. Более тонко некоторые, далеко не все, советские евреи на Западе аыражают свою враждебиость к русским, но часто кажется, что кроме погромов они мало что знают (или не хотят знать) о сосуществовании русских и евреев в России. Сомневаюсь, мало что знаю и я, но все же кое-что прочла для этой статьи, которая не претендует быть исследованием.

Были евреи в Киевской Русн, были они и при московских царях. Есть основания думать, что врач Алексея Михайловича Даниил Гаден был немецким евреем. Конец его был трагичеи — ои был убит, но не из-за своего происхождения, в Кремле, а мае 1682 года, вместе с Нарышкиным, Матвеевым, Долгоруким и другими жертвами стрельцов.

Только а XVIII веке, при разделе Польши, число евреев — русских подданных — стало значительным. В своей статье «Правовое положение евреев в России» А. Гольденвейзер пишет: «В конце XVIII века все русские подданные, принадлежавшие к податным сословиям: крестьяие, мещане, ремесленники и купцы не имели права передвижения... Каждый был приписан к местному обществу и мог заниматься своим делом лишь в даниом месте». Так что указ Екатерины II от 1791 года не выделял специально евреев из этого ограничения; приписаниые к мещанским и купеческим обществам Юго-Западного и Северо-Западиого Края, они разделяли несправедливость, оказаниую всем их жителям. Все же этот указ был началом «черты оседлости», хотя формулировку свою он получил при Александре I в 1804 году, но в том же указе имеются зачатки приравнения евреев в правах с другими гражданами. Черта оседлости не была непроницаема: евреи — купцы первой гильдии, их приказчики, лица, окончившие высшие учебные заведения, зубные врачи, фельдшера, механики, винокуры и пивовары и ремеслеиники моглн жить по всей России. К началу XX века почти во всех городах страны были малые или значительные еврейские колонии: вие черты оседлости почти не было еврейской бедноты.

Поскольку с основания Руси-России не было ни одного расистского закона и о сохранении чистоты русской расы никто никогда и не помышлял, препятствия к ассимиляции были только религиозные, существовавшие в те времена повсюду. Существовали они и в еврейской общине. И если евреи меньше других народностей, населявших Российскую Империю, смешались с русским народом, то это потому, что еврейская община во всех странах диаспоры всеми способами старалась сохранить их от распыления и иитеграции, предпочитая гетто опасиому общению с гоями*. (Лев Шестов не посмел признаться своим родителям, что он женат иа христианке.)

Единственная чудовищная попытка насильно иитегрировать евреев была сделана Аракчеевым, ио при Аракчееве и русским было тяжко. В то время была им проведена «коллективизация» семисот пятидесяти тысяч крестьян (аракчеевщина и была причииой революционного иастроения среди офицеров).

Нет, к сожалению, ии одного изыскания о евреях, выбравших ассимиляцию и занявших впоследствии высокое положение. Многие из иих стали христнанами по душевному влечению, поверив, что Христос — Мессия. Другие, равнодушные к религии, искали земного благополучия; эти последние чаще всего становились лютеранами. Первый из известных в истории русских евреев был барои Шафиров, сподвижник Петра Великого. Сына у него не было, но было пять дочерей; четверо из них вышли замуж за представителей самых древних княжеских русских родов, и потомки их существуют и поиыне. При Екатерине II в Петербурге, у духовника императрицы, жили три еврея, призванных Потемкиным ие только для ведеиия его собственных финансовых дел, но и для помощи ему в исполиении его государственных планов. Один из них был ученый раввин и просвещенный человек Иошида Цейтлин, который, вполне оправдав доверие Потемкина, затем вернулся в свое роскошиое имение в Могилевской губернии и к изучению Талмуда. Свою дочь он выдал замуж за сына другого раввина, Абрама Переца. Переехав в Петербург, молодой Перец занялся откупом и, разбогатев, занял видное положение в обществе. В 1803 году он выписал своего сына Гирша в свой особняк, где «царила европейская культура». В 1810 году отец и семья Гирша перешли в лютеранство, и внук раввина, Григорий Перец, через несколько лет стал чиновником, а следовательно и дворяниюм, в каицелярии Саикт-Петербургского губернатора графа Милорадовича. Федор Глинка ввел Григория Переца в «Союз Благодеиствия», что помешало его дальнейшей карьере, но до этого он успел быть близок к Сперанскому и принимал участие в задуманных Сперанским реформах.

По всей вероятности, лейб-медик Павла I Блок, предок Александра Блока, был немецким евреем, получившим дворянство. Был немецким евреем и граф Карл Нессельроде, в продолжение сорока лет — с 1816 до 1856 — занимавший ответственные посты. Женат ои был на графине Гурьевой. Увы, в политике ои предпочитал иитересы Европы иитересам России и, как и его жена, был врагом Пушкина. Еще хуже, что Нессельроде «убил» проект освобождеиия крестьян. подготовлениый графом Мордвиновым и другим министром, тоже еврейского происхождения, графом Канкрином.

Нельзя сказать, чтобы Александр III имел расположение к евреям, но у него были прекрасные личные отноше-

* До войны мы в Брюсселе часто встречались с бельгийским адвокатом Рене Гольштейном, членом Пен-клуба. В один из наших приездов в 1938 в Антверпен, где жил, он пригласил нас не к себе, а в ресторан, объясняя: «Моя мать, строго придерживающаяся религиозных правил, ни за что не сядет за один стол с гоями».

ния с бароном Гинзбургом и с одним из Ротшильдов, и женитьба Витте на еврейке не помешала карьере этого министра. Ближе к нам проф. Хвольсон, знаток древних языков (он первым перевел на русский всю Библию), преподавал в Петербургской Духовной Академии. Обе его дочери вышли замуж за титулованных русских. Последний протопресвитер Императорской Армии и Флота прот. Г. Шавельский был тоже родом еврей. При Николае II, по предложению Витте, к его министерству финансов были прикомандированы два еврея и посланы для переговоров о займе — один к Ротшильдам в Париж, Артур Львович Рафалович, а другой в США к банкиру Шиффу — Г. А. Виленкин, женатый на дочери банкира Зелингмана... Всем известны имена Гинзбургов, Бродских, Высоцких, Поляковых, Зайцева (деда Алданова), Любовича и других богатых промышленников России, не изменивших своего вероисповедания. Поскольку в официальных документах расовое происхождение российских граждан не указывалось, проследить число ассимилированных евреев и положение, которое они или их потомства заняли впоследствии, невозможно.

Но в «Исторических записках» (№ 87 за 1971 г.) имеется этюд Карелина «Дворянство в дореформенной России» за короткий промежуток времени 1881—1904 гг. Он показывает, из кого состояло высшее российское сословие и приблизительно его национальный состав. Приблизительно, потому что при опросе населения было взято на учет не этническое происхождение дворян, а только родной язык опрашиваемого. Так что можно предположить, что совсем ассимилированные инородцы указали, что их родной язык русский. Процент дворян-евреев, указавших, что их родной язык — еврейский, был не так уж мал.

Не буду приводить всю таблицу с ее восемнадцатью языковыми подразделениями. Ограничусь выдержкой:

всего по всей империи за эти годы было:

потомственных дворян — 1 221 939. Личных — 631 245. Почти 53% потомственных дворян указали, что родным их языком был русский. Из других языковых групп самые значительные были польская 28% и грузинская — 5,9%. В обеих — дворянство существовало веками и было просто признано царями. Евреев же, потомственных дворян, было 196, а личных 3 371, то есть 0,5%.

Для сравнения возьмем литовско-латышских дворян (и в Латвии, и в Литве дворянство тоже имелось с давних времен); поэтому потомственных дворян там было 40 720, то есть 3,5%, а личных — 3 206. Так что за эти годы евреев, которым было пожаловано личное дворянство, было на 165 человек больше, чем латышей и литовцев, вместе взятых.

В прошлой своей статье я указала на расцвет последних двух десятилетий специфической еврейской культуры в России. На быт еврейских общин покушений не было, не было никаких помех в соблюдении религиозных еврейских праздников и даже разрешалось христианкам быть «субботними рабами», то есть исполнять в благочестивых еврейских семьях работы, запрещенные Субботой. Именно в России идиш превратился из местечкового наречия в литературный язык с писателями Шолом Алейхемом, Шолом Ашем, Мэнделем, с поэтами Черняховским, Бяликом и другими. Ставились и оперы на еврейские либретто на языке идиш. В то же время по собственному выбору Пастернак, Мандельштам, Кусевицкий, Ауэр, Бакст, А. Рубинштейн, Хейфиц, Шестов, Гершензон, Габо, Семен Франк, всех и не перечислишь, стали полноправными и блестящими участниками русского «Серебряного века».

Как относилось русское общество к погромам? В январе и феврале 1959 г. в «Русской Мысли» появились две статьи Давида Шуба «Антисемитизм в России и в СССР». Вот что он пишет: «Русская интеллигенция и все образованное русское общество в массе своей не только не сочувствовало погромам, но явно их осуждало». Д. Шуб называет как защитников евреев — Салтыкова-Щедрина, А. Градовского, Г. Градовского, умеренного, как он пишет, либерала Б. Чичерина, консервативного публициста М. Каткова, Чехова, Маклакова, Милюкова и многих других, и, конечно, Владимира Соловьева. Он подчеркивает, что многие консерваторы были сторонниками уравнения евреев в правах, в том числе С. Витте и П. Столыпин.

Прежде чем перейти ко второй части статьи Д. Шуба, следует отметить, что если само возникновение дела Бейлиса было отвратительным, то процесс Бейлиса доказывает, на какой высоте стояло русское правосудие, если сравнить его с процессом Дрейфуса во Франции.

Об антисемитизме в СССР Д. Шуб пишет: «Я не имею возможности здесь подробно остановиться на причинах, способствующих в первые годы распространению антисемитизма даже среди таких слоев русского населения, которые раньше не питали никакой вражды к евреям... В общем, они сводятся к следующему: среди главных вождей большевистской партии, которые подготовили и произвели переворот, было значительное количество евреев. В первые годы советской власти отдельные евреи занимали виднейшие позиции в компартии и советском аппарате... Евреи первые десять-пятнадцать лет советской диктатуры (то есть террора) составляли очень большой процент советской бюрократии. Особенно сильно были евреи представлены в комиссариатах торговли, промышленности и продовольствия, а также в комиссариате внутренних дел. С чиновниками и служащими этих комиссариатов советскому населению приходилось иметь дело ежедневно... Другая категория чиновников, с которыми советскому гражданину ежедневно приходится встречаться, — это «блюстители закона», тайная и явная полиция. Среди них также в первые десять-пятнадцать лет советской диктатуры было много евреев». В конце статьи Д. Шуб пишет: «В первые годы большевистской революции сов. правительство действительно вело борьбу против антисемитизма. В 1927 году Бухарин сказал: «Никогда еще антисемитизм не был у нас так силен, как в настоящее время...» В ноябре 1936 года Молотов от имени правительства грозил смертной казнью (за антисемитизм, существующий в советской администрации)».

В 1924 году в Берлине вышел сборник «Россия и Евреи» со статьями Б. Бикермана, Г. Ландау, И. Левина, Д. Линского, В. Манделя и Д. Пасманника. Переизданный в 1978 году изд-вом YMCA-Press, он — удивительное свидетельство о том, как выдающиеся еврейские деятели эмиграции двадцатых годов относились к России и русским. В своем обращении к евреям всех стран Бикерман пишет: «Но истину, что Россию убила революция февральская, а не октябрьская, важно запомнить также еврею, каждому еврею, не воображающему... что среди крушения царств и гибели народов мы можем оставаться спокойными, раз владеем магической формулой из вечной нашей обвиняемости, выводящую вечную нашу невиновность». Вопреки черте оседлости и процентной норме, «...вопреки Кишиневу и Белостоку, я был и чувствовал себя в России свободным человеком... который мог материально обогащаться и морально расти, мог продолжать бороться... Пять или пятнадцать лет должно было еще пройти, пока евреи добились бы полного равенства перед законом. В условиях культуры и правопорядка, даже самого элементарного, мы можем постоять за себя. Наоборот, при советском строе мы как народ бессильнее любого другого народа». Оканчивается этот параграф: «Преуспевать при этом строе могут только отдельные евреи, а не еврейство, и притом самые недостойные евреи». Более шестидесяти лет назад это было написано человеком, хорошо знавшим Россию, но не предчувствовавшим, что и недостойные евреи попадут под жернова истории.

Бикерман, как и Шуб, но с большей взволнованностью, признает историческую очевидность: «Не приходится теперь долго доказывать непомерное и рьяное участие евреев в истязаниях полуживой России большевиками. Евреи никогда не были у власти. Теперь еврей во всех углах и ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе невской столицы, и во главе Красной Армии. Проспект Святого Владимира носит теперь славное имя Нахамкеса, Литейный проспект переименован в пр. Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом».

Конечно, помнит Бикерман и о тяжкой участи евреев, не желавших принять участие во власти: «В годы смуты еврейская кровь лилась без меры, были разорены сотни тысяч еврейских семей, но в этом смысле разгромлена была вся Россия». Прибавлю еще одну цитату: «Дело не так обстоит, что была смута, что гибли евреи и не евреи, а евреев истребляли и левые и правые. Этим не все сказано. Нужно еще прибавить, что евреи были не только объектом воздействия, но они также и действовали. Еврей вооружал и с беспримерной жестокостью удерживал вместе красные полки... По приказу того же еврея тысячи русских детей, старики и женщины бросались в тюрьмы... Одним росчерком пера другой еврей истребил целый род, предав казни находившихся на месте представителей Дома Романовых. Пробираясь тайком на Юг, к Белой Армии, русский офицер мог видеть, как на станции по команде евреев-большевиков вытаскивались из вагонов чаще всего русские люди».

Ничего не скрывают авторы сборника, пишут о том, что пришлось пережить, и от белых, и от красных, но больше всего от украинских самостийников. «Они преимущественно убивали... Петлюра, Махно, Ангел. У них даже был лозунг: «Бей москалей и жидов!»

Из книги «Россия и Евреи» можно многое узнать и многое понять. Она вызывает только добрые чувства и благодарность за правдивое слово. Русским сказать правду о том, что они знают и чему были свидетелями, почему-то воспрещается. Солженицын знает, что «...на один глаз русская Клио должна быть слепой». Он пишет правду, и его обвиняют в антисемитизме. Обвиняют в антисемитизме и французского писателя Владимира Волкова за то, что в его романе «Монтаж» один из персонажей называет имена участников убийства царской семьи. Но из истории слово не должно быть выкинуто ни страха ради, ни ради личных интересов. Фальсификация унижает самих фальсификаторов. Авторы сборника «Россия и Евреи» делают честь своему народу; один из них, Д. Линский, опасающийся, что появится у русских чувство мести, пишет: «Множество русских молятся о спасении Родины. Кто истинно молится, тот взыкивает Святую Русь, несовместимую с молитвой о гибели невинных людей». «Господь, — пишет этот правоверный еврей, — вернет нам отечество, Россию, родину и русских, и евреев. Но мы все должны, евреи и не евреи, основательно очиститься перед тем, как вернуться в отчий дом...» Он прав. И нет в Евангелии закона «око за око, зуб за зуб», христианство мести не признает. Да и в том, что случилось в России и с Россией, конечно, виноваты не одни евреи.

Если в начале этой статьи я упоминаю Леонида Каннегиссера, а не Дору Каплан, то это потому, что Дора Каплан действовала по чисто политическим и даже партийным мотивам. Леонид Каннегиссер был юный романтик, поэт. Террористом он стал случайно и по причинам эмоциональным и моральным. Вот как знавший Каннегиссера Алданов объясняет его поступок: «Непосредственной причиной его (Каннегиссера) поступка, вероятно, было желание отомстить за погибшего друга (расстрелянного по приказу Урицкого)... Психологическая же основа, конечно же, была очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицкого и Зиновьева; и дух самопожертвования...»

Противопоставим же имена евреев, любивших Россию, именам евреев, которые ее ненавидят.

●



Пушкин и Соловки

Новая книга, выпущенная издательством «Молодая гвардия», включила в себя два незаурядных исторических исследования. Работа Петра Татаурова повествует о творчестве и личности выдающегося русского писателя, ученого В. И. Даля и его главном труде — толковом словаре живого русского языка.

Игорь Стрежнев избрал для своего очерка тему, на первый взгляд, неожиданную — Пушкин и Соловецкий монастырь.

В работе автор, используя богатый материал, исследует то значение, которое сыграл русский север в творчестве А. С. Пушкина. Проводится тщательный анализ той информации, которой мог обладать Александр Сергеевич о Соловках. Рассматриваются судьбы близких поэту людей, связанных Господом с тюрьмой монастыря.

Итак — Пушкин и Соловецкий монастырь. Эти образы, наверное, равновеликие. Монастырь — великан, несущий печать суровости, красоты и хранящий в себе тайну узников, сгинувших в его темнице. Казалось бы, что общего может быть между поэтом и далекими северными островами? Только ли то, что когда-то, на стыке двух эпох одного императора, Пушкин чуть было не попал в каменный желудок Соловецкой тюремной камеры. И он, быть может, был бы переварен ею, как это произошло со многими, которые растворились в холодном тумане Беломорья: декабрист Александр Горжанский, молодые бунтари Михаил и Василий Критские — прародители революционеров нач. XX в. Перед нами проходит череда лиц, многие из которых уже неразличимы и стерты временем, но все они являлись теми нитями, соединявшими поэта с печальными островами.

Но только ли скорбь и тоска связаны у Пушкина с Соловецким монастырем, только ли грозное назидание видел Александр Сергеевич в этом северном богатыре, или, может, были отношения более глубокие и сложные между ними? Может, влекла Пушкина твердыня русского могущества не стенами тюремными, но монастырскими, тишиной святой обители и вечным покоем северной земли. На это автор не дает окончательного ответа, и пусть читатель сделает выбор сам.

А. В. Шелихов-Ржешевский

Татауров П. П. ...И СЛОВО ЭТО БЫЛО — РОССИЯ; **Стрежнев И. В.** «СПАСИ МЕНЯ... СОЛОВЕЦКИМ МОНАСТЫРЕМ» — М.: Молодая гвардия, 1990.

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР

Андрей Рублев в Камергерском переулке

— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

М. БУЛГАКОВ

Я думаю, что Воланд и его таинственная свита были бы немало удивлены, увидев, как Андрей Рублев и Сергий Радонежский в сопровождении трех крылатых существ спокойно вошли в Камергерский переулок, поднялись на сцену МХАТа и начали свое бессмертное действо. Это произошло 12 апреля и повторилось на другой день в семь часов вечера текущего года, после чего Андрей Рублев и Сергий уехали на автобусе в Рязань, а три ангела остались в душах московских зрителей. Обо всем этом поведало действо «Сотворение», предложенное москвичам (по «Повести об Андрее Рублеве» Станислава Романовского) в постановке Рязанского драмтеатра и сценарию Н. Черкасова. Последний выступил и постановщиком действа.

Три ангела, три странника у дуба
Мамврийского. Какая тишина
От них исходит! Как озарена
Сияет глубь иконы! Сердцу любы
Они давно. Печалью мягкой светят
Глаза у одного, и нежный лик
Его задумчив, он главой поник.
В другом — величье, строг и светел третий!
Пред ними чаша. Посохи свои
Они поставили. Пред вещей тайной!
Дух замирает. Тихи, не случайны
Сейчас их речи, полные любви.
Они здесь близко. В мир сошли печали,
Чтоб осенить покровом и спасти,
Три странника из озаренной дали,
Вкушающие хлеб и соль в пути.

Эти проникновенные строки В. М. Василенко, а также стихотворения Арсения Тарковского были своего рода лейтмотивом действа, в которое оказались втянутыми не только игумен Сергий, Андрей Рублев, но и Феофан Грек, Прохор с Городца, а также некоторые другие их современники. Всех их объединял реющий над сценой и над всем зрительным залом образ «Троицы» Андрея Рублева... По существу, это и было Сотворением идеи мира, согласия и любви, каким является Живоначальная Троица.

Почему и как все это произошло и стало светоносным?

Если бы Андрей Рублев и действо «Сотворение» появились в Камергерском переулке хотя бы в 1940 году, то Михаил Булгаков дал бы исчерпывающий ответ на этот вопрос. Потому что тут дело не в исторической, а в духовной и даже душевной стороне действа, столь же тонкой, символической и метафорической, как в «Мастере и Маргарите». И в рязанском «Сотворении» есть свой Мастер, своя Маргарита, свой невидимый Иешуа Га-Ноцри. Нет, правда, ни Воланда, ни Пилата, но здесь и некого было подвергать уничижению. И все же возникший вопрос остается, будоражит сознание.

Чтобы ответить на него, попытаюсь поставить вопрос попроще: почему Андрей Рублев и даже три ангела в Камергерском переулке выглядели столь современно? Не потому же, что они «явились» нам в период начинающегося духовного Возрождения! Ведь Возрождение это настолько еще призрачное, что убивают уже священнослужителей, а газета «Вечерняя Москва» поведала нам о письме одного читателя, который хотя и сожалеет об убиенных, но не прощает им того «яда», который они, как носители религии, распространяют... Страшно подумать, что этот «воинствующий атеист» 1920-х годов — наш современник. Нет, тут дело не в Возрождении, а в том, что духовные ценности Древней Руси вообще не умирали в глубинах народного сознания, они были только временно запрятаны от карающей руки христопродавцев. Сейчас они оживают. Большую роль сыграло и то, что ревность действа «Сотворение» облечена в столь убедительную художественно-метафорическую форму, что «дольнее» воспринимается как «горнее», а «горнее» приобретает поистине вселенское звучание.

В действе «Сотворение» молодого рязанца Андрея, раненного в Куликовской битве, выхаживает сердобольная Надежда, которая потом куда-то исчезает (умирает?), но от их любви остается слепая дочь — Любовь. Где-то далеко жива еще мать Андрея — Вера. Так полунамеками вырисовывается сугубо личностная канва будущего творчества Андрея Рублева — Вера, Надежда и Любовь — как прообразы его «Троицы». Но это личностное начало получает мощный идейный, моральный, богословско-философский и художественный взлет от встречи Андрея Рублева с Сергием Радонежским. Неважно, что связь Андрея Рублева с Рязанью остается легендой, пущенной в обиход писателем Сергеем Бородиным (роман «Дмитрий Донской»), а время и место встречи Андрея Рублева с игуменом Сергием неизвестны. На смысле действа «Сотворение» это нисколько не отражается. Очень выразительно, что Сергий «кует» три меча. Конечно, это «духовные», символические мечи. Но их три! Сергий высоко возносит их, и это тоже воспринимается как призыв к Сотворению того, что стало своего рода духовным знамением эпохи — образа Троицы. Троицы «единосущной», «неслиянной» и «нераздельной».

Осталось совершенно неизвестным, было ли у игумена Сергия (он умер в 1392 году) какое-либо наставление молодому Андрею Рублеву насчет понимания Троицы вообще. Конечно, у Сергия было особо глубокое ее понимание. У Андрея Рублева можно предполагать столь же тонкое интуитивно-художническое постижение тайны троичности Бога. К этому важному вопросу придется еще вернуться.

Участвующая в «Сотворении» троичность: Веры — как признания истины вне логического доказательства; Надежды — как интуиции спасения, и Любви — как сущности божества («Бог есть любовь». — Иоанн) — помогает

Этой статьей Георгий Карлович Вагнер, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии СССР продолжает рубрику «Дерзание духа». Предыдущие его статьи читайте в №№ 1, 3 и 7 за 1991 г.

Андрею Рублеау в его духовно-нравственном созревании, но не настолько, чтобы начать создавать икону «Троицы». Жизнь игумена Сергия близится к концу. Андрей просит его: «Не умирай». Однако Сергий умирает. К созданию иконы «Троица» в «похвалу Сергию» призывает Андрея Рублева преемник Сергия игумен Никон. Андрей еще не верит в свои силы. Здесь на сцену выступает еще одна «троица» в лице художников Феофана Грека, Прохора с Городца и самого Андрея Рублева. В 1405 году они вместе создают иконы для дворцового великокняжеского Благовещенского собора. Так, кажется, образуются все предпосылки для Сотворения главного — иконы «Троицы».

Показать в сценическом действе процесс ревльного Сотворения «Троицы» совершенно невозможно. Для этого потребовался бы совсем иной театральный жанр. Жанр действа тем и замечателен, что через него можно выразить, казалось бы, самые трансцендентальные моменты. Ведь сущность знаменитой рублевской «Троицы» вовсе не в том, что изображены три одухотворенных ангела, объединенных в гармоничную кругообразную композицию. Суть ее в том, что Андрею Рублеву, единственному из всех художников, удалось «явить» человеческому зрению все главные священные свойства Троицы — «единосущность», «неслиянность» и «нераздельность», которые были сформулированы великими богословами древности с величайшим трудом.

Как верно пишет академик Б. В. Раушенбах, «позже возникла скептическая и атеистическая критика, которая не «опускалась» до споров о взаимоотношении и взаимодействии лиц, а просто объявляла само понятие Троицы абсурдом, из которого следует и невозможность Ее существования» (См.: «Вопросы философии», 1990, № 11). В связи с этим заблуждением Б. В. Раушенбах предпринял специальный анализ структурных свойств Троицы и показал, что «понятие Троицы является логически безупречным с позиции самой обычной формальной логики, и если и можно говорить о тайне троичности, то только имея в виду ее кардинальные качества, но никак не кажущуюся логическую несообразность самого понятия». Это очень важно.

Конечно, говорить о «тайнах троичности» я, с точки зрения научной этики, не имею никакого права. Но мне думается, что доказанная Б. В. Раушенбахом логичность структурных предикатов Троицы позволяет, с известными оговорками, естественно, подойти с логической позиции и к «кардинальным качествам» Троицы, по крайней мере с той стороны, с какой они выражены в «Троице» Андрея Рублева.

Специалнсты по древнерусской живописи до сих пор затрудняются определить: какой ипостасью триединого Бога является тот или другой ангел в рублевской «Троице». Конечно, обладая тонкой художественной восприимчивостью, всегда можно усмотреть в образах ангелов едва уловимые нюансы и персонально истолковать их. Но, во-первых, эта тонкость восприятия не является бесспорной, а во-вторых, такая «трихотомия» «Троицы» представляется вообще ошибочной. Ведь еше блаженный Августин, а потом и Иоанн Дамаскин убедительно показали, что каждая из ипостасей Троицы обладает всеми ее свойствами а целокупности: Бог Отец есть одновременно и Бог Сын, и Бог Дух Святой! Не только как истинно верующий, но и как глубоко и тонко разбирающийся в этих вопросах, наконец, как художник, обладавший особой интуицией, Андрей Рублев не мог остаться равиодушным к этой стороне главнейшего догмата. Не этим ли объясняется принципиальная неразличимость ангелов в его знаменитой иконе? Все трн ангела — «единосущны»! Только в рамках их единосущия можно говорить о некотором примате той или иной ипостаси.

Понимание Андреем Рублевым свойства «неслиянности» в ряд следует усматривать в злементарной несводимости фигур ангелов к одному общему абрису. Дело не в этом. Дело в том, что все три ангела изображены в разных пространственных слоях, или, выражаясь математическим языком, — находятся на разных осях координат, принципиально неслиянных.

Что касается «нераздельности», то она с полной очевидностью вытекает из нераздельиости космического круга, в котором Рублев представил Троицу. О том, что это круг космический — немного ниже.

Из сказанного видно, что наибольшее творческое усилие Андрею Рублеву потребовалось для выражения «единосущия» лиц Троицы. Знакомство художника с «Диалектикой» Иоанна Дамаскина вряд ли подлежит сомнению. К XV веку она была переведена полностью. Никаких математических (геометрически) примеров триединства векторов Андрей Рублев, конечно, не мог знать, но показательно, что приведениый Б. В. Раушенбахом пример такого триединства с соответствующими оговорками может быть распространен на структуру «Троицы».

Вернемся к идее космического круга. Нет ничего естественнее, как объяснить интерес Андрея Рублева к этому пространствеиному моменту хорошим знакомством с «Книгой притчей Соломона». Именно здесь говорится о том, как Божественная Премудрость выступила «художницей» при Сотворении мира, «когда Он проводил круговую черту перед лицом бездны», а также веселилась вместе с Ним «на земном кругу» (8, 27—31). Правда, тут очень трудно отделить космическое от земного, но ведь и в Троице ее земная жизнь (явление у Мамврийского дуба Аврааму) неотделима от небесной! В действе «Сотворение» это прекрасно показано. Андрей Рублев делает обеими руками плавные круговращательные двиижения как бы на земле, а из его пригоршней сыплется песок-земля. Крупноцветное изображенне «Троицы» в это время сияет иа заднике сцены. Это — великолепный прием постановщика, оставляющий неизгладимое впечатление...

Говоря о единстве земного и небесного в «Троице», нельзя не коснуться понимания Андреем Рублевым первообраза (или архетипа) своих ангельских образов.

Теория образа и первообраза была подробно разработана Дионисием Ареопагитом (V в.), а позднее актувлизирована Иоанном Дамаскиным. Андрей Рублев, конечно, знвл это учение. Суть этой сложной теории состояла в убеждении или вере, что видимый человеком (созданный, изображениый) образ есть «неподобное подобие» трансцендентного первообраза. Степени «подобия» тут никакой не может быть, ее заменяла степень интуитивного художественного вчувствования, оформленная со временем в канон. В таких условиях критерием «неподобного подобия» могла быть только творческая сила космического религиозного чувства, каковая у Андрея Рублева граничила с гениальностью. Именно в таком свете следует понимать слова лучшего толкователя творчества Андрея Рублева — Н. А. Деминой: «Изображая человека, он мыслит его как «земного внгела», а изображая ангела, видит в нем «небесного человека». Поскольку человек создан по образу и подобию Божьему, то такое отождествление небесного образа с земным нисколько не снижает модуса первообраза.

В свое время византийские иконоборцы выступали против личностного изображения Божества, не учитывая что именно личиостное понимание Абсолюта вывело человека из безличностного языческого космологизма. Первообраз Троицы является высшим выражением трехипостасности личностного Абсолюта, а «Троица» Андрея Рублева — высшим Сотворением образа этого первообраза в мировой живописи.

Если после всего сказанного перейти к вопросу о тех категориях Троицы, которые не имеют структурного характера и поэтому оставлены Б. В. Раушенбахом вне логического анализа, то не столкнемся ли мы с тем «противоречием арифметике», которое оттолкнуло Льва Толстого от «непонятной Троицы»? Я имею в виду такие ее предикаты, как «Святая», «Животворящая», «Живоначальная»...

Вряд ли следует доказывать, что понятия «святой», «святая» нисколько не нррациональны. Слово «святой» в

древности означало «особо чтимый» и употреблялось в таком смысле в языческих надписях. У христиан оно вошло в культовый обиход в III—IV вв. и кроме лнчной святости ствло применяться для обозначения мест, посвященных священному служению. Так возникли понятия Святой Гроб и пр. Наивысшим «модусом» понятия «святой» было понятие Святого Духа, что естественно должно было распространиться и на Троицу. Слово «Пресвятая Троица» переводнт это понятие в «категорию» безначальности в соответствии с догматом Безначальности Бога.

Для нетрадиционного мышления труднее понять слова-предикаты «Животворящая», и «Жнвоначальная». Они достаточно метафизичны. Но если перевести их метафизику в онтологический план, то и тут можно получить результат, достаточно корректный с логической точки зрения.

Конечно, наиболее наглядны в этом отношении примеры нз области человеческого духа, такие, как «ум, воля и память» или «сознание, познанне и желание», о чем подробно писал П. А. Флоренский. Объясняя «онтологию трончности», они не вскрывают ее животворящего начала. В этом отношении большой интерес представляет философскнй смысл троичности, глубоко раскрытый С. Н. Булгаковым.

Исходя из суждення, как основного и непререкаемого факта сознания, С. Н. Булгаков показвл, что «эмпирнческие формы суждения могут быть всегда восполнены и раскрыты в трехчленной формуле», в которой «подлежащее» (субъект) «Я» или «Я есмь» неизбежно требует «сказуемого», а именно «Я есть нечто». В этом «Я есть нечто» и проявляется «ипостасное Я», его «сказуемость», его «волнение». Это есть «волящее Я», «сознающее Я». Иначе говоря, «волящий — прежде всякого волнения», а не наоборот. Но для жизни духа нужна своего рода «лаборатория», каковой н является тело, «наше космическое Я, совокупность органов, через которые мы находимся в связи со всей вселенной». Единство «Я» и «Я есмь» составляет реальное бытие при помощи «связки». Таким образом, «суждение состоит из подлежащего, сказуемого и связки», в триединстве чего «воление Я», естественно, составляет животворящее начало. Поэтому его можно назвать и «живоначальным».

Отсылая за подробностями к специальной работе С. Н. Булгакова («Вопросы философии», 1989, № 12), необходимо остановиться на том, насколько все сказанное онтологично. Ведь Я, как ядро человеческого духа, есть сущее, но не существующее! С. Н. Булгаков не уклонился от этой кажущейся аберрации. «Как не существующее Я и не может быть выражено ни в каком понятии, ибо понятие есть образ существования, его понятие, оно принадлежит поэтому всецело к области бытия, к которой Я не принадлежит.» Но «если бы мы сами не были Я, не знали Я опытно или жизненно, то никакие усилия мысли и слова неспособны были бы выразить, показать Я, его доказать или описать, нбо Я трансцендентно и абсолютно». С. Н. Булгаков допускает и взгляд на Я, как на нечто такое, что «не есть», но «сверх есть». Означает ли это, что оно уже не подлежит логике? Ведь логика не всесильна. По П. А. Флоренскому, «рассудок в своих конститутивных логических нормах, илн насквозь нелеп, безумен до тончайшей своей структуры, сложен из элементов бездоказательных и поэтому вполне случайных, или же он имеет своею основою сверх-логическое. Что-нибудь одно: или нужно прнннять принципиальную случайность законов логики, или же неизбежно прнзнание сверх-логической основы этих норм, — основы, с точки зрения самого рассудка, постулативно-необходимои» («Столп и утверждение истины»).

Пока алогичность «Я» и его троичной природы не доказана. Совершенно другое дело — как все это может быть соотнесено с мышлением средневековых адептов Троицы, например, того же Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Уже не раз прнходилось отмечать глубину их интуицин, а также громадное информативное значение древних мифологических и религиозных символов и метафор, предвосхищающих философию наших дней. Представляется совершенно ненаучным применять в качестве критерия нстинности только то, что не противоречит эмпирическим данным. А. Эйнштейн, например, вообше считал, что «создатель теории осознает, что логического пути от эмпнрических данных к миру его понятий не существует». Речь идет не об отрицании логнки, а о выходе за эмпнрические основання логики, когда существенные свойства изучаемого явлення должны быть «угаданы». Разве с такой точки зрения не допустимо «сверхлогнческое» (по П. А. Флоренскому) «угадывание» «кардннальных качеств» Троицы, а также и «Троицы» Андрея Рублева и ее Сотворения в сценическом действе Рязанского драмтеатра? Именно такое постижение истины А. Эйнштейн и называл «космическим религиозным чувством», благотворно влияющнм на науку. В гораздо большей степени мы должны признать существование такого «космического релнгиозного чувства» у Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Если ими могли быть поняты структурные свойства Троицы — «единосущность», «неслиянность» и «нераздельность», го для «сверх-логики» «кардинальных качеств» — «Святая», «Животворящая» и «Живоначальная» — оставалось «космическое религиозное чувство», нисколько не противоречащее приближению к Истине. Приблнженне! Потому что антиномична истина или не антиномична (П. А. Флоренский), но «чем ближе мы к Истине, тем глубже мы сознаем свое греховное раздвоенне, тем яснее становится для нас, как еще далеко мы отстоим от нее: в этом — основной закон как нравственного, так и умственного просветления» (Е. Н. Трубецкой).

Для Андрея Рублева, как и для глубоко религиозных людей его времени, Истина состояла в абсолютности Триединого Бога. Весьма краткое рассмотрение «Троицы» Андрея Рублева позволяет признать, что ему, как никому другому, удалось с предельной художественной убедительностью приблизиться к этой Истине, что, памятуя слова А. Эйнштейна о плодотворности интуитивного «угадывания», несомненно должно быть использовано при разработке проблем средневековой гносеологии. Не можем же мы поставить точку на куцой теории «большого взрыва»! Начавшись с «космогонических размышлений», человеческое сознанне и сейчас, и впредь, причем до бесконечности, будет мучиться над вопросом о «начале всех начал». И если современные, материалистически настроенные космологи признают, что «проблемы, с которыми она (космология. — *Г. В.*) столкнулась сейчас, в известной мере созвучны с теми, которые в теологнческой оболочке былн поставлены средневековыми восточными и западными мыслителямн» (А. Турсунов), то нет никаких оснований счнтать это «созвучие» только «созвучием», то есть не видеть в нем научных перспектив в эйнштейновском смысле. В печати мне не раз приходилось встречать высказывания подобного рода. В частности, об этом очень хорошо писал Чингиз Аитматов. К сожалению, этот голос, на мой взгляд единственно серьезный и правильный, все еще заглушается (подобно глушению в свое время «Голоса Америки») чудовищным пережитком «лысенковщины», каковой является вульгарный «научный атеизм». К чему он прнвел и продолжает прнводить, — хорошо видно из уже отмеченных фактов проявления «гражданского удовлетворения» по поводу уменьшения «яда», распространяемого бесстрашными священнослужнтелямн. Если такое творится в столице «гуманного социализма», то чего же ожидать от провинцнн! О некрасивых делах в Рязанской области мне уже приходилось писать. Поэтому особую радость вызывает появленне высокохудожественного и глубоко-духовного (в самом широком смысле слова) действа «Сотворение» в недрах культурной жизнн Рязани, в лнце ее Областного драмтеатра. Но отмечая этот факт, я еще раз хочу заметить, что литературное и сценическое прочтение «Повестн об Андрее Рублеве» и его «Троицы» дает материал для глубоких философских размышлений вообще, что, насколько мне известно, в самой Рязани еще недостаточно осознано. Напрасно.

Русь моя, милая Родина…



Нет более дорогого имени в нашем святом Отечестве, на которое такой радостью отзывалось бы сердце каждого православного, значит, русского человека, как преподобный Сергий.

Радостно оттого, что мы знаем, что он есть, что он присутствует в нашей жизни незримо и постоянно, мы ощущаем его присутствие каждодневно, ежечасно, когда обращаемся к нему за помощью.

К преподобному Сергию, к его высокому покровительству прибегают все православные люди с молитвами и упованием, и он приходит к нам на помощь и выводит нас на единственно правильную жизненную дорогу. Так было, так есть и так будет.

От имени преподобного Сергия веет миром и тишиной. Он духовный вдохновитель и создатель величайшего творения древней Руси — Святой Троицы, написанного его сподвижником, иконописцем преподобным Андреем Рублевым.

Преп. Сергий пришел к нам из другого мира, мира, о котором можно только догадываться. Мира святых людей и подвижников, каковой была Древняя Русь. И мы, сознавая это, со всем смирением обращаемся к тем светлым образам, находя в них нравственную и духовную опору. Не мы выбираем себе имя, но Господь нам его дает.

Имя — символ, имя — путь, имя — наш ангел-хранитель, который сопровождает нас по всему нашему жизненному пути, сохраняя и спасая нас по благодати Божией, молитвами святых заступников.

Преп. Сергий — ангел-хранитель России, светильник веры Христовой, подвижник благочестия и миротворчества. Его светлое имя, его путь, его подвиги вдохновляют нас и воспламеняют наши сердца верой в Господа и любовью к Родине…

Так вот, хоть в какой-то степени оправдать то имя, которое носишь, быть достойным его — это ли не есть цель и смысл жизни каждого человека, и моей в том числе.

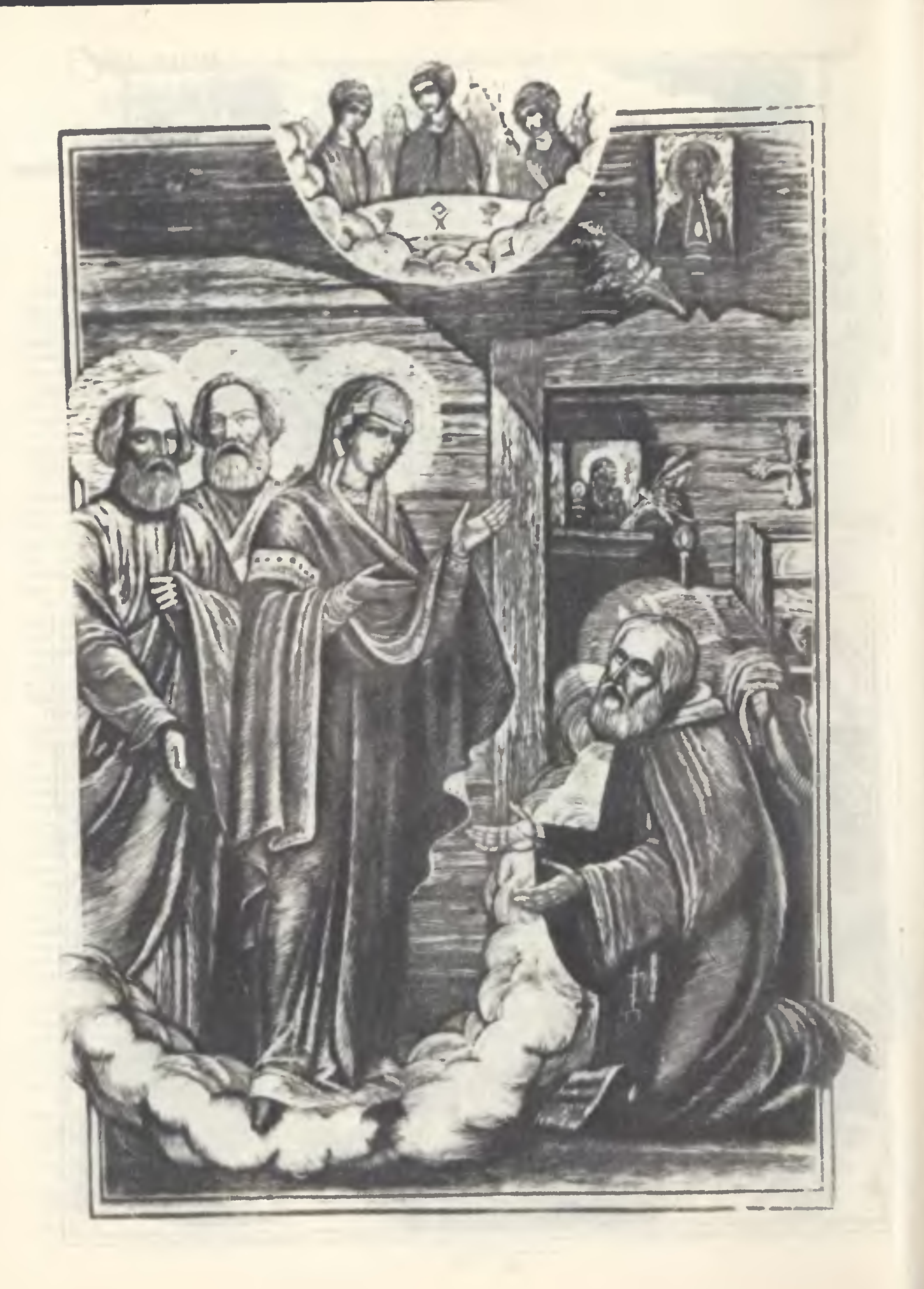
Преподобный Сергие, Ангелов собеседниче, Отечеству нашему пресветый светильниче, моли Бога о нас.

СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ









Архивъ русской революцiи

Н. В. ВАЛЕНТИНОВ

Беседы с Плехановым в августе 1917

Главная черта одного из ведущих эмигрантских публицистов Николая Владиславовича Валентинова (Вольского) — независимость и способность действовать и размышлять «ни к кому не прислоняясь» — послужила причиной долгого замалчивания его трудов. Мы продолжаем знакомить читателей с размышлениями Н. В. Валентинова, фрагменты из которых, уже публиковавшиеся в «Слове» — «Разговор с Пятвковым в Париже» (№ 11, 1989) и «Попытки узнать Ленина» (№ 11, 1990), — вызвали, судя по нашей почте, большой интерес. Предлагаемые в этом номере материалы недавно появились в зарубежной печати.

В качестве одной из «икон» революции, Плеханов получил особое приглашение для участия в Государственном совещании в августе 1917 г. в Москве. Однако, когда он с Р. М. Плехановой приехал из Петербурга, его никто не встретил и не позаботился обеспечить для него приют. В книге «Встречи с Лениным» я писал, что, узнав об этом, я предложил ему жить во время Государственного совещания у нас. Розалия Марковна, как человек практичный, решила сначала посмотреть, подходит ли Плеханову наше жилище: вдруг это какое-нибудь логовище или неподходящая для Георгия Валентиновича «меблирашка». Придя к нам, она увидела, что им у нас будет жить очень удобно. Мы имели в это время действительно превосходную, хорошо обставленную квартиру, так как в годы до войны и я, и жена (артистка в оперетте) зарабатывали очень много (стыдно даже сказать — Сытин платил мне 2000 рублей в месяц!). Квартира наша состояла из пяти комнат, из них три на улицу: гостиная (т. н. синяя комната), столовая, комната жены. Синяя комната была хорошо известна нашим знакомым — в ней приходилось жить и Л. О. Дан, и С. Н. Прокоповичу, и полковнику Рябцеву, командующему войсками против большевиков в окт. 1917 г., и многим другим. На другой стороне квартиры, отделенной коридором и выходящей окнами на двор, — моя спальня и большая комната с моей библиотекой. Внизу ванная, кухня, комната для прислуги. Когда к нам приехали Плехановы, жена перебралась в мою комнату, я в библиотеку, всю остальную часть квартиры — т. е. три комнаты — мы отдали в полное распоряжение Плехановых, получивших, таким образом, помещение, на которое они не рассчитывали. На это обстоятельство обращаю внимание, потому что благодаря ему Плехановы смогли принимать множество их навещавших людей и, например, три раза устраивать собрания московской группы «Единства» — куда приходило до 30 человек. Для них из всех комнат собирались стулья. Для свидания с Плехановым приезжали в Москву какие-то его родственники, в их числе, кажется, один из его братьев. О последних, хотя это было для меня интересно, я остерегался спрашивать Плеханова, чтобы не напомнить ему о склоке, учиненной мною в Жвкеве в связи с его братом — бывшим в Моршанске исправником (об этом я писал во «Встречах с Лениным»). Плеханов, в первые же дни, когда стал жить у нас, захотел узнать, какую политическую позицию я занимаю.

— «Нос» в повести Гоголя ходил по Невскому, ни к кому не прислоняясь. Такое положение мне кажется довольно неестественным и неудобным, а между тем мне сказали, что вы заняли именно положение гоголевского Носа, ни в тех, ни в этих, а сами по себе. Что вас отделяет от меньшевиков? На этот, казалось бы, естественный и простой вопрос я Плеханову не мог ответить со всеми нужными для этого объяснениями. Вот по какой причине. Месяца полтора до этого я был вызван в секретариат московской группы меньшевиков и подвергся «допросу» со стороны Анны Адольфовны Дубровинской (жены покойного ультра-ленинца Иннокентия) и ее помощницы Розенберг (не нужно смешивать эту глупенькую девицу с ее сестрой — умной Кларой Борисовной, «Madame Roland», как я ее называл, салон которой в 1905—1906 гг. служил местом встреч людей подполья с писателями, артистами, общественными деятелями всех направлений). Эти две особы, позднее перекочевавшие в большевистский лагерь, меня обвинили в том, что:

1. В статьях и речах я «сею недоверие к революции».

2. Настаиваю на необходимости какой-то отзывающейся реакцией «твердой власти».

3. Держу о сепаратном мире странные речи, «не имеющие общего с циммервальд-кинталовскими установками».

Не буду говорить о моем споре с Дубровинской, скажу только, что я выругался и заявил, что после этого разговора никаких отношений с меньшевиками иметь больше не желаю. Обо всем этом я не мог откровенно сказать Плеханову. Во-первых, потому, что говоря о ком-то (забыл, о ком), Плеханов категорически заявил, что всякое недоверие к революции есть свидетельство о контрреволюционном, т. е. недопустимом настроении человека, это недоверие высказывающего. (Плеханов, однако, забывал, что именно в брюзжании на революцию его обвиняли меньшевики.) Спорить по этому поводу с Плехановым я не хотел и считал бесполезным. Во-вторых, я действительно стоял с конца 1916 г. за сепаратный мир, но об этом Плеханову говорить не мог. Самая мысль о сепаратном мире его приводила в крайнее раздражение. Сепаратный мир он называл «гнуснейшей низостью». Я предпочитал об этом молчать. Зачем моему гостю делать неприятности, давать ему понять, что он живет у человека, способного одобрить «гнуснейшие низости»? Принуждаемый по указанным мотивам к умолчанию, я, разумеется, не мог рассказать Плеханову все детали моего спора с Дубровинской и Розенберг. Сказал что-то туманное, из которого Плеханов заключил, что меня

от меньшевиков больше всего отделяет вопрос о «твердой власти».

«Но если так, — воскликнул Плеханов, — вам нужно не следовать гоголевскому Носу и вступить в нашу группу «Единство». Необходимость твердой революционной власти, способной действовать, а не болтать, составляет один из основных пунктов ее платформы».

Считая, что меня от «Единства» мало что отделяет, Плеханов, когда должна была прийти к нему в первый раз московская группа «Единства», позвал меня на это собрание. «Будьте не гостем, а равноправным членом нашего совещания». Я все-таки счел нужным от присутствия на этом совещании уклониться и в этот день вечером из дома ушел. На следующий день это дало повод для большого разговора с Плехановым.

— Сначала, когда все собрались, а вы, несмотря на мое приглашение, не пришли, — я несколько удивился: почему вы бойкотируете? а потом, посидев часа три с товарищами из «Единства», присмотревшись к ним и послушав их, скажу откровенно — вы ничего не потеряли, не придя на собрание. Московские «единцы» люди превосходные, только узки и серы. Сравнивая их с составом наших социал-демократов, с которыми обычно приходилось иметь дело в Женеве, в эмиграции, нахожу, что московские «единцы» калибром много меньше. Несмотря на это, они все-таки занимают ту политическую позицию, какую должен иметь в нынешних условиях настоящий марксист, человек, усвоивший взгляды научного социализма. Вот этим они отличаются от меньшевиков, идущих за Даном, Мартовым, Чхеидзе, Церетели. Позиция меньшевиков — вредная. Они не желают видеть, что Россия гибнет, а «единцы» это видят, понимают, чувствуют. Это уже делает их на голову выше меньшевиков. По отношению к меньшевикам я оказался в печальном положении, которого, право, не заслужил — вроде курицы, которая вывела утят, поплывших от нее по болоту. Меньшевики от меня отшатнулись в первую революцию, а теперь вторично меня предают. Сейчас есть только две возможные позиции — одна, которую защищаю я, а за мною товарищи из «Единства», а другая — ее занимает Ленин. Моя теоретическая позиция ясна даже для очень близоруких людей, и я не схожу с нее около 40 лет. Теоретическая позиция Ленина тоже ясна — это словесный марксизм в сочетании с бланкизмом, ткачевщиной, бакунизмом. Никакой третьей промежуточной позиции нет, а меньшевики на это пустое место встали и превратились в полуленинцев.

Говоря о меньшевиках, Плеханов с особой резкостью относился к Церетели. Он делал это с таким раздражением, что меня, хотя Церетели совсем не был моим героем, просто коробило. У меня даже мысль промелькнула — уж не завидует ли Плеханов славе Церетели, в то время притягивающего к себе внимание несомненно больше, чем Плеханов. После одной из резких фраз Плеханова по адресу Церетели я не выдержал и заметил:

— Георгий Валентинович, к Церетели вы очень несправедливы.

Это замечание прямо вздернуло Плеханова на дыбы.

— Обижать Церетели — не входит в мои задачи. Его называют талантливым выразителем взглядов нынешних меньшевиков, и я, делая уступку общественному мнению, тоже называю его талантливым деятелем. Пусть будет так. Престиж Церетели, как видите, внешне поддерживаю: это очень хорошо, когда нас, стариков, заменяют молодые товарищи. Но я все-таки не вижу, в чем талантливость Церетели. Достаточно ли он образован, чтобы в наше ответственное время играть роль, которую, видимо, он себе отводит. Я интересовался узнать — в чем и когда Церетели проявил свои теоретические познания — никто не мог на этот счет мне ничего указать. За всю жизнь он не написал, кажется, даже малюсенькой статьи. Никакой теоретической серьезной марксистской подготовки у него, по-видимому, нет. Можно ли теперь без теоретического компаса плавать на российском океане? А Церетели плавает, и паруса его корабля раздувает только циммервальд-кинтальский ветер и большие аплодисменты, которыми его награждает невзыскательная аудитория. На Государственном совещании мы видели эффектную сцену: выразитель торгово-промышленных кругов Бубликов под гром аплодисментов пожимал руку Церетели — выразителю взглядов меньшевиков. С Бубликовым я после этого говорил — он ясно отдавал себе отчет в смысле и значении этой политической сцены. Но понимал ли ее Церетели — в том я имею все основания сомневаться. Продуманности у Церетели нет. Есть только кавказская декламация, а с нею одною нельзя понимать ход исторических событий и ни ей управлять. Если из молодых общественных деятелей, выдвинувшихся в последнее время, взять, например, Савинкова и Церетели, то скажу вам — за одного Савинкова, понимающего, что Россия гибнет и что нужно для ее спасения — я десять Церетели отдам. Понимания того, что нужно делать, у него нет.

Будучи у нас, Плеханов написал три статьи — одну на тему «Россия гибнет», другую — о значении московского совещания и третью — о Церетели. У меня под руками сейчас нет ни одной из них, не помню и их названия, но хорошо помню, что в появившейся в «Единстве» статье о Церетели не было и сотой доли тех язвительных суждений, которыми Плеханов его осыпал. Особая злоба, с которой он о нем отзывался, для меня по сей день непонятна. Не было ли в ней какого-то личного момента? Было бы полезно (для истории) спросить об этом Церетели.

Вечером в тот день, когда Керенский произнес речь о «цветах души» (см. об этом мою статью в «Социалистическом Вестнике» за октябрь 1953 года), Плеханов мне мрачно заявил, что никогда не мог предположить, что Керенский захочет поставить себя в такое смешное и жалкое положение.

— Кто такой Керенский? Ведь он не только русский министр, а глава власти, созданной революцией. Слезливый Ламартин был всегда мне противен, но Керенский даже не Ламартин, а Ламартинка, он не лицо мужского пола, а скорее женского пола. Его речь достойна какой-нибудь Сарры Бернар из Царевококшайска. Керенский — это девица, которая в первую брачную ночь так боится лишиться невинности, что истерически кричит: мама, не уходи, я боюсь с ним остаться.

Отзывы Плеханова о речи Керенского были столь злы, что я с некоторым испугом спросил: неужели он именно в этом тоне будет писать статью о Государственном совещании?

Плеханов пожал плечами:

— Разумеется, нет. Всего того, что я о Керенском думаю, я написать не могу. Пока нет другого правительства, забивать насмерть существующее — значило бы играть на руку Ленина, делать дело Ленина.

Однажды, это было скоро после его приезда к нам, я спросил Плеханова — сколько лет он не был в России и какие в ней изменения особенно бросились ему в глаза. Плеханов сказал, что он уехал из России в 1880 г. (кажется, так, хорошо не помню, какой год он указал) и, следовательно, не видел ее около 37 лет. С внешней стороны серьезно, но по существу со злой иронией Плеханов начал говорить о том, что его поразило

— Видите ли, я до сих пор считал Россию в большинстве своем населенной русскими — славянами. Думал, что господствует в ней славянский тип, примерно «новгородского образца». Значит — люди высокого роста, по преимуществу долихоцефалы и блондины. Что же я вижу во всех российских, петербургских и прочих советах рабочих крестьянских и солдатских депутатов? Множество людей черноволосых, большей частью брахицефалов, и говорят эти люди с каким-то акцентом и придыханием. Неужели, думал я, за эти годы, что не был в России, антропология ее населения так сильно изменилась? За все время, что приехал сюда, увидел, кажется, только двух представителей новгородского типа — это Авксентьев и Стеклов, но после проверки оказалось, что тов. Стеклов к новгородцам не принадлежит

Розалия Марковна Плеханова, присутствовавшая при этом разговоре, заметила:

— Ты так говоришь, что Валентинов может подумать, что ты стал националистом и не терпишь тех, кого называют инородцами.

— Зачем ты нашему хозяину, — возразил Плеханов, — приписываешь отсутствие понимания иронии? А все-таки, если говорить серьезно, должен сказать, что меня не только поразило, а даже шокировало слишком уж обильное представительство русских представителями других народностей, населяющих Россию, как бы почтенны они ни были. В этом видна незрелость русского народа.

Несколько раз в разговорах с Плехановым заходила речь о времени после первой революции до войны. Я указывал Плеханову, что в этот период, особенно с 1908 г., происходило огромное хозяйственное оживление в области индустрии, сельского хозяйства, жилищного строительства, городского хозяйства. Земля разными способами переходила в руки крестьян, и, настаивал я, на столыпинские законы нельзя смотреть только как на сплошь реакционную политику. Характеризуя 1908—1914 годы, я рассказал Плеханову, что в это время мне удалось побывать во множестве городов, в некоторых селах, очень многое видеть, и я пришел к убеждению, что всюду, за исключением какой-нибудь Суздали,

АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. *Новые свидетельства*

не было видно застоя, наоборот, огромное стремление к культуре, к усвоению того, что я называл «европеизмом».

— По-моему, не следует особенно увлекаться тем, что вы видели. Это все точки на теле слона. Европеизма, увы, в России мало. Это не Европа, не европеизм, а, как говорил Тургенев, «первое лепетанье спросонья». То, что вы рассказываете, находится в разногласии с тем, что об этих годах писали газеты и журналы. Очень хотел бы, чтобы вы были правы, но помоги, Господи, устранить мое неверие.

Слова Плеханова, несомненно, находятся в тесной связи с его мыслью о политической и культурной незрелости, отсталости русского народа, вывести из которой, по его глубокому убеждению, могло при политической свободе только дальнейшее мощное развитие капитализма. О возможности, по Ленину, перехода, «скачка России в социализм», Плеханов говорил с презрением.

— Нам после десятилетий пропаганды, просвещения голов научным социализмом, марксизмом, предлагают вернуться к ткачевско-бакунинской темной, невежественной демагогии. Почему тогда не заменить электричество лучиной, а паровой локомотив — конной тягой? Почти сорок лет тому назад я написал «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба». Прошу указать, где, кто, когда опроверг выводы из этих книг

Об «Апрельских тезисах» Ленина и о том, что тот писал позднее, Плеханов говорил как о «бреде». Он неоднократно повторял это слово. «Бред, только бакунинский бред, способный находить отклик лишь в очень невежественной среде.» Плеханов много рассказывал о своем первом знакомстве с Лениным, когда тот в 1895 г. приехал в Женеву.

— Аксельрод, бывший на седьмом небе оттого, что довелось видеть человека оттуда и находящегося в самом центре рабочего движения Петербурга, меня усиленно убеждал, что за Ульяновым-Тулиным нужно ухаживать, так как он самый видный представитель работающих в России социал-демократов, а их тогда можно было пересчитать по пальцам двух рук. И мы за Ульяновым действительно ухаживали, носились с Ульяновым, как дураки с писаной торбой. Однако к сей почтенной категории людей я не принадлежу, и потому сразу разглядел, что наш 25-летний парень Ульянов — материал совсем сырой и топором марксизма отесан очень грубо. Его отесывал даже не плотничий топор, а топор дровосека. Ведь этот 25-летний парень (Плеханов несколько раз повторил «этот парень») был очень недалек от убеждения, что если некий Колупаев-Разуваев построил в какой-нибудь губернии хлопчатобумажную фабрику или чугунно-плавильный завод, то дело в шляпе: страна уже охвачена капитализмом и на этой базе существует соответствующая капитализму политическая и культурная надстройка. Мысль Тулина вращалась именно в подобных примитивных рамках, а разве это марксизм? [...]

Я спросил Плеханова, как он относится к обвинению Ленина в получении денег от немцев (обвинение, брошенное Алексинским и Панкратовым) и к приказу Временного правительства об аресте Ленина.

— Получал ли Ленин деньги от немцев? На этот счет ничего определенного не могу сказать. Установить это — дело разведки, следствия, суда. Могу только сказать, что Ленин менее чистоплотен, чем, например, Бланки или Бакунин, заместившие в его голове Маркса. Арестовать Ленина после июльских дней, конечно, было необходимо. Революция дала стране полную свободу слова. Ленин, вместо того, чтобы добиваться своих, на мой взгляд, бредовых идей только словом, хотел их проводить, опираясь на вооруженные банды. А когда оружие критики, как говорил Маркс, заменяется критикой оружием, тогда революционная власть на такую критику должна отвечать тоже оружием. Очень жалею, что наше мягкотелое правительство не сумело арестовать Ленина. Все говорят, что он скрывается где-то вблизи Петербурга и из своего убежища продолжает и писать, и давать приказы своей армии, иными словами, разлагать революцию и играть на руку немцам. Контрразведка Временного правительства так бездарна, что найти Ленина не может. Савинков мне сказал, что ловить Ленина не его дело, но если бы он этим занялся, то уж на третий день Ленин был бы уже отыскан и арестован

Не могу не отметить следующий эпизод. Рассказывая Плеханову о периоде после первой революции и до начала войны, я ему указал, что в моих экскурсиях по России я в это время много раз встречался с большевиками, меньшевиками, эсерами, ушедшими из подполья, переставшими нести какую-либо партийную работу, но от этого совсем не сделавшимися «огарками», нулями, людьми, потерявшими всякое общественное значение и пользу. В этот момент я совершенно упустил из виду, что эти люди являются «ликвидаторами», бичуя которых Плеханов в 1909—1911 гг. примкнул к Ленину и пустился защищать доблесть «подполья». Любопытно, что Плеханов, слушая меня, не делал абсолютно никаких возражений.

Он упорно молчал, хотя вряд ли забыл, что еще совсем недавно по поводу ликвидаторов делал столь неприличные выпады против Потресова и что последний в одном из номеров «Нашей зари» (не помню точно, когда) назвал его «жалким человеком, сеющим разврат». Кстати о Потресове. Однажды речь зашла о газете «День», и я высказал удивление, что Потресов, не отличавшийся писательской подвижностью, сверх всякого ожидания оказался превосходным «газетчиком», способным писать чуть ли не каждый день живую и острую статью. Плеханов, несомненно, был человеком злопамятным, и хотя во время войны позиция Потресова почти совпадала с Плехановской, — мои комплименты по адресу Потресова ему явно не понравились. Ссору с Потресовым он не забывал. Он пожал плечами и сказал, что ни особой остроты, ни тем более блеска в том, что пишет Потресов, он не видит. Следует сказать, что кроме Савинкова, Плеханов во время пребывания у нас ни о ком другом с похвалой или одобрением не отзывался. О Мартове или Дане он просто говорил: «Это бессознательные полуленинцы. Это печально, но это так».

Расскажу о некоторых фактах, связанных или имеющих отношение к пребыванию у нас Плеханова. Моя жена старалась как можно лучше его кормить но в 1917 г. это становилось уже трудным. Например, хорошего масла достать было уже почти невозможно. Жена ухитрилась откуда-то из деревни получать сливки, и из них сама сбивала масло. Для этого она применяла, конечно, самые примитивные методы: чтобы сбить масло в бутылке, нужно было эту бутылку долго качать, трясти, пока наверху не появятся комочки масла. Розалия Марковна и Плеханов один раз застали жену (сбиванием масла занимался и я, помогая жене) за этим занятием, и были до крайности поражены. Они не предполагали, что для масла, которое они едят с утренним кофе нужно столько физических усилий их «хозяев». Много лет потом, когда Розалия Марковна после второй войны жила во Франции, в Sceaux, у своей дочери и мы изредка ее там посещали, она постоянно говорила, что не может забыть, как моя жена добывала им масло. Она рассказала, что у Плеханова по этому поводу вырвалось любопытное замечание.

— Чем больше Ленин и иже с ним будут вести свою пропаганду, тем больше будет экономически и технически разлагаться страна, тем больше мы будем возвращаться к экономике курной крестьянской избы

Однажды, находясь в столовой, жена моя случайно увидела довольно любопытную сцену. В этот день вечером в театре на Большой Никитской улице Плеханов должен был читать лекцию. Если не считать речи на Государственном совещании, это было его первое публичное выступление в Москве. Он готовился к нему не только в смысле содержания, но, если можно так выразиться, и с внешней стороны. Он надел жакет и тщательно репетировал все жесты, которые будут сопровождать его лекцию. Плеханов стоял перед большим зеркалом, и моя жена, случайно зайдя в столовую, видела, как он то разводил руками, то подымал одну руку, то прихлопывал ногой и т. д. Словом, это был полный арсенал ораторской жестикуляции, обычно сопровождавшей речи Плеханова. Всю эту заранее отрепетированную жестикуляцию, всегда производившую на меня впечатление неестественности, вымученной искусственности, можно было видеть во время его речи в Никитском театре. Публики было много, появление Плеханова она встретила дружными аплодисментами, но речь Плеханова ее разочаровала. Она действительно была слабой, и актерское разведение рук публике, видимо, не нравилось. Обычно в речах Плеханова бывало несколько остроумных ударных мест. На сей раз для оживления речи он хотел воспользоваться следующим приемом.

— Говорят, что я, Плеханов, 40 лет и даже больше всегда сражавшийся за интересы пролетариата, этим интересам ныне изменил. (Пауза.) Говорят, что я теперь пишу то, что находится в противоречии с тем, что писал. (Длинная пауза и снова повторение сказанного.) Признаюсь, да, милостивые государыни и милостивые государи, я признаюсь, я должен признаться, что.

После такого введения — несколько раз повторяемого «признаюсь», аудитория должна была логически ожидать, что Плеханов «признается» в какой-то

измене пролетариату. Неожиданно для публики Плеханов, меняя тон, вдруг бросил:

— Признаюсь, что я, Плеханов, никогда интересам пролетариата не изменял. Люди, утверждающие это, принадлежат к той категории, которую один наш русский писатель назвал от рождения «недоношенными».

Первый раз такой прием, бьющий на неожиданность, вызвал гром аплодисментов, повторенный несколько раз, он уже потерял свой эффект и перестал действовать; несмотря на то, что члены группы «Единство» в зале усердно хлопали в ладоши — большая часть публики за ними не шла. В качестве «почетных гостей» я и Вал. Николаевна сидели на эстраде, недалеко от Плеханова, рядом с Верой Ивановной Засулич. Поклонница до самой смерти «Жоржа» (Плеханова) видимо не хотела признать, что речь его не имеет успеха, к которому Плеханов привык в его выступлениях в Женеве и вообще в эмиграции.

— Не правда ли, — сказала она, обращаясь ко мне, — несмотря на годы, Плеханов все тот же?

Именно этого-то я не видел, и поэтому ответил уклончивой фразой. Засулич была этим огорчена.

— Вам не особенно нравится речь Плеханова, вы по отношению к нам, старикам, жестоки.

Говоря о Засулич, хочу описать следующее маленькое происшествие. Во время пребывания у нас Плеханова я его фотографировал во всех видах. Он охотно на это шел и принимал всякие «авантажные» позы. Засулич, приехавшая из Петербурга на Государственное совещание и в это время часто приходившая к нам, решительно не позволила ее фотографировать. Мне очень хотелось иметь ее карточку, и я сказал:

— Вера Ивановна, становлюсь перед вами на колени и не встану, пока вы мне не дадите вас снять.

В то время, когда я на все лады ее упрашивал, подошел Плеханов.

— Вера Ивановна вам не позволяет ее сфотографировать? Ну, я вам объясню, почему. В молодости, например, когда Вера Ивановна стреляла в Трепова, она была очень красива. Нужно думать, что это счастливое обстоятельство сыграло какую-то роль и в ее оправдании на суде. В глазах потомства она желает остаться такой же красивой, как в то время, когда за нею ухаживали Нечаев, Клеменц, а потом весьма многие иные. Поэтому фотографировать ее, когда она стала старой, она не позволяет.

Не знаю, какие отношения были у него и Засулич в то отдаленное время, когда она была очень красивой. Возможно, что говоря о «многих иных», Плеханов хотел намекнуть, что он был также в числе ее «ухаживателей». Знаю только, что Засулич вспыхнула и рассердилась:

— Вы чепуху несете! А чтобы доказать, что я не думаю о сохранении в памяти потомства того вида, какой я имела в 1877 г., я позволяю Валентинову с меня, седой и морщинистой старухи, сделать столько снимков, сколько он захочет.

После этого я и заснял Засулич. Вышла она на моих снимках чудесно. Жалею, что их теперь не имею. Ведь это действительно были снимки-уникумы. До этого времени она категорически отказывала всем желающим ее сфотографировать, а после этого без малейшего возражения позволила ее фотографировать и отдельно, и в группе, и вместе с Плехановым, когда через несколько дней мы все, по просьбе Плеханова, поехали на Воробьевы горы (туда, где юный Герцен и Огарев давали свою клятву). О поездке на Воробьевы горы с Плехановым и Засулич я говорил в статье в «Новом журнале» в 1948 г., повторяться поэтому не буду. Остановлюсь только вот на каком эпизоде.

Чтобы добраться от нашего дома до Воробьевых гор, нужно было проехать через всю Москву. По просьбе Плеханова наш приятель, артист Райский, правивший автомобилем, ехал медленно. Это давало возможность Плеханову внешне знакомиться с Москвой, он ее не знал. Москва не очень ему понравилась.

— Ваша «белокаменная» на самом деле грязнокаменная и неказистая. Европы в ней мало. Вот мы едем и я все ожидаю, что откуда-нибудь из переулка появится бородатый Хомяков, в мурмолке Аксаков или какой-нибудь тип Островского. Это к ней идет.

Когда мы проезжали по Страстной площади с памятником Пушкина, около него стояли толпы солдат, слушали какого-то оратора и лущили семечки.

— Вот картина, — воскликнул Плеханов, — от которой во время войны следует с омерзением отвернуться.

В то время я хорошо знал «старую Москву», особенно здания конца XVIII столетия и начала XIX, появившиеся в ней после уничтожившего почти весь город пожара 1812 г. Постоянно был «гидом» у всех наших гостей, впервые знакомившихся с Москвой. Всю дорогу я был гидом и для Плеханова. Мы ехали на Воробьевы горы большой компанией на нескольких автомобилях. В машине, которой правил Райский, сзади сидел Плеханов и рядом с ним я. Напротив нас два «товарища» из группы «Единство»: один из них Абрамов, фамилию другого забыл. Когда мы приближались к Нескучному саду (ныне «Парк отдыха и культуры»), Абрамов ни с того, ни с сего затеял разговор о присущих мне «ересях», в частности, указал, что считает вредной мою склонность заменять диалектический материализм эмпириокритицизмом Авенариуса и Маха. В присутствии Плеханова, против которого именно по этому вопросу я полемизировал и в книге «Философские построения марксизма» (1908), я считал такой разговор совершенно неуместным. Напоминанием об этой полемике омрачать хорошее настроение Плеханова совсем не хотел. Желая заставить Абрамова замолчать, я толкал его ногой, делал ему разные знаки, Абрамов — человек весьма дубоватый — этого не понимал. Плеханов о моих ересях тоже явно не хотел говорить и сурово смотрел на Абрамова. Перебивая его, он обратился ко мне: «Что такое эти два величественных и видимо старинных здания, мимо которых мы проезжаем?» Я ответил, что это две больницы. Одну из них в конце XVIII века построил наш знаменитый архитектор Казаков, а другую позднее, около 1830 г., воздвиг знаменитый архитектор Бове, построивший Большой театр, после пожара в 1853 г. заново отстроенный архитектором Кавосом. К величайшей досаде Плеханова и меня, Абрамов, не понимавший, что разговор о моих ересях нужно прекратить, продолжал что-то говорить об этом. Тогда Плеханов, обрывая его, бросил ему следующую фразу:

— Вы, товарищ Абрамов, напрасно игнорируете очень умные советы одного очень большого библейского философа. Имя ему — Экклезиаст. Он учил, что всему есть время, в частности, время говорить и время молчать. Да и говорить тоже нужно вовремя. Так, например, нас сейчас больше интересуют постройки Казакова, Бове и Кавоса, а совсем не то, что вы говорите.

Когда мы приехали в Нескучный сад, Плеханов немедленно отвел в сторону Абрамова и с большим пылом стал ему что-то говорить. Абрамов ничего об этом мне не сказал, но по его сильно смущенному виду можно было понять, что ему от Плеханова здорово попало.

15 августа 1954 г.

Что историки советской революции не знают, а должны знать!

1) Октябрьская революция создала великое разделение российской интеллигенции. Часть ее оказалась в эмиграции и мечтала о падении и свержении коммунистической власти. Другая же ее часть осталась в России, и с установлением НЭПа, вместе с коммунистами, ревностно работала над восстановлением хозяйства. Какие мотивы, какие идеи, какого рода психология толкали эту интеллигенцию принять самое активное участие в советском строительстве? Ее поведение не нашло себе ни малейшего освещения в написанной истории 1917—1928 гг. Пополняя этот пробел, я даю сведения об одном интеллигентском кружке меньшевиков, существовавшем в Москве с конца декабря 1922 г. до половины 1927 г. Сведения об этом кружке (вначале называвшем себя «лигой наблюдателей») никогда не попадали в печать. Из его состава попал за границу только я. Из его 8 членов — кроме меня и, может быть, еще двух человек — остальных уже нет. Коллективными силами этого кружка был составлен в 1922—1923 гг. большой меморандум «Судьба основных идей Октябрьской революции», имеющий значение важного исторического документа, ибо в нем отражены идеологические мотивы, психология, ошибки, иллюзии, оптимизм, характерные не только для членов упомянутого кружка, но для широких слоев интеллигенции, принявшей активное участие в советском строительстве.

2) Политика НЭПа, вопреки тому, что об этом писалось и писал сам Ленин, была принята при громадном сопротивлении всей партии. Со слов Свидерского я сообщил, что Ленин

грозил оставить пост председателя Совнаркома и перестать быть членом Политбюро, если партия не примет НЭПа. Этот факт, указывающий на силу внедрения в партии идей военного коммунизма, имеет громадное значение для понимания дальнейших событий, появления троцкистско-пятаковской оппозиции, а потом на базе ее идей — сталинизма.

3) Со слов Владимирова я сообщил, что еще весной 1922 г., после первого и легкого удара паралича Ленина, Сталин решил, что все-таки «Ленину капут», окончательно он поправиться не может, и, в зависимости от этого, установил свое отношение к Ленину. Отсюда полное объяснение и его грубого обращения с Крупской, и его выжидание смерти Ленина, чтобы еще больше усилить свою позицию генерального секретаря партии. Ленин узнал об этом, и это нашло свое отражение как в «завещании» Ленина, так и в его нежелании больше видеть Сталина.

4) Опираясь на показания многих коммунистов, я сообщил, что статья Радека с апологией Троцкого, помещенная 14 марта 1923 г. в «Правде», произвела огромное впечатление и была понята в партии как указание, что на место пораженного третьим ударом паралича Ленина вступает Троцкий. Это вызвало бешеную реакцию всех остальных членов Политбюро и травлю Троцкого подпольными прокламациями, за много месяцев до того, как Троцкий выступил с оппозиционной программой в конце 1923 г. (его статьи в «Правде» о новом курсе). Подпольные прокламации против Троцкого, по дошедшим до меня слухам, составлял Товстуха, личный секретарь Сталина.

5) Вызывая изумление врачей, Ленин стал поправляться после третьего удара и, несмотря на протесты Крупской, 19 октября 1923 г. поехал из Горок в Москву, посетил сельскохозяйственную выставку и свой кабинет в Кремле. Секретарь Ленина Фотиева указала на это в «Историческом вестнике» в 1945 г., в № 4, но не промолвила ни слова, хотя, конечно, о том знала, что Ленин обнаружил исчезновение из его кабинета во время его болезни и пребывания в Горках каких-то важных документов. Из моих сообщений, слов сестры Ленина и поведения Крупской видно, что эти документы были выкрадены Сталиным или кем-то по его поручению.

6) Я рассказал, как при протестах Троцкого, Бухарина, Каменева возникла идея сохранения «мощей» Ленина в Мавзолее. В согласии с идеями православной церкви, но при полном расхождении с духом марксизма, предложение о сохранении в виде мощей тела усопшего Ленина было выдвинуто Сталиным, бывшим учеником православной семинарии в Тифлисе. Эта любопытная история бросает особый свет на многое позднее происшедшее и на дух Сталина, в частности, на его самообожествление.

7) Дзержинский в ВСНХ имеет мало общего с тем представлением о нем, которое в печати и публике создано его управлением ВЧК-ГПУ. Дзержинский оказался очень правым коммунистом, упорным проводником НЭПа с крайне внимательным отношением к частной торговле и самым ревностным защитником беспартийных специалистов, и особенно бывших меньшевиков. При Дзержинском, по словам Ю. Ларина, в ВСНХ господствовало «засилье меньшевиков». В ответ на это Дзержинский указывает, что бывшие меньшевики — «замечательные, превосходные работники», и он желал бы, чтобы и в других наркоматах было бы такое же засилье. Все, что я сообщил о Дзержинском, в печати никогда не появлялось. С вступлением в ВСНХ вместо Дзержинского тупого Куйбышева — креатуры Сталина — началось грубое ущемление в ВСНХ бывших меньшевиков, установки того отношения к ним, которое в 1931 г. подытожил меньшевистский процесс.

8) Так же, как Дзержинский, его заместитель в ВСНХ — Владимиров, которого, кстати сказать, ненавидел Сталин, был очень правым коммунистом и характерной политической персоной на горизонте 1925 года — периода самого расширенного НЭПа. Вследствие совершенно особых отношений с Владимировым, я узнал от него многие крайне важные факты, в том числе о «напутствии», которое дал ему Ленин накануне второго удара паралича. Это напутствие свидетельствует, что Ленин, хотя он об этом не возглашал в своих публичных собраниях, тогда уже не верил в возможность близкого осуществления социализма в России.

9) Рассказывая об образовании «Освока» (особого совещания по воспроизводству основного капитала промышленности), я опровергаю общепринятую легенду, что практика планирования хозяйства есть дело большевистского творчества. Это абсолютно неверно. По признанию Ленина и Троцкого (но в печати о том ни слова), отцом советского планирования является антикоммунист проф. Гриневецкий, а первые проекты планирования созданы беспартийными экономистами (меньшевиками), инженерами, техниками, статистиками. Нужно, чтобы историки русской революции об этом знали, а не повторяли не соответствующие истине коммунистические уверения.

10) История идей оппозиции обычно составляется на основании данных, имеющихся в советской печати, и, сверх того, по мемуарам Троцкого, так как никаких других мемуаров больше нет. Этого совершенно недостаточно. К тому же Троцкий, защищая и прославляя самого себя, в своих мемуарах дает многому совершенно искаженное представление. Для понимания самой сути идей оппозиции необходимо знать то, что не публично и не в печати, а в интимных беседах мне довелось слышать от такого виднейшего лидера оппозиции, как Пятаков. В моих записках об этом я и сообщил.

11) В главе о Троцком я сообщил о его тайном свидании со Сталиным весною 1925 г., о котором и тот, и другой предпочли упорно молчать. Между ними в это время произошла сделка, в результате которой Троцкий, обольщенный обещаниями Сталина, написал письмо в редакцию «Большевика» (1925 г., № 16), в котором, опровергая самого себя, дал понять Политбюро, что отказывается от своих оппозиционных идей. Но Сталин, получив, что ему требовалось от Троцкого, его обманул и своих обещаний не выполнил. Поняв, что обманут, Троцкий снова кинулся в самую озлобленную оппозицию. Тот, кто не знает этого и подобных ему других фактов — а их в печати нет — подлинную историю оппозиции составить не может.

Из переписки Н. В. Валентинова-Вольского с Б. И. Николаевским

Николаевский — Валентинову, 21 февраля 1954 г.

Не согласен я с Вами с самого начала: на XVII съезде в 1934 г. говорили фразы о конце оппозиции, но конца оппозиции не было. Вспомните, после XVII съезда Политбюро разрешило ВЦИКу назначить Бухарина редактором «Известий», и в первой же программной статье Бухарин возвестил курс на «пролетарский гуманизм». Это была попытка борьбы со сталинизмом в его идейных основах, ибо сталинизм враждебен гуманизму. Бухарин стремился вернуть коммунизм к гуманистическим основам социализма. Эта борьба на теоретическом фронте была связана с организационными выводами: было решено перевести Кирова в Москву на пост секретаря, а Сталину дать почетный пост, лишивший его возможности контролировать аппарат партии. Именно на этот план Сталин реагировал организацией убийства Кирова и др. Отравления с помощью врачей с давних пор были излюбленным приемом Сталина. Вспомните рассказ Троцкого о том, что он уже тогда перестал покупать лекарства в кремлевской аптеке на свое имя. Конечно, отравителями были не Плетнев и Левин. Но отравители были. Об этом знали, об этом говорили, и Сталин поступил по-сталински, возведя вину в отравлениях на тех, кто был препятствием в широком применении этого метода устранения противников. Вся «ежовщина» была дьявольски точно рассчитанной игрой, злодейством, а не сумасшествием. [...] Сталин, сам применяющий отраву для устранения противников, конечно, не мог не опасаться, что яд будет направлен против него. Отсюда его подозрительность.

Николаевский — Валентинову, 25 мая 1954 г.

Прежде всего о том, что Сталин в конце жизни потерял чувство меры и из «гениального дозировщика», каким его считал Бухарин, превратился в человека, потерявшего понимание действительности, я с Вами вполне согласен. [...] Во всем этом у нас с Вами расхождения нет. Оно начинается прежде всего там, где Вы пытаетесь эти линии притянуть в прошлое для объяснения «ежовщины», которая была преступным, но точно рассчитанным и верно (с его точки зрения) дозированным актом уничтожения его противников, которые иначе бы устранили его самого. [...] Чувство действительности потерял Ленин, когда начинал вводить немедленный социализм в 1917—1918 гг.; и его «Заметки о Суханове», обосновывающие возможность сначала захватить власть, а потом строить экономическую базу для социализма, были ниспровер-

жением самых основ марксизма. Но разве правильно будет последние статьи Ленина, те, которые Бухарин назвал его «политическим завещанием», объявлять работой сумасшедшего, хотя Ленин в это время, конечно, далеко уже не был нормальным.

**Валентинов — Николаевскому,
22 июня 1954 г.**

Все данные по этому вопросу (о паранойе Сталина), конечно, находятся в руках Суварина, но кое-что могу Вам сообщить.

Основной материал поступил от Валериана Межлаука, бывшего в то время заместителем предсовнаркома, т. е. Молотова. Теперь известно, как этот материал попал в Париж. Некий Коган был с детства приятелем организатора советского павильона на выставке в Париже в 1937 г. и имел с ним ряд разговоров о кремлевских делах. Прямым начальником этого организатора был Иван Межлаук — брат В. Межлаука, приезжавший в Париж во время выставки. [...] Вал. Межлаук был потом собственноручно застрелен Ежовым за выдачу сведений за границу о болезни (паранойе) Кремля. Материал, полученный Коганом, был обширный, с массой разных важных подробностей. [...] Все это прошу держать в секрете, этот материал принадлежит не мне, а Суварину, очень много сделавшему для его проверки.

**Николаевский — Валентинову,
12 июля 1954 г.**

Даже полностью доверяя и правильности передачи и искренности самого Межлаука, я никак не могу признать их [материалы] правильными. Людям типа Межлаука казалось, что чистка совершенно бессмысленна и что Сталин сошел с ума. В действительности Сталин не был сумасшедшим, а вел совершенно определенную линию. К выводу о необходимости уничтожить слой старых большевиков Сталин пришел не позднее лета 1934 г., и тогда же начал эту операцию готовить. При секретариате ЦК был создан особый «спецсектор», во главе которого стоял Серов, тот самый, который теперь возглавляет Комитет государственной безопасности. Был целый тайный Комитет во главе с Постышевым, который руководил операциями. Маленков был начальником штаба и разработал план операций.

**Николаевский — Валентинову,
1 сентября 1954 г.**

О Дзержинском: я не знаю истории с Малышевым — очевидно, Сергеем Васильевичем, председателем Нижегородской ярмарки? Что это за история? мне интересно. В чем выражался страх Дзержинского перед Сталиным? Конкретно. Мне крайне важны детали. Относительно отравления Дзержинского: я сам отказался верить, когда об этом говорила Магус, и даже уговорил ее не вводить этого рассказа (из третьих рук) в свои воспоминания. [...] Но после этого я слышал ту же историю от одной женщины, скитавшейся по самым секретным изоляторам (она была осуждена в январе 1935 г. с Каменевым и др. по делу Кирова) и слышавшей много доверительных исповедей от сокамерниц (Вы знаете значение этих тюремных разговоров), а еще позже получил этот рассказ от человека, стоявшего во главе одной из групп аппарата Маленкова. А теперь наткнулся в заметках Райса (убит большевиками в сентябре 1937 г. в Швейцарии) на упоминание о словах Ежова, что Дзержинский был ненадежен. В этих условиях я теперь не столь категоричен в отрицании возможности отравления. [...] Вопрос о том, было ли ему [Сталину] это нужно. Я знаю, что Дзержинский сопротивлялся подчинению ГПУ контролю Сталина и отказывался (во всяком случае, вначале) делать доклады о работе Сталину (мне об этом рассказал в другой связи Рыков летом 1923 г.). Я знаю, далее, что сталинский аппарат на большие операции был пущен с осени 1926 г., что аппарат за границей Сталин себе подчинил в 1927—28 гг. Что смертью Дзержинского Сталин воспользовался, это несомненно, т. е. смерть Дзержинского ему была выгодна. Резкое нападение Дзержинского на [левого оппозиционера] Каменева с угрозой пойти на расстрелы [левых оппозиционеров] я знаю, но Вы знаете и то, что многие правые были самыми острыми противниками [левой] оппозиции, считая, что она главная причина задержки курса вправо, в то время как на деле задерживал больше всех Сталин, изнутри саботируя этот курс. [...] В том, что Горький был отравлен, я уверен. Бухарин в 1936 г. мне рассказал, что конституцию писал он с Радеком. В числе деталей на мой вопрос сказал, что предполагается легализация союза беспартийных для того, чтобы были другие списки, и что во главе их должны были встать Горький, Павлов, Карпинский, Бах и другие академики. К сожалению, прибавил Бухарин, Павлов и Карпинский умерли. Вскоре умер и Горький.

**Валентинов — Николаевскому,
4 октября 1954 г.**

Я просто не могу понять, почему вы отрицаете сумасшествие Сталина, почему вкладываете особый смысл туда, где было только безумие. [...] Можно быть убийцей-коммунистом и не быть параноиком. Маленковы убивают, будучи коммунистами, но они не параноики, а Сталин был таковым. Ведь доходящую до калигуловских размеров его манию величия Вы не можете отрицать. А если не отрицаете, то почему не желаете сделать психологический клинический вывод? У Вас только одна политика, только ею одной Вы объясняете Сталина. Психология больного Сталина у Вас исчезает. Вы его рисуете, как Вы однажды мне писали, большим мерзавцем. Только! В его произведениях (последних) Вы ищете большой смысл, а там безумие. Упрекаю Вас: тут марксизм Вас заедает. Политика, экономика, а живого человека выбрасываете. Маленковы убили Сталина, потому что превосходно знали, что Сталин сумасшедший.

Это знал Орджоникидзе и сказал об этом Сталину. Это знали Чубарь, Рудзутак, Ягода, врачи Плетнев и Левин. И именно потому, что они знали, Сталин их убил. Сумасшедший убивает тех, о которых подозревает, что они знают, что он сумасшедший. Разоблачение Солсбери, т. е. его указание, что Сталин был сумасшедшим и именно по этой причине готовил новую гигантскую «чистку» — производит на коммунистов потрясающее впечатление. [...] Больше того, я уверен, что сведения о сумасшествии Сталина Солсбери получил из круга Маленкова.

**Николаевский — Валентинову,
20 октября 1954 г.**

Вы все не хотите понять моих аргументов о Сталине. Я признал бы Сталина параноиком, если бы он действовал в противоречии со своими интересами. Этого не было. Он имел политику преступную, но единственную, при которой диктатура могла удержаться. Его действия были определены этой политикой. Он террор вел не по безумию Калигулы, а потому, что сделал его фактором своей активной социологии. Вы пишете, что Сталин убил тех, кто знал, что он сумасшедший. Он убил миллионы и, в частности, истребил весь слой старых большевиков, так как понял, что этот слой против его «коммунизма». [...] Как я уже писал, возможность ненормальности Сталина в 1952—53 гг. я допускаю; в тридцатых годах он операцию «ежовщины» провел очень точно (со своей точки зрения), так как все подготовил и захватил противников врасплох, они его не понимали. Даже многие из сторонников не понимали. [...] Вы мне не ответили о Дзержинском: почему Вы думаете, что он боялся Сталина?

**Валентинов — Николаевскому,
19 декабря 1954 г.**

Однажды, это было в 1926 г., Малышев, бородатый хозяин советской Нижегородской ярмарки, написал против ВСНХ статью и захотел ее поместить именно в «Торгово-промышленной газете», органе ВСНХ. Видя, что она против шерсти ВСНХ, я послал ее для «визы» в торговый отдел ВСНХ. Член коллегии ВСНХ Манцев заявил, что статью Малышева ни в коем случае печатать нельзя. ВСНХ, мол, не офицерская жена, которая сама себя сечет. После этого ко мне звонит Малышев, идет ли завтра его статья. Я отвечаю, нет, она не будет напечатана. Он в бешенстве бросает трубку, говоря, что заставит ее напечатать. И действительно, через короткое время из секретариата ЦК партии (но без указания, кто говорит) мне приказ поставить в выходящем номере статью Малышева. Я обращаюсь к Манцеву и спрашиваю, кого же мне слушаться. Манцев звонит Дзержинскому, тот — ко мне и заявляет: «Я председатель ВСНХ и ОГПУ. Приказываю Вам, несмотря ни на какие угрозы, статью Малышева не ставить». Малышев опять звонит ко мне, идет ли его статья. Отвечаю ему: «По приказанию Дзержинского она не будет помещена». Малышев тогда зло кидает словечко: «Есть кое-кто, кто Дзержинского обяжет статью напечатать». Дзержинский вторично мне звонит, проверяя, выполнен ли его приказ. А часа через полтора от него снова звонок, и хриплым и усталым голосом, без всякого объяснения, он мне приказывает (все приказы, только приказы) срочно набрать статью Малышева, поставить ее на видном месте и без нее номер газеты ни в коем случае не выпускать. Из того, что я потом слышал от Манцева и

других, выяснилось, что Сталин вызвал к себе Дзержинского и указал ему, что он требует помещения статьи Малышева, а в случае сопротивления и отказа Дзержинского — поставит вопрос о нем на ближайшем заседании Политбюро. Манцев говорит, что Сталин так орал на Дзержинского, что с тем от волнения сделался почти сердечный припадок и он несколько дней в ВСНХ не приходил.

**Валентинов — Николаевскому,
17 апреля 1956 г.**

Из бесед с Рыковым могу сообщить, как он возмущался антисемитизмом Сталина, говорившего, что «мы теперь всех жидков из Политбюро удалили». Это после удаления из Политбюро Троцкого, Каменева, Зиновьева. Могу сказать нечто о том, как подготовлялось «Шахтинское дело». Доклад о нем в Политбюро был составлен Рыковым, но он составлен в дипломатических тонах, тогда как на самом деле Рыков возмущался затеей этого процесса.

**Николаевский — Валентинову,
20 апреля 1956 г.**

Я знаю, что Политбюро отклонило первое предложение Ленина о НЭПе и уступило только после его ультиматума, что он уйдет. Поездка Ленина в Москву из Горок известна, но он ездил не на сельскохозяйственную выставку, а в Кремль и ходил по пустым комнатам здания судебных установлений, пока не прибыл Енукидзе, которого вызвал комендант (знаю рассказ Енукидзе). Шахтинское дело подготовлено секретариатом Сталина — через Маленкова, который посылал для шпионажа свою молодежь. [...] Вы вот думаете, что я из упрямства не признаю сумасшедшим Сталина, а мне сейчас до очевидности ясно, что принятие версии о сумасшествии будет полезно только для сталинских эпигонов, которым выгодно на это сумасшествие свалить все их преступления. Как можно этого не видеть? Сейчас здесь все только и говорят о провокаторстве Сталина. Документ этот у меня был едва ли не с 1945 г., а знал я о нем еще со времен парижских. Меня просили напечатать его с комментариями, я отказался, заявив, что «Сталин был провокатором, но документ — поддельный и только скомпрометирует разоблачение». Это же думаю и теперь.

**Валентинов — Николаевскому,
25 апреля 1956 г.**

От документа, пущенного в обращение [...] Дон-Левиным, за десять километров несет такой фальшью, что нужно быть просто слепым или дураком, чтобы ее не заметить. Неужели департамент полиции не знал, что нет «Енисейского охранного отделения», а есть «Енисейское губернское жандармское правление»? Ротмистр Железняков действительно существовал, но не был начальником несуществующего Енисейского охранного отделения. В книжечке Москолева «Русское бюро большевистской партии» (изд. 1947 г.) на стр. 149—165 довольно подробно рассказывается, как и кто следил за Сталиным в Туруханском крае. Упоминается и ротмистр Железняков, но не в качестве начальника «Охранки». В донесении полиции говорится побочно о Джугашвили (о Сталине тогда почти никто не слышал), и, конечно, не в том придуманном (глупо!) стиле, в каком составлен документик.

**Валентинов — Николаевскому,
10 мая 1956 г.**

Поездка Ленина 19 октября 1923 г. в Москву тем интересна, что в своем кабинете он обнаружил пропажу некоторых документов. У него тогда от злобы и волнения начались конвульсии, и его в таком виде увезли в Горки. [...] Здесь, в частности, обнаружилось поведение Крупской, которая трусливо (дезавуируя Марию Ильиничну) хотела замять пропажу каких-то документов.

**Николаевский — Валентинову,
9 июля 1956 г.**

1. Письмо Крупской к Зиновьеву и Каменеву, на которое Вы так часто ссылаетесь, относится к 23 декабря не 1923 г., а 1922 г. Оно было вызвано угрозами Сталина в связи с посылкой Крупской письма к Троцкому от 31 декабря 1922 г. (напечатано в «Сталинской школе фальсификации» Л. Троцкого) о внешней торговле («противник очистил позиции без боя... надо продолжать наступление»). Сталин формально был прав, так как в это время еще действовало абсолютное запрещение врачей — отменено только 29 декабря. Но, конечно, права и Крупская, так как Ленин требовал. 21-го Ленин еще не имел стенографистки, записала сама Крупская.

2. Думаю, что Вы правы, проводя резкую грань между Лениным последних месяцев его жизни и Лениным прежних лет. Свои последние статьи Ленин писал, действительно, как завещание. И так называемое завещание о снятии Сталина с поста было лишь дополнением к ним по линии «оргвыводов» (хотя и в него, как знаете, Ленин ввел ту политическую идею, которую считал основною). Должен добавить, что Бухарин, с которым я в 1936 г. об этих статьях много говорил, рассказывал, что Ленин не закончил намеченную серию — должно было быть еще четыре статьи, которыми Ленин хотел завершить свою концепцию «нового пути к социализму». Подтверждение этого имеется в последних статьях Фотиевой («Правда» от 22 апреля этого года), которая тоже говорит о намеченных Лениным дальнейших четырех статьях. Когда я спросил Бухарина, в чем же состоял этот «новый путь», он мне сказал, что идеи Ленина им точно изложены в его брошюрах «Путь к социализму», 1925 г. и «Завещание Ленина», 1929 г. Эти брошюры действительно исключительно интересны. [...]

3. Вопреки Вам, я считаю, что Троцкий прав, когда говорит, что Сталин сообщал Политбюро о якобы имевшей место просьбе Ленина дать ему яду. Ленин яда не просил — и в этом я с Вами согласен — но Сталин об этом говорил, ибо в это время (конец февраля 1923 г.) он решил во что бы то ни стало [Ленина] устранить. Он, конечно, знал, что Ленин готовил «бомбу», и если бы не было удара, появился бы на съезде хотя бы ненадолго. На разговор в Политбюро он мог бы потом сослаться, как на доказательство, что Ленин с этой просьбой обращался к нему; а следовательно, мог просить и у других.

4. Равным образом я думаю, что Вы слишком категоричны в утверждении, что Горький умер естественной смертью. Горький умер через несколько дней после того, как по настоянию Сталина, получил свой архив из Лондона от баронессы Будберг (о ней см. воспоминания Ходасевича в т. 70 «Современных записок» — текст их сильно сокращен).

Думаю, то основная Ваша беда — некритическое доверие к рассказу Межлаука. [...] Он знал далеко не все, что происходило за кулисами, и был, по-видимому, искренне убежден, что никакой борьбы против Сталина не велось, что все дело было в его болезненной мнительности или даже паранойе. На деле, начиная с 1932 г. Сталин не имел большинства в Политбюро и на Пленуме ЦК; его положение особенно ухудшилось после XVII съезда, когда был принят курс на реформы. ЦК XVII съезда и членов этого съезда Сталин уничтожил не потому, что был сумасшедшим, а потому, что догадывался о замыслах противников. [...] Ненормальным его теперь хочет объявить Хрущев, которому выгоднее все свалить на сумасшествие одного человека, чем признать свое соучастие в преступных деяниях банды.

**Валентинов — Николаевскому,
14 июля 1956 г.**

Обратили ли Вы внимание на то, что рассказываю о поездке в октябре 1923 г. Ленина из Горок в Москву и обнаруженной им тогда пропаже какого-то документа? В моей рукописи тот, кого я называю «Икс» (для Вас это — В. А. Левицкий, известный доктор-общественник, председатель губернского исполнительного комитета в февральскую революцию вплоть до октября), убежденно заявлял, что Сталин выкрал из квартиры Ленина (она в это время была пустой, все ее жильцы были в Горках) какой-то документ. Как Вы думаете, что это за документ? Он написан до третьего удара Ленина. Значит, можно предположить, время его написания лежит между началом января и началом марта 1923 г. О чем Ленин мог в это время писать и что было столь плохо для Сталина, что он пошел на кражу? Характерно, что Мария Ильинична утверждала, что кража Сталина, а Крупская, страшась Сталина, стремилась эту историю замять.

**Николаевский — Валентинову,
17 августа 1956 г.**

Идею сифилиса у Ленина Политбюро совсем не отбрасывало. Рыков мне в июне 1923 г. рассказывал, что они приняли все меры для проверки, брали жидкость у него из спинного мозга — там спирохет не оказалось, но врачи не считали это абсолютной гарантией от возможности наследственного сифилиса; отправили целую экспедицию на родину, поиски дедов и т. д. «Если бы ты знал, какую грязь там раскопали, — говорил Рыков, — но по вопросу о сифилисе ничего определенного» (в комиссии был Аросев, который мне позднее рассказывал о деде-еврее из кантонистов). [...]

Свои отравления Сталин вел не через Ягоду, а по линии личного секретариата, хотя, конечно, отравители (особенно за границей) были из официального аппарата НКВД. Сталин несколько раз пытался снять Ягоду, конечно, под разными предлогами (посылка в НКВД Акулова, которая сорвалась).

Валентинов — Николаевскому, 25 августа 1956 г.

Лично у меня иллюзии о здоровой эволюции через НЭП и при продолжении НЭПа были даже в 1927 г. Тогда как Громан летом этого года — он жил тогда на даче в 16 верстах от Москвы в Немчинове — спорил со мною и доказывал, что дело идет к уничтожению НЭПа и к концу нашим надеждам. Отвечаю теперь на Ваши пункты.

[...] Вы не ответили на мой вопрос, очень меня сейчас интересующий — что за документ мог выкрасть у Ленина Сталин? Этот документ Ленин, выехав из Горок, искал в своем кабинете в Кремле и, как уверяла Мария Ильинична, не нашел. Нет ли на этот счет каких-либо сведений и предположений?

Николаевский — Валентинову, 31 августа 1956 г.

Какой документ мог искать Ленин? — этим вопросом, конечно, задался и я сам, но ответа не имею. Так как документ этот он искал в Кремле, куда не ходил после второго удара, то из этого следует, что его расхождение со Сталиным началось до этого второго удара (версия сталинцев: Ленин против Сталина стал только после второго удара, когда уже перестал быть настоящим Лениным) и, следовательно, документ должен был относиться к вопросам, которые тогда стояли на очереди. Там были вопросы и конституции (у Троцкого есть кое-какие интересные указания), и Госплана (первое письмо после второго удара написано Лениным Троцкому с признанием его [Троцкого] правоты по этому пункту), и национальным. Надо порыться в документах, в «Ленинских сборниках», но я сейчас зарылся в другую эпоху.

●

Род вождя

Во втором номере «Слова» мы опубликовали статью Михаила Штейна «Род вождя» и генеалогическую схему семьи Ульяновых. Публикация, как мы и предполагали, вызвала самую противоречивую реакцию. Нас сразу же некоторые рьяные блюстители «хрестоматийного глянца» попытались обвинить во всех смертных грехах, а «Еврейская газета» (№ 9, 7 мая 1991 г.) записала «Слово» в «антисемитские издания».

Нам вполне понятна забота некоторых ревнителей «чистоты крови» вождя, но все же истина дороже.

Уже после публикации к нам попала работа известного историка Г. М. Дейча («специалиста в области поиска архивных материалов», как он сам утверждает), посвященная В. И. Ленину, его родовым корням. Дейчу удалось разыскать и вывезти в США несколько любопытных документов, которые в известные времена он не мог опубликовать в СССР. Теперь они опубликованы. Кстати, Г. М. Дейч знаком со статьей М. Штейна и высоко ее оценивает.

Мы приводим документы из Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде, которыми располагал Г. М. Дейч.

Князь А. Н. Голицын, о котором идет речь в сообщениях, был тогда обер-прокурором святейшего Синода и возглавлял министерство духовных дел и народного просвещения. Александр Бланк — дедушка В. И. Ленина. Д. Бланк, обратившийся с письмом к царю Николаю I, — прадедушка его.

1820 г., июля до 31

Сообщение руководства императорской медико-хирургической академии в Петербурге о прошении крещенных евреев — братьев Александра и Дмитрия Бланков на имя министра Духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына о принятии их студентами (воспитанниками) этой академии.

1820 г., июля 31

Предложение министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына руководству императорской медико-хирургической академии в Петербурге за № 2479 о принятии в студенты академии крещенных евреев — братьев Бланков.

1846 г., 26 октября

Представление министра внутренних дел Льва Перовского императору Николаю I записки крещеного еврея Бланка о мерах побуждения евреев к переходу евреев из иудейской веры в христианскую.

«Из Комиссии прошений препровождена ко мне, присланная на Высочайшее имя, записка проживающего в Житомире крещенного 90-летнего еврея Д. Бланка, которого два сына получили лекарское звание, один умер, а другой состоит и поныне штаб-лекарем на службе (речь идет о дедушке В. И. Ленина — Александре Бланке. — Прим. ред.). Старец этот, ревнуя к христианству, излагает некоторые меры, могущие, по его мнению, служить побуждением к обращению Евреев.

Предложения Бланка состоят в том, чтобы запретить Евреям ежедневную молитву о пришествии Мессии и повелеть молиться за Государя Императора и весь августейший дом Его. Запретить Евреям продавать христианам те съестные припасы, которые не могут быть употребляемы самими Евреями в пищу, как например квашенный хлеб во время пасхи и задние части битой скотины, запретить также христианам работать для Евреев в субботние дни, когда сии последние, по закону своему, работать не могут.

12 октября 1846 г.

Лев Перовский»

№ 237

На представлении (докладе) Перовского имеется резолюция: «Высочайше повелено препроводить в Комитет о еврейских делах.

26 октября 1846 г. В Царском селе».

Нам кажется, что пришло время историкам непредвзято и объективно рассмотреть вопрос и о генеалогии рода Ульяновых, поскольку слишком долго этот вопрос замалчивался, а многие документы исчезли из доступных архивов. Равно, как и других деятелей Февральской и Октябрьской революций.

Поход Корнилова

В то время, как журнал «Вопросы истории» и издательство «Наука» только еще взялись за публикацию «Очерков русской смуты» А. И. Деникина, Ростовское книжное издательство еще в 1989 г. выпустило небольшую книжку А. И. Деникина «Поход и смерть генерала Корнилова».

Нам бы благодарить ростовских издателей, ведь сможем теперь узнать хоть часть удивительной НАСТОЯЩЕЙ русской истории... Но (увы!) предисловие к книге А. И. Деникина, сочиненное неким А. И. Козловым, крайне удивляет. И что интересно: сие предисловие, напечатанное мелким шрифтом, занимает чуть не половину всей книжки. Спрашивается, кого же печатают? Деникина или Козлова?

Вот как А. И. Козлов описывает боевой путь генерала Корнилова в I мировую войну: «Уже в 3-й армии он снова завел 48-ю дивизию в окружение. 29 апреля 1915 г. сдал в плен 3500 человек и штаб во главе с собою. За такое командир дивизии подлежал преданию суду». А ведь знает «историк», что Корнилов дивизию не «завел» — его дивизия ПРИКРЫВАЛА тяжелое отступление русских войск в Карпатах. И задачу свою выполнила. И никого Корнилов не «сдавал»: окруженная дивизия была в тяжелом неравном бою расчленена, разбита. Но и здесь значительная часть дивизии прорвала кольцо и вышла, вынеся и боевые знамена. Командир же ее был ранен и попал в плен. Но это было на фронте под немецким огнем, а то, о чем пишет А. И. Козлов, происходит, увы, нередко в уютных кабинетах.

Вообще следует отметить, что и в советской, и в западной историографии никто не вызывает такой ненависти, как генерал Корнилов (разве что только Гитлер!). Странно, не правда ли? Не так уж и долго сияла звезда Корнилова на политическом небосклоне, а поди ж ты!

Вот как все тот же «доктор исторических наук» описывает знаменитый побег генерала Корнилова из плена в 1916 г.: «...в форме австрийского солдата с подложными документами добрался до румынской границы поездом и благополучно ее перешел. Но в штаб одной из частей русской армии он явился в изодранном нижнем белье, побитый и растрепанный. Падкие на сенсацию фронтовые газетчики, с его подачи, расписали его побег как легендарный».

Как легко, оказывается, бежать из плена: сел на поезд и уехал! А вот у Корнилова удачным оказался только третий побег. Причем, и на этот раз его чуть не схватили и ему пришлось несколько дней бродить в лесу, пока его не вывел к Дунаю румынский пастух. И Дунай преодолеть было не так-то просто: не ручей, мягко говоря, да к тому же граница. Что касается «фронтовых газетчиков» — о Корнилове писала пресса всех стран Антанты. Шутка сказать: генерал из плена бежал! Но всего нагляднее тенденциозность автора предисловия предстает на стр. 11, где он обзывает Корнилова (родом из казаков) и Деникина (родом из крестьян) «выбившимися из грязи в князи»! Так и пишет: «...те, кто «выбивался из грязи в князи», кто рассматривал социальные привилегии как объект длительной борьбы за обладание ими и как смысл всей своей жизни, обеспечивавшие теплое место под солнцем не только им самим, но и их детям, внукам и всему потомству, — держались за них, что называется, зубами и руками, с остервенением бились за их сохранение до последнего».

А. И. Козлов! У Корнилова и Деникина ничего, кроме их офицерского жалованья, не было. Детям и потомкам они могли оставить только Отечество и свое честное имя русских воинов.

Л. ДУМНОВ

А. И. Деникин. ПОХОД И СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. Ростов-на-Дону, 1989.

Разрушение труда

Многие, думаю, обратили внимание на выступления в печати Олега Платонова о русском труде, о самобытном характере хозяйственного развития России, пренебрежение которым привело нас на грань национальной катастрофы. На фоне слаженно-фальшивого хора голосов, вещающих о русской лени и неумении трудиться, — все тверже звучат речи серьезных публицистов и исследователей о необходимости возрождения национальной модели экономического развития.

Платонов свободно владеет обширным материалом, что позволило ему всесторонне рассмотреть стержневую тему книги — исторически сложившееся национальное отношение к труду и планомерное выхолащивание творческого начала, разрушение общинной артельной культуры труда после революции. Он хорошо чувствует ту поэзию, которой всегда были проникнуты труды и дни крестьянина на Руси и которая придавала сакральный смысл характеру и ритму крестьянского труда. К этой поэзии безнадежно глухи те, кто под видом критики сталинского режима стремятся перечеркнуть бесценный многовековой опыт русского землепользования, кто, как В. Селюнин, А. Стреляный, Г. Лисичкин и прочие, тщатся доказать, что крестьянская община насильственно насаждалась сверху, будь то при Грозном или при Сталине. Платонов убедительно разрушает подобные стереотипы, которые с упорством внедряются в головы читателей. Однако надо сказать, что заведомые фальшивки такого рода, когда свободная община объявляется предвестием насильственной коллективизации, когда сталинизм выводится из русской истории и русского характера, оказывает воздействие лишь на межеумочное, не обремененное ни культурой, ни памятью сознание. Ведь стоит лишь вспомнить, что крепостное состояние, как резонно замечает Платонов, не было характерной чертой русского общества, что через него прошли все европейские народы, а в США рабовладение существовало до 60-х годов прошлого века.

Этот-то артельный общинный дух инициативного свободного самостоятельного труда безжалостно умерщвлялся и заменялся после революции трудом принудительным, зачастую почти бесплатным, просто лагерным. Уровень реальной заработной платы русского рабочего крупной промышленности был в начале XX века, по оценкам акад. Струмилина, одним из самых высоких в мире, а ныне стал одним из самых низких. Совершенно справедливо отмечает автор идейное родство с революционными нигилистами и разрушителями 20—30-х годов современных радикалов, у которых идеологи репрессивных мер и принудительного труда — Троцкий, Бухарин и пр. — числятся в безвинных страдальцах. Их смердяковское презрение к народу то и дело прорывается в перестроечных рассуждениях об «инертной массе», «человеке с улицы», которыми призвано управлять «революционное меньшинство», «прогрессивная интеллигенция», «передовое чиновничество». Над этим можно было бы повеселиться, не будь «прогрессивное и передовое» меньшинство во все времена столь агрессивным и не планируй оно сейчас новую кровь и голод в надежде превратить народ в стадо.

Перед нами книга горестных фактов и раздумий о том, как трудолюбие, веками почитавшееся в народе, наряду с терпением, добродетелью, превращалось после всех «революционных преобразований» и установления неограниченного административного диктата в безынициативность, равнодушие.

Лидия МЕШКОВА

Платонов Олег. ВОСПОМИНАНИЯ О НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. — М.: Сов. Россия, 1990.

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

Сиреневый колокольчик на свежем ветру

Его цветы прекрасны. Колокольчики, кажется, шелестят на ветру, тихо звенят, а первые весенние цветы, ярко-желтые, любящие свет и влагу, излучают тепло. Оба букета незатейливы, но радостно открыты людям. Цветы живут в простых глиняных плошках, на фоне деревянных стен, — впрочем, фон настолько условен, что о нем скорее догадываешься, чем видишь, — и озаряют все вокруг. Почему-то вспоминаются букеты дивные с картин-«самоцветов» Татьяны Алексеевны Мавриной. «Собранные» рукой великой сказочницы, они отчаянно веселы, бесшабашны, озорны, дружно делят пространство картин то с котом Баюном, то с лихими городецкими всадниками, то с птицей Феникс. Букеты художника Владимира Коркодыма застенчивы и приветливы. И, глядя на них, тихо, радостно становится на сердце...

Да где же он разыскал красоту такую?

Впрочем, еще и в ближнем Подмосковье не исчезли на лугах веселые стайки легконогих сиреневых колокольчиков, а в тенистых лесах прячутся их царственные собратья — лазоревые, на длинных зеленых стеблях. И по перелескам, вдоль рытвин и канав, весной жадно тянут из почвы воду очаровательные пушистые первоцветы... Но более всего таких цветов там, куда каждый год, вот уже десяток лет, уезжает художник, пускаясь в странствие, знакомое и незнаемое. Что-то ждет впереди? И путь этого ежегодного странствия пролегает на север России, в Архангельскую область. И идет оно кругами, большими и малыми дорогами, по рекам, охотничьим тропам и лесным просекам, возвращаясь в Андрийчево, село, которое художник избрал своим домом. Своим Михайловским, Мурановом, Абрамцевом?..

Все мы, горожане, люди деревенские. Где бы ни жили мы — в большом ли, малом ли городе, поселке, мегаполисе — все равно, корни наши там. Быть может, поэтому самые решительные из нас, самые «непривязанные» к месту возвращаются все-таки обратно — хотя бы на время. Владимир Николаевич Коркодым возвращается в деревню каждый год, уезжает месяцев на семь — восемь. Словом, большую и лучшую часть года проводит он там. Я смотрю на пейзаж его работы — панораму села Андрийчево, смотрю, как в чудесное окно, распахнутое в забытый мною мир, о котором говорят, что и старый он, и уходящий, и исчезающий прямо на глазах. Но, странное дело, радостно на душе! От высокого голубого неба, от этой шири, от просто физического ощущения тепла и света, которое может, наверное, испытать человек, вышедший на вольный воздух после многодневного заточения в четырех стенах... И мы, «обласканные» гарью и пылью города, его толчеей и давкой в очередях, теперь, за самым необходимым, его жестким ритмом и жестоким обращением, рвемся из его тесных объятий — и вырваться боимся и не можем. А Владимир Коркодым решился — и смог.

Когда художнику исполнилось 40 лет, он вдруг остановился в своем деле. В деле, которому он посвятил себя и, пожалуй, не мог жаловаться на то, что оно шло плохо, что делалось скучно и что оно его не кормило. Хотя трудно было сравнить сделанное художником с тем, что успели наработать его более удачливые сокурсники по Суриковскому институту, «прорвавшиеся» на Запад и Восток, вширь и вглубь. А учился Коркодым с ныне известными Шиловым, Назаренко, Нестеровой.

Трудна дорога реалиста. Трудна и порой впрямую зависит от вкусов «прекрасной публики», таких порой переменчивых... Еще вчера превозносила она до небес, например, натюрморты Лактионова, потом же принялась лихо обругивать эти «раскрашенные фотографии». Но когда спустя много лет появляются работы Шилова, приезжает выставка американского мастера Эндрю Уайета или устраивается экспозиция того же Лактионова, то замирает перед полотнами в тихом восторге...

Владимир Коркодым никогда не участвовал в том, что принято называть «соцреализмом», но художником реалистической школы, безусловно, был и остается. Ученик Грицая и Жилинского, младший друг Кугача, он преподавал в художественном вузе, участвовал в выставках — и вдруг отовсюду ушел.

— Ушел? Да сбежал — от суеты, от прочного быта, от жизни этой — в никуда. Поехал в деревню, на русский Север... Что сделал, то твое — так ведь? «По Сеньке шапка», — любимая пословица моей матери... Статей о тебе не пишут? И не надо! Замалчивают — и хорошо. Кому-то покажется трусостью такой побег, кому-то — проявлением гордыни. Жизнь вообще жестока: есть люди, которые умеют сбрасывать с себя груз, а есть такие, что везут и везут... Я везти не захотел...

В мастерской Владимира Николаевича так тихо, что через открытую форточку слышен стук первой весенней капели. Громада Климента — собора в честь святого папы римского — возвышается рядом. Тихо, уютно как-то по-старомосковски. Но если бы несколько лет назад мы заглянули вдруг в этот дворик, то не нашли бы особнячка. На месте руин, а лучше сказать, из ничего Владимир Коркодым «со товарищи» воссоздал разрушенное здание. Так у него, наконец, «образовалась» своя мастерская...

Но вернемся к нашему разговору. Он начался монологом обрывочным, художник произносит все это как бы про себя, проговаривает еле-еле. Видно, воспоминания, хоть и улеглись те бури, тревожат, и он стремится поскорее преодолеть их. Чтобы отвлечь его, спрашиваю о недавней выставке работ художника в Замоскворечье. Есть в столице выставочный зал, где иногда

можно увидеть очень интересную экспозицию. Там и не затерялась, по крайней мере для меня, картина Коркодыма «Ждут товара». Здесь художник славно поработал в том редком сейчас виде живописного искусства, что носит название «жанр». Перов, Федотов, Кустодиев, Репин — великие мастера оставили свой след в жанристике, а теперь вот что-то перевелись продолжатели дела... Может быть, именно поэтому так запомнилась эта простая, вроде бы безыскусная, но психологически сложная вещь. И, безусловно, живая, живая!.. Боже мой, как жаль их, посетителей этого убогого «сельпо», старух, стариков, женщин, детей, что — каждый по-своему, с тревогой, верой, надеждой, бесстрастно, ждет. Чего? Да все того же, элементарного, обыденного, самого простого, необходимого. Так ведь, Владимир Николаевич?

— Жаль, конечно, людей. И кто нас такими терпеливыми, покорными сделал? Кто так надломил нас?.. А вот каково вам это? — художник ставит на мольберт вещь, поистине удивительную, но тоже, на первый взгляд, простую. Натюрморт «Жила-была Анна Ивановна». Комната в крестьянской избе, чисто, но все как-то безжизненно. Кажется, воздух уже остыл, печь не топлена, жизнь ушла. Нет больше домовитой (насколько это возможно в нашей разоренной северной деревне) старушки, прожившей долгую и трудную жизнь. И никому не нужны собранные ею, нажитые ценности — хомут и жестяной чайник, кадушка и самовар, сахарница из толстого зеленого стекла, глиняные крынки и миски, стаканы... Скарб — сундук, деревянные стулья, половики... Чисто, убого. Страшно, страшно!.. Всю жизнь трудилась эта достойная женщина, вырастила детей. И вот — все, и никому ничего не нужно: наследники разлетелись по свету и забыли.

— Вспоминаю еще одну вашу работу с выставки «Поэзия родной земли», так, кажется...

— О, нас тогда сильно мытарили, пока, наконец, открыли ее! Что-то все не так, не те темы, не тот настрой — «и это на втором-то году перестройки!»...

— А видела я там... Да, картину помню отчетливо, а вот название... Человек сидит в углу комнаты, согнувшись пополам, курит. В окна маленькой убогой избы льется зеленый, какой-то перламутровый свет. Тишина, такая звенящая тишина во всем, безысходность. Меня привлекло и то, что картина, говоря языком «фотографическим», по-особому «кадрирована». Кажется, что если ее герой выпрямится во весь рост, непременно ударится головой о потолок. Пустое пространство давит его, как Меньшикова давит березовский дом на знаменитой картине Сурикова.

— Ох, не надо таких громких сравнений. Но то, что давит пространство, прямо-таки загоняет в угол, — точно...

— И жаль этого одинокого человека...

— Он недавно умер, Игнатий, крестьянин из села Андрийчево, мой постоянный натурщик. Пил в молодые годы страшно, разогнал всю родню, жену, детей, потом всю жизнь страдал, мучился от одиночества, но ведь не воротишь! Такие обиды не прощают. Эта картина появилась в 1987 году, а год спустя я вновь рисовал избу Игнатия, а в ней, в общем-то, незваных гостей, сезонников, молдавских рабочих, что приехали заготавливать лес...

— Сезонников?

— Да, вот именно. Я так и картину назвал. Жаль, что у меня от нее даже слайда не осталось, уехала в Киров, в музей. Так вот. Эти нормальные, симпатичные с виду люди работают на лесоповале. Валят лес безжалостно, грубо, вообще с природой обращаются хамски. Они — не хозяева этой земли, временщики. Пришельцы. Что им жалеть ее, если те, кто живут здесь, землю свою не жалеют, разбегаются, кто куда. А что могут сделать старожилы, люди пожилые? Костьми лечь под пилы? Андрийчево, в прошлом богатое, цветущее село, вымирает. Населяют Андрийчево в основном старики и старухи. Когда из трех соседних сел автобус везет местных жителей на работу в леспромхоз, в нем — 2-3 человека. Много домов пустует. Хорошо, что дома стоят с «глядящими» окнами. Здесь не принято их заколачивать. В этом — вера, быть может, наивная наша, исконная вера в чудо, что все само образуется, вдруг повернется хорошо... А картина та, с Игнатием, называется «Вспоминая жизнь».

— Еще было полотно, а на нем — веселый парень, охотник с глухарем...

— Вы имеете в виду работу «Толя Рыжков из Беляевки».

— А говорите, что молодежи нет на селе!..

— Так ведь после службы в армии вряд ли вернется в село этот парень! А жаль. Земля прекрасная, леса чудные, богатые охотничьи угодья...

— Вы охотник? Вижу, у вас много охотничьих натюрмортов. Любимая тема?

— Натюрморты охотничьи... На них мода прошла, экологи ругают.

— Но ведь у вас они очень хороши. Да и не обилие тут дичи, не груды битой птицы, а, я бы сказала, скорее красота природы, птиц — оперения, красок, колористическое решение работ интересно...

— Не будем раздражать экологов!.. Одни делают благородное дело — даже с нашими нищенскими скудными средствами спасают, охраняют леса, воду, зверей и рыб от хищнического истребления, другие — болтают, болтают и болтают. Впрочем, сейчас это многим заменяет дело. Так что нашлись возмущенные «критики» и у моего «Глухаря»... Но, надо сказать, я больше люблю охоту с мольбертом. Может быть, поэтому у меня и на пейзажах нет-нет, да и промелькнет зверь какой-то...

— У вас, охотника, видно, много впечатлений...

— Я вам лучше расскажу о том, что случилось однажды летом со мной на этюдах. Я люблю забираться далеко от дома, путешествую с мольбертом и моими охотничьими собаками весь день. Ухожу километров за десять... А тут рисую на берегу реки, лето, тихо, прекрасно, волшебно. Вдруг щенок мой забегал, заволновался, спустился к воде, а на другом берегу застрекотали сороки. Смотрю, мелькает рыжая шкурка. Лисичка пожаловала. Любопытная, серьезная, смотрит, что за зверь такой на том берегу тявкает. Она молоденькая, и он маленький. Изучают друг друга... Щенок, правда, скоро потерял интерес, а лиса любовалась нами довольно долго.

— Вам, Владимир Николаевич, писать надо. Может быть, вы ведете дневник?

— Отлично сказал однажды Пришвин. Я недавно прочитал его «Дневники», и он предстал передо мной философом, мудрецом, не на манер восточных, а каким-то былинным, Пименом-летописцем. Ну вот, он пишет примерно так: когда был молод, я шел в мир. Теперь, когда я стар, я вспоминаю, и мир идет ко мне... Вот ведь верно как: мир идет ко мне! Когда у человека, кроме воспоминаний и одиночества, нет ничего, он все равно остается частицей мира. Мир обступает его, и если человек достойно прожил жизнь, он не чувствует себя щемяще одиноким. Буду постарше, примусь за записки. И мир обступит меня...

— Я еще подумала о том, что ваше «бегство от цивилизации» — это как лекарство для души...

— Не думайте, что жизнь в деревне — это идиллия на манер «Филимона и Бавкиды» или «Старосветских помещиков». Все сложно, очень сложно. Творческому человеку на социалистической Руси тяжело живется. «Если ты рисуешь, то почему не работаешь, а если это работа, то почему здесь живешь, в развалюхе?» — такими вопросами одолевали

меня на творческой встрече во время моей выставки в местной школе, в Андрийчево, потом в Вельске. А вообще-то люди понимают картины. Радость детская какая-то от того, что узнают на полотнах себя, родные места, цветы с ближайшего перелеска. Да что там, гордятся этим. Вот, мол, как наше Андрийчево зазвучало, на всю страну, не то, что какие-то «Апетиты» (это они так город Апатиты иронично прозвали). А если вдуматься, ну что это за имя городу — Апатиты, Рудный, Никель?!. Трудно живут люди, но не озлобились, все понимают. Там есть замечательный человек, Анатолий Семенович Шиловский, умница, труженик. Он мне пишет письма, хорошие, мудрые! С болью говорит он о том, каким было Андрийчево в прошлом, какие жили семьи. Уж семьи так семьи — по семь — одиннадцать детей, дома строили так дома — добротные, красивые, двухэтажные... Сейчас река подмывает берег. Вот смыло баньку возле моей избы, подмывает фундамент, того гляди рухнет дом; вот церковь — деревянная, старинная, прекрасно сработанная — обезглавлена безбожниками, да так и стоит, заросла мхом, а дорога к храму — бурьяном. Зато тропинка торная проложена к колокольне. Там, в жаркие дни, мужики устраивают нечто вроде «клуба по интересам» и, конечно, выпивают...

— Жаль людей.

— Жаль, что забыли они, что когда-то звали их гордыми архангелогородцами, поморами, жаль, что забыли, какой добрый урожай умели они выращивать на своих северных землях, какой мед собирали, какими великими ремеслами владели — от корабельных дел до плетения корзин. Вообще люблю таких людей, кто при всех условиях, в нужде, «задавленности», остаются людьми, люблю их рисовать. Мне самому дороги две мои работы — «Мастер Фалалеев» и женщины за прялкой. Это красивые люди, у них в руках — дело, дающее им, прежде всего, радость, удовлетворение творческое... Мне кажется, что эта земля все-таки возродится. Надо только, чтобы человек, наконец, стал ее хозяином. И если будет так, то возрождать ее былую славу кинутся не пришлые «фермеры», сезонники, цель которых — выжать — как можно больше, дать — как можно меньше, а те самые андрийчевцы, что поехали искать лучшую долю в город. Да так в нем и застряли!..

— Владимир Николаевич, а ведь это счастье для села, что в нем живут художники. Как хорошо, что там проводятся ваши выставки, что люди приходят к вам, что вы их пишете, что те немногие ребятишки, что живут там, видят ваши картины.

— Не все рассуждают так, не все. Но большинство, конечно, знает, что это хорошо. Так что, думаю, устроюсь там основательнее. Хотите посмотреть, как мы живем?

Владимир Николаевич ставит на мольберт небольшую работу. Она, кажется, излучает тепло, уют и ласку, как русская печь, жарко натопленная в морозный день. Комната, которая служит всем хозяину и хозяйке, а в зимнюю стужу еще и мастерской, выписана любовно и бережно. Хорошо бы вот так однажды сбежать из города, не в нору заползти, не в скорлупу замкнуться, не в берлоге засесть, но в добром теплом доме, на своей земле. Где тебя ждут, там, где тебя любят.

Однако Владимир Николаевич тут же переводит разговор с «высей горних» на проблемы жизненные, возражает против «пасторалей». Да и какая, в самом деле, идиллия, если зимой дверь, что ведет в эту светлую комнату, приходится для тепла завешивать матрасом, если за ночь леденеет в ведре вода, если сам дом того и гляди рухнет... Услужливая память тут же «подбрасывает» пример из воспоминаний Константина Коровина. Художник рассказывает о том, как в мастерской, которую они занимали вдвоем с Валентином Серовым, за ночь примерзало одеяло к спине, а в кадушке воду сковывало льдом... И кто знает, не приди на помощь молодым талантам великодушный Третьяков, благородное семейство Мамонтовых, Морозовы, что бы сталось с ними! Третьяков Коровина не понимал, но его картины-этюды приобретал для своей галереи... Непонимание иного «бонзы от искусства» в наше время стóило порой художнику здоровья, свободы и даже родины. И сейчас, когда все так обновляется, иногда — не в лучшую сторону, трудно живется тем, кто избрал творчество смыслом своей жизни. «Если ты пишешь, то почему не работаешь?» — наивный вопрос этот со встречи Владимира Коркодыма со зрителями на выставке, похоже, все время висит в воздухе. Невежество проникло, кажется, во все сферы наши, художников, словно производителей жареных пирожков, обложили тяжким налогом, а их мастерские обозвали «нежилыми помещениями», на них грозятся установить настоящую, «справедливую» плату. А не по силам она, так что же? Вон сколько полезных городу организаций ждет своего часа: зал игровых автоматов и видеосалон, офис очередного СП, коммерческий магазин — да мало ли чего, что принесет реальный доход в быстро пустеющую казну!..

Еще одна мысль, горестная, выстраданная, мелькнула в рассуждениях Владимира Коркодыма: если умирает художник, кто займется судьбой его картины? Не у всех есть энергичные наследники, не все получили признание при жизни, не каждый может заинтересовать зарубежного «мецената», готового порой «купить на пятак жареных», иначе — по дешевке и много. «Быть может, стоит создать нечто вроде ломбарда для хранения полотен?» — размышлял Коркодым. И усовестился нереальности «мечтаний»: «Да кому это из наших союзовских руководителей нужно! Тут от забот о живых не отбиться!..»

И я вновь обращаюсь к прекрасным деревенским «видам» работы Коркодыма и думаю о том, что все-таки его возвращение в столицу, ее «культурный состав» состоялось. И оно прекрасно, как и северное путешествие, длительное, трудное, предпринятое ради этого. А еще и ради того, чтобы мы, зрители, живущие в этом жестоком мире, удивились красоте, открытости природы людям, но только в том случае открытости, если обращаться к ней с добрым и чистым сердцем.

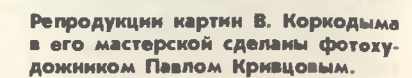
Я говорю об этом мастеру, а он улыбается в ответ.

— Скажите, а появились бы эти пейзажи, натюрморты, портреты, не будь ежегодных путешествий в Андрийчево?

— Иногда мне кажется, — отвечает Владимир Николаевич, — что и сам бы я не был без этой деревни. Я и сейчас не знаю, где моя истинная жизнь — там ли, в Москве? Я живу — и все. Но там я пишу — и занимаюсь обычным крестьянским трудом. Сюда же, как невесту на смотрины, привожу свои картины. И мне приятно, что андрийчевские работы хвалят, думаю: вот как мое село зазвучало! Все, как пишет Пришвин: сначала ушел в мир, а теперь мир идет ко мне!..

Мир идет. И полотна, что художник создал далеко от Москвы, приносят сюда, в каменный наш город, дыхание светлого русского Севера. Они открыли нам такого интересного, тонкого лирика, владеющего виртуозной кистью, которая может передать и чистоту высокого весеннего неба, и прелесть старинной деревянной церквушки и даже донести нежный перезвон сиреневого колокольчика на свежем ветру

●



Репродукции картин В. Коркодыма в его мастерской сделаны фотохудожником Павлом Кривцовым.

ИСКУССТВО. В мастерской Владимира Коркодыма

Одуванчики. 1989 г.





Село Андрийчево. 1989 г.

Осенний пейзаж. 1989 г.



Земляника. 1989 г.



Портрет Игнатия. 1989 г.



ИСКУССТВО. В мастерской Владимира Коркодыма

Первый снег. 1989 г.

Церковь села Андрийчево. 1989 г.



Портрет односельчанина. 1990 г.





Букет васильков. 1990 г.

Святая обитель в Пюхте

«Такие места народного поклонения не могут быть избираемы произвольно или искусственно устанавливаемы: во всей Православной Руси верующие и Святая Церковь чтят и делают местом особого усердного молитвенного поклонения такие места, которые были ознаменованы какими-либо особыми благодатными явлениями, или которые были свидетелями благодатных подвигов, совершенных ревнителями Креста Христова», так писал князь Сергей Владимирович Шаховской, усилиями которого сто лет назад, в праздник Успения Божией Матери (15/28 августа), был открыт Пюхтицкий Успенский женский монастырь.

Продолжение на с.

Пюхта.
Пресвятвя
Богородицв.
Мозаика на
часовне у
святого источникв

ЗАКОНЪ БОЖIЙ

Православные праздники
Дни светлой памяти

СЕНТЯБРЬ

1 сентября — Донская икона Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году).

6 сентября — Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1479 г.).

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году).

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября — Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского (1724 г.).

21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

22 сентября — Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий, чудотворец (1515 г.).

24 сентября — Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

30 сентября — Мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София (ок. 137г.).

Раздел первый

О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ

Почитание святых занимает исключительно большое место в благочестии Православия. Кратко веру Церкви в молитвенное предстательство святых можно сформулировать словами выдающегося подвижника благочестия XX столетия афонского старца Силуана: «Святые угодники достигли Небесного Царства и там зрят Славу Господа нашего Иисуса Христа, но Духом Святым они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и не переставая ходатайствуют за нас пред Богом».

Подвиг святости всегда имеет индивидуально-творческий характер. Поэтому и за гранью смерти святым дано деятельно участвовать в судьбах людей делами любви соответственно мере духа и величию их подвига: «Звезда бо от звезды разнствует во славе» (1 Кор. 15, 41). Так что тот факт, что наши предки приписывали многим угодникам частные, так сказать, специальные дары благодати, не свидетельствует о нецерковности их взглядов. Главным основанием для такого воззрения служили, с одной стороны, церковно-исторические повествования о жизни и чудесах святых, а с другой — церковно-богослужебные книги с песнопениями и молитвами этим угодникам и другие религиозные сказания относительно разных

Продолжение. Начало в №№ 1—7/1991.



событий и лиц Христианской Церкви. Пользуясь этими источниками, народ одних из святых угодников признал за ходатаев в разных более или менее трудных обстоятельствах своей жизни, другим усвоил охранение домашних животных, третьих сделал покровителями разного рода занятий, промыслов и ремесел. Начиная урочные труды календарного года, русские люди особенно часто обращались с молебнами и частными молитвами к святым, память которых праздновалась в эти дни, прося их помощи и содействия в разных предприятиях, а оканчивая труд, они благодарили совпадающих по этому времени угодников за счастливый исход своих занятий.

Словом, можно сказать, что наши предки всю свою жизнь стремились вручить заботе и попечению тех или иных святых, представляя их ближайшими во всем покровителями.

Наконец, что касается сходства между святыми и языческими божествами, то оно имеет чисто внешний характер, ибо первым придан возвышенный нравственный облик, которого не было у языческих богов, и борьба их с бесовскими силами, стремящимися погубить человека, также носит незнакомую языческому миру христианскую моральную окраску.

Нельзя, правда, отрицать, что при наличии религиозной темноты и суеверия правильное понимание святых могло (и может) быть практически нарушаемо в сторону многобожия и пережитков язычества. Но этот феномен не коренится в самом существе почитания святых, а является по отношению к нему аномалией религиозного сознания, за исправление которой всегда боролась Православная Церковь.

Теперь, не претендуя никоим образом на полноту картины, мы остановимся на некоторых особо чтимых святых, которым русский верующий народ отдает в ведение различные области природы или человеческой деятельности, а также почитает целителями душевных и телесных недугов.

Начнем с **Иоанна Крестителя**, который почитался народом, с одной стороны, покровителем растительного царства и особенно целебных трав, а с другой — целителем головных болезней. Время празднования памяти Иоанна Крестителя (24 июня*) совпало с древним языческим праздником Купалы, и в народном сознании оба эти празднества смешивались между собой, хотя постепенно языческий характер игр и обрядов этого дня (купания, зажигания костров и прыгания через них и др.) утрачивался. Согласно с народным обычаем именно на Рождество Иоанна Предтечи запасались лечебными травами и цветами. Так, царь Алексей Михайлович в 1657 году писал к московскому ловчему стольнику Матюшкину: «Которыя волости у тебя в конюшенном приказв ведоми и ты бы велел тех волостей крестьянам и бобылям на рождество Иоанна Предтечи набрать цвету серебориннаго, да трав имперниновой да мятной с цветом и дятлю и дятельнаго кория, по 5 пудов». В северо-западной Руси крестьяне имели обычай приносить в этот день в церковь для освящения огромные веники и пуки зелени, которые потом развешивались в домах.

Что касается до того, почему народ представлял Предтечу целителем головных болезней, то это связано с усекновением главы его (воспоминается Церковью 29 августа).

Вместе с Иоанном Крестителем следует упомянуть другого покровителя земного плодородия, подателя дождя **Св. Пророка Илию** (20 июля). Из повествования 3-й книги Царств известно, что по слову пророка небо заключалось и разверзалось, три года не давало дождя и проливало целые реки воды, что при кончине он был чудесно взят на небо на огненной колеснице. В апостоле, читаемом в день памяти пророка Илии, церковных песнопениях, словах проповедников также указывалось на низведение Илией дождя, так что неудивительно, что именно к пророку Илие русский православный народ имел обыкновение обращаться с молитвой о ниспослании дождя по случаю засухи. Если же засуха была продолжительной, то нередко это могло явиться побудительной причиной к строительству Обыденного, т. е. в один день сооруженного храма. Обыденные храмы — эти удивительные памятники единодушия и согласия наших предков в молитве и труде, в мысли и деле, — согласия, столь много говорящего о самом духе православного русского народа, — строились «всем миром», каждый, независимо от своего социального и сословного статуса, принимал участие в этом братском труде во славу Божию. В большинстве обыденные храмы были деревянными и строились по обету, обычно по случаю какого-либо общественного бедствия. Если таким бедствием была засуха, то и храм обычно посвящался Св. Пророку Илие.

* Здесь и ниже даты по старому стилю.

Перейдем теперь к святым — покровителям царства животных. Таковыми русский народ почитал святых Власия, Георгия, Флора и Лавра, Зосиму и других.

Признание **Св. Власия** (11 февраля) покровителем скота имеет для себя основание в житии святого, который подвизался в безмолвии и непрестанной молитве в одной пещере пустынной горы. Его посещали дикие звери. Власий возлагал на них руки и благословлял, а больных зверей исцелял. На старинных иконах Власий изображается сидящим на коне и окруженным лошадьми, коровами, овцами. Ему назначалась особая молитва от скотского падежа и вообще в день памяти Св. Власия ему служились молебны с прошениями у него защиты для домашнего скота. В некоторых местах был обычай сгонять коров к церкви, где они окроплялись святой водой, а хозяева, особенно заботившиеся о благополучии своего рабочего скота, носили образ Св. Власия по хлевам, окропляли всех животных крещенской водой и окуривали ладаном.

Другим покровителем животных русский народ считал **Св. великомученика Георгия Победоносца** (23 апреля), и самый день его памяти отмечался как пастушеский праздник. Хозяева в первый раз выгоняли освященной вербой скотину в поле, причем многие в этот день налагали на себя пост. Выгоняя в поле скотину, крестьяне окликали св. Георгия:

Егорий ты наш храбрый!
Спаси ты нашу скотину,
В поле и за полем,
В лесу и за лесом,
От волка хищного,
От медведя лютого,
От зверя лукавого.

В Сказании о том, в каких случаях каким святым должно молиться (Русский архив 1863 г., XII) полагается даже особая молитва великомученику Георгию, как покровителю домашних животных и хранителю их от падежа и различных болезней. В его честь 23 апреля было принято выпекать хлебные изображения коров, лошадей и других животных; такие же вещи, в виде детских игрушек, приготовлялись из глины.

Относительно **Свв. Флора и Лавра** (18 августа) скажем, что они, главным образом, признавались покровителями лошадей. В день их памяти крестьяне выводили своих лошадей к рекам и озерам, купали в во-

де, а потом завивали лентами их гривы в косы, приводили к церквям, служили молебны с водосвятием и окропляли их святой водой. Оснований для подобного почитания Флора и Лавра в житии их найти нельзя. Известно только, что они были по профессии каменотесы и приняли мучения за веру. Вероятно, к подобному почитанию свв. Флора и Лавра послужило какое-нибудь апокрифическое сказание о них. Тем не менее этот взгляд на святых был очень распространен на Руси, так что даже на иконах около свв. Флора и Лавра изображались лошади.

Заботе **Св. мученика Маманта** (2 сентября) наши предки поручали овец и особенно коз и звали его овчарником. В Прологе отмечается, что когда Св. Мамант жил в пустыне, то ему особенную услугу оказывали дикие козы. Они сами приходили к нему, Св. Мамант доил их и приготовлял сыры, которыми не только питался сам, но и торговал, раздавая вырученные деньги неимущим.

Покровителями и защитниками животных почитались также **Св. Модест, епископ Иерусалимский** (12 декабря) и **Св. бессребреники Косьма и Дамиан** (1 июля).

Преподобного **Зосиму Соловецкого** (17 апреля) русские пчеловоды называли пчельником и считали покровителем пчеловодства. В древних стихах из сборника «Калики перехожие» читаем такие строки:

Попаси, Зосим Соловецкий, пчелок
Стаями, роями, густыми медами.

В одной из молитв преп. Зосиме между прочим подробно повествуется о путешествии св-х Зосимы и Савватия в дальние страны, откуда они принесли в набалдашнике посоха пчелиную матку и, пустив ее в Русскую Землю, положили начало пчеловодству. Наши сельские пчеловоды в день памяти Св. Зосимы служили ему в церквах молебен и приносили при этом медовые соты для освящения. Тогда же они вынимали ульи из амшаника и выставляли на лето в пасеки. При этом была повсеместная традиция ставить один большой улей, называвшийся Зосимом, посреди других. На нем помещалась икона Св. Зосимы, который изображался здесь всегда с ульем пчел.

Естественно будет связать эти обычаи с народным древнерусским преданием, что преп. Зосима был насадителем пчеловодства на севере России. Такое предание весьма небезосновательно. Известно, что русские монастыри, особенно на севере и северо-востоке, будучи прежде всего училищами благочестия, были в то же время и немаловажными училищами по части хозяйственной. Поэтому более чем вероятно, что Св. Зосима, устраивая общежитие на пустынных и диких Соловецких островах и занимаясь там разным хозяйством, вместе с тем положил начало и пчеловодству.

Наконец, нужно сказать, что покровителем рыбного промысла считался в народе **Св. апостол Петр** (29 июня), каковое верование особенно сильно было среди рыбаков. Приходилось ли закидывать сети, застигала ли на воде буря, не удавался ли рыбный лов — рыбаки молились ап. Петру, который был сам по занятию рыбаком и был призван к апостольскому служению в то самое время, когда занимался рыбной ловлей. От народного внимания не ускользнуло и то обстоятельство, что Сам Христос благословил занятия Петра, и, как замечает Евангелист, после этого благословления апостол поймал так много рыб, что от их тяжести едва не разорвались сети. Сама Церковь считает уместной молитву Св. апостолу Петру как покровителю рыбного промысла. Так, например, в Требнике Петра Могилы есть чин на освящение новых сетей, и здесь между прочим читаем: «Сам Владыко Всесильный и предлежащия сети благослови и в ловитве Твоим Божественным благословением множеством рыб на пищу Твоим рабам всегда исполни, молитвами преблагословенные Владычицы нашея Богородицы и св. славных и всехвальных апостол Петра, Фомы, Нафанаила, Иоанна и прочих рыбам ловцем бывших».

Совершенно особенное место в сердце верующего народа занимает **Св. Николай Мирликийский**. Никакому другому святому не было посвящено столько храмов, обращено столько молитв, сложено столько песен и сказаний. Св. Николай всегда был для русского народа скорым помощником и теплым заступником. Он исцеляет болезни, помогает в нужде и бедности, является человеку с защитой и помощью при всякой опасности, лишь бы только человек обратился к нему за содействием. Думается, что на исключительное значение чудотворца Николая в русском народе имел свою долю влияния и личный характер этого угодника, в душевных качествах которого наши предки отчетливо видели черты, близкие русскому национальному характеру. Открытое выступление в защиту униженной невинности, решительное заступничество за неправедно осуждаемых и гонимых, которые явил Мирликийский Святитель во время своей жизни, особенно как-то соответствуют характеру открытой, чистой и доброй русской натуры...

В частности же, почитался Св. Николай и как хранитель на водах. Русские моряки почти всегда имели икону этого Св. угодника и в случае опасности выносили ее на палубу для совместной молитвы об избавлении от кораблекрушения и бури.

Перейдем теперь к святым — целителям болезней и страстей. В различных болезнях народ испрашивал помощи у различных святых. Причина, почему тому или другому святому усваивается сила помогать в той или иной болезни, в большинстве случаев кроется в житии святого. Если в житии рассказывается, что святой сотворил чудо, помог в той или другой болезни, то он и получает в народном представлении место духовного врача именно этой болезни.

Целителями лихорадки считались преимущественно **ап. Петр и великомученик Пантелеимон** (27 июля), при головной боли наши предки обращались за помощью к **Иоанну Крестителю**, при зубной боли и при грыже к **священномученику Антипе** (11 апреля), при болезни глаз к **архидиакону Лаврентию** (10 августа), при оспе — к **мученику Конону Исаврийскому** (5 марта).

Некоторые святые, по народному представлению, предохраняют человека от тех или иных грехов. Так, от блудной страсти помогают избавиться **преп. Мартиниан** (13 февраля), **преп. Моисей Угрин** (26 июля), **муч. Фомаида** (13 апреля), **преп. Мария Египетская** (1 апреля), а от пьянства **муч. Вонифатий** (14 дек.) и **св. Моисей Мурин** (22 авг.). Приведем здесь, кстати, слова митр. Филарета (Дроздова): «Кто с верою и любовию к Богу и Его закону, с надеждой благодатной помощи Божией твердо стоял против искушения и действительно принял благодатную силу к отражению его... тот может и другим искушаемым и подвизающимся помочь, потому что он, по опыту своего искушения и подвига, тем глубже сочувствует и сострадает другим в подобном искушении и подвиге и тем ревностнее ищет им помощи... и с тем большим успехом предстательствует пред Богом и за других, требующих подобной помощи, находя притом в ра-

дости благотворения награду за свой подвиг. Такое примирнтельное направление благотворной силы святых можно усмотреть на опыте в житиях их.

У преп. Даниила просил помощи некто, тяжко боримый искушением, восставшим против его целомудрия. Старец послал его на гроб мученицы Фомаиды молиться при ее предстательстве. И когда повеленное было исполнено, искушение исчезло. Почему же помощь должна была прийти именно через эту мученицу? Потому что и она в жизни прошла через тяжкое искушение против ее целомудрия и умерла за сохранение целомудрия».

В заключение скажем несколько слов о святых женах. Из них почитание русского народа более всего сосредоточнлось на свв. **Параскеве** (28 октября), **Екатерине** (24 ноября) и **Варваре** (4 декабря). Параскева Пятница, образ которой в народном сознании представлял из себя смешение элементов дохристианских, христианских апокрифических и преимущественно православных, считалась покровительницей женских работ, хранительницей невест, целительницей головной боли. Св. Екатерина признавалась покровительницей и помощницей женам в болезнях чадорождения, а Св. Варвара — хранительннцей от внезапной смерти без покаяния.

Назвали мы лишь некоторых святых, о бóльших умолчали, но и это малое ознакомление с народным почнтанием угодников Божиих показывает, что находится оно в полном соответствии с самым духом православной веры. Ибо Православие есть не идеология, не учение, не теория, но полнота жизни во Христе Иисусе, жизнь, которая, по слову Иоанна Златоуста, жительствует, жизнь, которая освящает светом благодати все (казалось бы) даже самые маловажные стороны человеческого бытия. Нет ничего профанного, все в этом дольнем мире причастно миру горнему, нет такого доброго дела, в котором бы мы не имели соработниками угодников Божиих, нет такой нужды, в которой бы они не были за нас молитвенниками.

М. КОЗЛОВ,
преподаватель Московской
Духовной Академии и Семинарии

Раздел второй

Конспект
ИГУМЕНА ФИЛАРЕТА
ГЛАВА XV

Обязанности человека в отношении к своему телу. Недопустимость для христианина блудного греха. Отражение этого греха на теле и душе человека. Борьба с вожделениями (похотью). Соблазны

Человек состоит из души и тела. Многие древние религии и философские учения говорили о том, что душа человека сотворена Богом, а тело происходит от злого начала — диавола. Христианство учит иному. И душа н тело человека — сотворены Богом. Тело человека, по апостольскому учению, после таинства крещения — есть храм Святого Духа, а члены тела — чрез соединение со Христом в таинстве св. Причащения — суть члены Христовы. Поэтому в будущее вечное блаженство (как и вечные мучения) человек перейдет всем своим существом — и бессмертной душой, и телом, которое воскреснет и вновь соединится с душой — пред Страшным Христовым судом. Поэтому, заботясь о своей душе, христианин не должен оставлять без внимания и свое тело. И прежде всего он должен его беречь — беречь по-христиански — не только от болезней, но и от грехов, загрязняющих, оскверняющих и ослабляющих его. И среди таких грехов — по своей опасности и вредоносности — иа первом месте стоит блудных грех — грех потери человеком целомудрия и телесной чистоты.

Не отрадно писать эти строки и поднимать вопрос о том, о чем христианину, по резкому выражению апостола, «срамно есть и глаголати»... — стыдно и говорить. Но умолчать об этом иевозможно, ни один грех не опасен для молодежи так, как опасен и страшен этот скверный грех — хуже заразы, хуже чумы...

Итак, речь идет о грехе блуда — иначе говоря, о тех грехах разврата и половой распущенности, которые являются, без всякого сомнения, самой ужасающей язвой, бичом и проклятием современного человечества. Трудно и перечислить те гибельные последствия, которые следуют за этим грехом, как неотлучная тень. Утрата нормального, христианскн чистого отношения к лицам другого пола и загрязненность мысли и воображения; крайнее ослабление памяти, невосприимчивость к жизни и ее явлениям, безволие и потеря жизненной энергии, наконец — неврастения и душевное расстройство или ужаснейшая болезнь — «прогрессивный паралич» (размягчение мозга) — вот обычные спутники блудного греха. Не говорим уже о специфических болезнях, так часто являющихся результатом непорядочной жизни... Но всего страшнее, конечно, грозный суд Того, Кто заповедал нам чистоту и непорочность жизни — Страшный суд, о котором апостол сказал: «Блудников и прелюбодеев БУДЕТ судить Бог»...

Как же бороться с соблазном этого греха тому, кто хочет сохранить себя по-христиански чистым и целомудренным? Ответ прост: прежде всего — чистотой мысли и воображения. Часто говорят о том, что половая потребность действует в человеке с такой неодолимой силой, что он не в силах ей противостоять. Ложь! Тут дело не в «потребности», а в испорченности и сластолюбии, когда человек без удержу грязнит себя в мыслях и желаниях. Конечно, у такого человека естественная половая склонность взвинчивается до непомерной степени и неминуемо доводит его до греха. Но христианин, богобоязненный и строгий к себе, никогда не позволит, не допустит того, чтобы дурные желания и помыслы овладели его умом и сердцем. А для этого — он, призвав Божию помощь в молитве и крестном знамении, борется с такими помыслами сразу же при их появлении, усилием воли переводя сознанне и мысль или к молитве, или же хотя бы какой-нибудь другой, не оскверняющей теме. Распаляться нечистым воображением — значит — развращать себя и губить себя... И потому-то, борясь с дурными мыслями, христианин должен немедленно и резко отвращаться и удаляться от всего, что может вызвать эти дурные мысли. Недаром Спаситель так строго предупреждает нас в Нагорной проповеди и от нечистого, похотливого взгляда — хоть бы дальше взгляда дело в данном случае и не пошло. Так опасен мысленный соблазн.

А соблазнов — так много... Общая развращенность нравов и удаление от чистой, христиански-воздержанной жизни, возмутительно-недопустимое отношение к браку и супружеской жизни — одно это уже не может не действовать на молодую душу. А тут к этому — еще: кинематографические картины и современная литература, наперебой воспевающая и описывающая грех в самых заманчивых красках, с откровенностью и бесстыдством, от которых в ужас пришли бы наши скромные и богобоязненные предки. ...Подобные развлечения, которыми современное ЯЗЫЧЕСТВУЮЩЕЕ «христианское» общество настолько ослеплено, что не замечает их вредоносности и греховности... Различного рода сальные «анекдоты» — эта духовная гниль и зараза, убийственно грязнящая ум и сердце человека — все это тучей соблазна надвигается на молодую, развивающуюся душу человека... Но блажен тот, кто смолоду и до конца дней своих остался чистым телом и душой. Блажен тот, кто благоуханную свежесть, крепость и богатство нетронутых сил души и тела или принес в светлый, освященный Богом и Церковью брачный супружеский союз — или сохранил все это до самой двери гроба — в сияющей чистоте девства и целомудрия! Да, только два пути человека на земле благословляет Бог: или святой путь христианского брака, неразрывного союза двух сердец на всю жизнь — или же еще высший и святейший путь — путь девства, посвящения Богу и ближним себя — безраздельно, до конца, в отказе от личного счастья любви — до подаига любви к Богу и ближним. И наоборот, — погибелен путь того, кто игнорирует, презирает, упорно нарушает данные Богом законы чистоты и правды христианскои, оскверняя тело и убивая душу — ибо на нем рано или поздно исполнится страшная угроза: «Мне отмщение — Аз воздам», — говорит Господь.

ГЛАВА XVI

Пьянство и сребролюбие. Христианское бескорыстие. Отношение христианина к здоровью физическому, поведение в болезни. Отношение к смерти. Грех самоубийства

Из других «дел плоти», т. е. грехов, глубоко внедряющихся в самую природу человека, м. б. самым опасным является пьянство. Известно — насколько распространен теперь этот грех. Но пусть всякий помнит то, что беречь себя от пьянства нужно не тогда, когда у человека образовалась уже эта позорная и губительная страсть — а раньше, когда это значительно легче. Ведь никто не родился на свет Божий готовым пьяницей. А мы знаем уже — насколько легче человеку бороться с соблазнами греха тогда, когда он еще не сделался для него чрез повторение — прочною привычкою, которую так трудно преодолеть... Смолоду же и вообще — лучше не пить. У молодежи и без того много живости и кипучей энергии, и «подогревать» себя водкой в молодые годы — ни к чему. Да и пословица говорит: «Дай бесу палец — он потянет всю руку». Молодая воля еще не крепка, а соблазнов выпивки — много...

Многих губит здесь в молодые годы особого рода молодечество, своего рода спортивный задор, когда человек хочет кому-то «доказать» свою крепость и стойкость при потреблении спиртных напитков. Но, конечно, он гораздо большую стойкость и силу — настоящую нравственную силу — показал бы, если бы сумел действительно устоять — не поддаться этому злому соблазну, от которого погибло у нас так много добрых и одаренных людей. И опять-таки христианин должен всеми мерами удаляться от греховных соблазнов, и их удалять от себя, помня, что, по слову апостола, «худыя общества развращают добрые нравы».

Но есть еще один грех, который на первый взгляд не кажется столь губительным, как грехи пьяиства и разврата, но который также крайне опасен. Это — грех сребролюбия, о котором апостол говорит буквально следующее: «Корень всех зол есть сребролюбне»... Опасность этого греха, во-первых, в том, что для человека, эгоистически стяжавшего богатство, чрез это самое богатство открывается доступ ко всем другим соблазнам мира. Но и самое богатство само по себе становится для человека тем идолом, именно золотым кумиром, к которому прилепляется он всей душой и сердцем и от служения которому уже не может оторваться. Прнмер этого мы видим в Евангельском рассказе о богатом юноше, который не мог последовать за Спасителем из-за любви к своему богатству. По поводу этого случая Христос сказал: «Трудно богатому войти в царствие Божие». Так богатство ослепляет человека и делает его своим рабом. И эта опасиость грознт всякому, кто станет на путь «приобретательства», на путь искания большой и легкой наживы, и стремления к ней.

Для того, чтобы в душе человека не развивался порок сребролюбия, нужно еще в молодые годы приучать к христианскому бескорыстию. В числе всех трудов христиаииа, среди всей его работы — должно быть хоть что-нибудь, делаемое бескорыстно — по-Евангельски, именно «ради Христа». А мы видели уже ранее, что, по правде небесной, по правде Евангелия, приобретает не тот, кто сберегает свое имение для себя — но тот, кто отдает его другим в подвиге дела милосердия и помощи ближнему. И поэтому тот, кто бескорыстно служит другим в подвиге добра — не только оказывает им христианскую помощь, но и для своей души имеет чрез это огромную пользу, т. к. приобретает себе истинное сокровище — на небеси...

Само собой разумеется, что человек, по-христиански относящийся к себе самому, должен не только бороться против различных греховных соблазнов. Он должен заботиться и о своем здоровье. Не напрасно сказал апостол Павел: «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Здоровье — безусловная ценность и дар Божий, который нужно беречь. Немощное, больное тело часто препятствует человеку в его доброй деятельности и является помехой в подвиге благочестия и исполнения уставов Церкви. Напрасно поэтому некоторые полагают, что христианину не нужно лечиться, а нужно отдать себя и свое здоровье на волю Божию, не прибегая к помощи врачей. Врачи и лекарства существуют также по воле Божией, как и сказано во св. Библии: «Господь от земли создал врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Но вместе с этим, христианская точка зрения в болезнях видит результат, прямое последствие нашей греховности. Поэтому и свое лечение верующий христианин начинает,

ЗАКОНЪ БОЖIЙ

прежде всего, — с молитвы, с очищения и укрепления души молитвою и св. Таинствами. А затем уже следует врачебная помощь и лечение. В Евангелии мы видим, что Господь, прежде чем исцелить расслабленного от его болезни, исцелил его душу чрез прощение грехов. И другому расслабленному, после его исцеления, он сказал: «Вот, ты выздоровел — смотри же, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже».

Но, заботясь о своем здоровьи, смерти христианин бояться не должен. Мы уже не говорим о той смерти за Христа, за веру в Него — которая грозит христианину в эпохи гонений за веру. Такая мученическая смерть должна быть радостной и желанной для того, кто верит словам Спасителя: «Кто положит душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Но и вообще, истинные христиане на высших ступенях своей веры не только не страшились смерти, но даже желали ее. Апостол Павел, напр., прямо говорил: «Желание имею разрешиться (т. е. умереть) и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (чем оставаться на земле).

Так, близка и не страшна для христианина «христианская кончина живота нашего» — если не всегда «безболезненная», то, во всяком случае, — «непостыдная и мирная». И он готовится к такой кончине — молитвою, размышлением и принятием св. Таин. При этом отнюдь не следует думать того, что причащаться св. Таин нужно только умирающим перед наступлением смерти. Это неверно. Причащаться св. Таин должен всякий серьезно заболевший человек, ибо это св. Таинство принимается во исцеление души и тела и представляет из себя лучшее укрепляющее лекарство. Примеры этого мы видим постоянно в действительной жизни. В противоположность доброй христианской кончине, страшною и отталкивающей, является для христианина — постыдная нехристианская кончина — напр. смерть пьяницы под забором, смерть грабителя на разбое и т. д. Сюда же, без сомнения, должно быть отнесено и самоубийство. Известно, что Церковь своими канонами (т. е. правилами) лишает христианского погребения тех самоубийц, которые вполне сознательно наложили на себя руки. Факт самоубийства — полная измена самому духу христианства, нежелание нести свой жизненный крест, отказ от преданности Богу и надежды на Него. Самоубийство есть позорная смерть законченного эгоиста, думающего о себе — и не думающего о других людях и о своих обязанностях относительно их. И потому-то и лишила она несчастных самоубийц своего отпевания. Да и как отпевать самоубийцу церковным чином? Главная мысль отпевания: «упокой, Господи, душу раба Твоего — на Тя бо упование возложи...» (ибо он на Тебя возложил свое упование...). Но над самоубийцей — слова эти будут звучать неправдою, а разве Церковь может утверждать неправду?..

Продолжение в следующем номере.

Текст публикуется по изданию: Игумен Филарет. Конспект по Закону Божию. Харбин, 1936.

**Материалы «Закона Божьего» готовит
АЛЕКСЕЙ СВЕТОЗАРСКИЙ.**

Святая обитель

Достаточно однажды побывать в Пюхте, чтобы самому убедиться, что, действительно, такие места не избираемы произвольно. Широкая лесистая равнина отделяет Финский залив от Чудского озера. Посреди этой равнины — пологая гора с тремя уступами. У подножья этой горы летом и зимой струится полноводный, кристальной чистоты источник. Это — Пюхта, что по-эстонски означает «Святое место».

Одна из главных заповедей Господних — непрестанно трудиться. Этой заповеди и следуют насельницы Пюхтицкого монастыря. На правах аренды у местных советов монастырь обрабатывает семьдесят пять гектаров земли, монахини косят траву на выделяемых им лесных полянах. Монастырь имеет превосходнейшее парниковое хозяйство, пасеку, птичник, молочную ферму, лошадей, овец. Лишь в последние годы были построены: колокольня при храме преподобного Сергия Радонежского, поднявшаяся на месте разрушенной в годы войны (1988); часовня во имя Святого Георгия Победоносца (1989); церковь в честь Святого Иоанна Предтечи и Священномученика Исидора Юрьевского для совершения таинства крещения (1990). Для хозяйственных нужд и всевозможных художественных мастерских возведен обширный Иерусалимский корпус.

После утреннего богослужения монахини в зависимости от способностей и физических сил каждой расходятся на различные послушания. Все в обители делается с благословения и ведома настоятельницы игумении Варвары (в миру — Валентины Алексеевны Трофимовой). Необходимо также отметить, что Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II еще будучи епископом в самом начале шестидесятых годов спас Пюхтицкий монастырь. В годы правления Н. С. Хрущева, как известно, «неистовые безбожники» нанесли не менее сокрушительный удар по Церкви, чем в 20—30-е годы, закрыв тысячи действующих храмов и монастырей. Указание о ликвидации Пюхтицкого монастыря тоже было уже фактически утверждено. Но владыка Алексий сумел отвести эту угрозу.

Насельницы Пюхтицкой обители свято берегут традиции монашеского пения. Репертуар хора включает в себя сочинения известных церковных композиторов. Песнопения Божественной литургии и всенощного бдения исполняются киевским, знаменным, валаамским и греческим распевами. Отдельные гласы поются особым Пюхтицким напевом.

Молитва и труд соединились здесь, следуя поучению Иоанна Кронштадтского: «Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно, когда не хочется!.. Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная душа!.. Царство небесное силою берется». Святой Иоанн Кронштадтский звал народ русский к деятельному благочестию, к неустанному труду, направляему волей Бога.

Такой именно труд нашел живое воплощение в Пюхтицкой обители, в святом месте, где за три столетия до основания обители произошло знаменательное событие — явление местным жителям, крестьянам-эстонцам, Пресвятой Богородицы. В те же самые времена поблизости от места явления Пресвятой Богородицы и начал бить Святой источник...

М. ПОСПЕЛОВ

Фотоэтюды АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА



Уважаемая редакция! Огромное вам спасибо за журнал. В прошлом году случайно попал мне в руки один номер, и я выписала его на 1991 год. Жду каждый номер. Сама читаю, даю сестре и своей приятельнице.
Мне 63 года, но совершенно ничего не знаю про священные дела. Не знаю, как молиться, когда перекреститься, как вести себя в церкви. Даже когда прихожу в церковь, не знаю, к какой иконе поставить свечку. Спросить не у кого. Пожалуйста, пишите побольше в журнале о самых простых вещах. Таких, как я, очень много, я знаю по своим знакомым.
Ведь когда мы росли, был сплошной запрет. Могли бы мы узнать от своих бабушек, матерей, да было это совсем небезопасно... Только сейчас стали учить молитвы. Память не та. Но все равно хочется знать и научиться как можно большему. А мы не знаем самого элементарного.
Будьте здоровы и счастливы. Желаю вам творческих успехов в вашем благородном деле.

МИШИНА Л. М.

г. КАЗАНЬ

ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ

Наш журнал начинает публиковать номера расчётных счетов восстанавливаемых святынь Отечества. На публикацию в № 1, 1991 г. о возвращении Церкви Соловецкой обители редакция получила почту с просьбой сообщить ее расчётный счет. Все желающие помочь в восстановлении Соловков могут перевести свои денежные вспомоществования на:

**Расчётный счет № 000701702 в Агропромбанке г. Архангельска МФО 143145.
На Соловецкий мужской монастырь.**

Просим вас, уважаемые читатели, присылать нам для публикации номера счетов возрождаемых храмов и обителей. Редакция будет давать их на страницах «Слова» безвозмездно.

ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Жития святых на протяжении столетий были любимым чтением православного русского народа. В жизнеописаниях подвижников благочестия люди находили примеры воплощения высоких евангельских идеалов в реальной жизни, воспринимали духовный опыт, завещанный от предков. Жития святых, расходившиеся некогда по Руси огромными тиражами, в советские годы почти не издавались. Таким образом, в духовной культуре нашего народа, в его круге чтения образовался пробел, восполнить который стремятся сегодня епархии и обители Русской Православной Церкви, занимающиеся издательской деятельностью, некоторые светские издательства, все, кому дорог духовный опыт наших предшественников.

В 1990 году с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было предпринято переиздание жития преподобного Сергия Радонежского. Издание посвящено 600-летию со времени кончины Игумена Земли Русской.

Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой переиздано вдохновенное творение блаженного Иоанна Мосха «Луг духовный», содержащее жизнеописания древних подвижников Палестины, Сирии и Египта.

В этом году по просьбе Издательского отдела Владимирской епархии Русской Православной Церкви воспроизведено издание еще одной жемчужины православной агиографии — труд пресвитера Руфина «Жизнь пустынных отцов».

Приобрести эти труды можно в книжной лавке Троице-Сергиевой Лавры, Свято-Данилова монастыря, в монастырях и приходах Русской Православной Церкви.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

С десятого номера наш журнал начинает публиковать книгу «Диалоги», написанную протоиереем В. П. Свенцицким (1879—1931) — одним из ярких представителей русского религиозного возрождения начала XX века, принявшим священный сан в 1917 году, мужественно пронесшим крест священнослужения в смутные и трагические для Церкви двадцатые годы и исповеднически закончившим жизнь в сибирской ссылке. Книга «Диалоги» представляет собой изложение основ вероучения и этики, причем изложение это дается не в схоластической отвлеченности, но в живой полемике с наиболее острыми возражениями, которые может выдвинуть разум взыскующего веры, но отягченного атеистическими предрассудками современного человека.
Публикация книги протоиерея В. П. Свенцицкого «Диалоги» будет продолжена в нашем журнале в 1992 году.

ПУТЕШЕСТВИЯ. КНИГИ. СУДЬБЫ.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Архипелаг D.P.

Об этом поколении мы до сих пор ничего не знаем. Их трагедии и драмы замалчивались по обе стороны — и на Западе, и на Востоке. Западная пресса, казалось бы падкая на любые сенсации, и сегодня старается обходить стороной историю насильственной выдачи двух миллионов перемещенных лиц в руки властителей ГУЛАГа — согласно ялтинским соглашениям со Сталиным. Последнее белое пятно на карте русской культуры XX века — архипелаг Ди-пи, послевоенные лагеря для перемещенных лиц, разбросанные по Германии, Италии, Франции, Канаде, США. Эти лагеря обогатили русский язык такими словами, как «дипист», «дипийский» или просто «ди-пи», образованными от первых букв английского обозначения «перемещенные лица». Так англо-американцы именовали русских людей, оказавшихся в результате Второй мировой войны в странах западной Европы.

О послевоенной эмиграции у нас старались не писать вовсе, не пишут и до сих пор. Вышедшие на Западе книги — лорда Н. Бетелла «Последняя тайна», Н. Толстого «Жертвы Ялты» и другие — тоже особым вниманием журналистов и критиков не пользуются.

Пишет А. Солженицын: «Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, — именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами».

Давайте же, наконец, разорвем эту завесу взаимного молчания.

Архипелаг Ди-пи знает свои тяжелые страницы — выдачу казаков в Лиенце, самоубийства в Дахау, безысходность, ненужность, обреченность, ложные присяги, депортации, марокканские и бельгийские шахты, «березовскую болезнь» выдачи. Выходцы из архипелага Ди-пи разбросаны по всему белу свету — в Австралии, Бразилии, США, Африке, Бельгии, Германии.

У этого архипелага есть свои летописцы, художники, музыканты, писатели. Мы пока их не знаем. Нам еще почти ничего не говорят имена Бориса Ширяева, Николая Ульянова, Геннадия Андреева, Владимира Юрасова, Николая Нарокова, Бориса Башилова, Сергея Максимова, Ивана Елагина, Леонида Ржевского, Юрия Трубецкого и других. Отдельные публикации, как правило, даются без рассказа о самих писателях. Да и тематика подбирается спокойная — скажем, при публикации стихов И. Елагина «дипийские» стихи не замечаются, — или печатают ныне общеизвестное — сталинские лагеря в романах Б. Ширяева или Н. Нарокова. Даже в «Нашем современнике» при публикации «Неугасимой лампады» Бориса Ширяева ничего не сказано о самом писателе, о его службе в казачьих частях в Югославии, о его обращении в католическую веру...

Чтобы понять «дипийское» поколение — надо знать его беды, его тревоги, его поражения, его надежды. Надо знать биографии «дипийцев» советских лет. В лагерях они оказались «остарбайтерами» — подростками, насильно вывезенными в теплушках в Германию для работы на немецких заводах, военнопленными — из лагерей немецких очутившимися в лагерях американских и английских для перемещенных лиц, и солдатами из РОА и национальных батальонов, воевавшими против Советской Армии. Увы, при возвращении на родину они — оказывались «предателями и изменниками». И нет им прощения до сих пор. А выходцы из «ди-пи», оставшиеся по разным причинам на Западе, взятые в плен в бою — сотни тысяч людей, — не могут до сих пор приехать к себе на Родину. Все они числятся «изменниками», проходят по «расстрельной статье». Большинство из них не виновно. Скорее Родина виновна перед ними — пятнадцатилетними пареньками и девчушками, вывезенными на принудительные работы в Германию, безжалостно наказываемыми там за малейшую провинность, — ведь это Родина не защитила их от полона. Это наш солдат отдал свою невесту и сестру на поругание, не спас слабого. Но даже и военнопленные во всех странах, во все времена — освобождаемые от плена — удостаивались наград и почестей. Даже и те, кто виновен перед Родиной, давно понесли наказание перед Богом, наказаны жизнью на чужбине. Да и вправе ли мы требовать от тех, кто до войны изведал всю «прелесть» сталинских концлагерей, особенной любви к своим мучителям.

Посмотрите биографии писателей-«дипийцев».

Николай Ульянов — молодой, блестящий историк, арестован в 1936 году, заключение отбывал на Соловках и в Норильске. Освобожден в 1941 году. В сентябре попал в плен к немцам, бежал, прошел 600 километров по немецким тылам, выбираясь в осажденный Ленинград. Был вновь отправлен в немецкий лагерь в Германию. После войны, чтобы избежать сталинского лагеря, уезжает в Марокко, работает сварщиком...

Борис Ширяев — первый арест в 1920 году, смертный приговор заменен десятью годами на Соловках. В 1932 году освобожден и вскоре вновь арестован. После ссылки жил в Ставрополье, оказался на оккупированной территории.

Владимир Юрасов — студент Ленинградского университета. В 1937 году арестован и осужден на восемь лет лагерей. В годы войны бежал. Подделав документы, служил в Советской Армии, остался в Германии.

Сергей Максимов — молодой, талантливый литератор. Еще школьником печатался в московских журналах. Студент Литературного института. С 1936 года в лагере. Освобожден во время войны, попал в Смоленск, занятый немцами, арестован гестапо. После войны остался в Германии.

Прошли тюрьмы и лагеря Николай Нароков, Геннадий Андреев, Абдурахман Авторханов, Р. Иванов-Разумник, Борис Филиппов, Виктор Свен...

Выдержав два круга лагерей — сначала советских, потом немецких, — они отказались от круга третьего. Кто бросит в них камень?

Скорее сами они постоянно требуют от себя ответа, постоянно — думают о Родине. Пишет Иван Елагин:

Была ж Россия мамонтом,
А не прошло попреку-то —
Сожгли тебя! От сраму-то
Тебе деваться некуда!..
Как у своих-то перчено,
А у чужих-то солоно!
Как из огня теперича
Попали мы да в полымя!
Из-под кнута-то отчего
Да под дубину отчима!
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчует!
Коль две скрестились гибели,
Какое сыщешь снадобье!
Одну мы гибель выбрали,
Коль выбирать уж надобно!

Уже в 1946 году в «дипийских» лагерях стали появляться первые, отпечатанные на гектографе литературные сборники. На плохой бумаге, в малом количестве — эти сборники уже и не сыщешь. Восстанавливать первый период «дипийской» литературы критикам будет тяжело. Один из таких сборников я видел у художника Адама Васильевича Русака. Он сам его иллюстрировал, находясь в одном из крупных «дипийских» лагерей. Затем стали появляться отдельные книжки, был основан журнал «Грани», стал выходить альманах «Мосты». У истоков этих изданий стояли писатели В. Юрасов, Л. Ржевский, С. Максимов, Г. Климов, В Буэнос-Айресе «дипийцы» печатались в газете «Наша страна» и альманахе «Южный крест». Центром этого эмигрантского поколения становится издательство имени Чехова. Происходит сближение с литераторами первой эмиграции. «Дипийцы» становятся постоянными авторами двух ведущих журналов Русского Зарубежья — «Новый журнал» и «Возрождение». С другой стороны, в «Гранях» начинают печататься эмигранты — А. Ремизов, Н. Андреев.

Среди «дипийского» поколения почти не было известных писателей и художников. Можно назвать разве что

членов группы «Перевал» Родиона Акульшина (взявшего себе псевдоним Березов) и Глеба Глинку. К послевоенной эмиграции относятся и умершие в Германии в конце войны С. Аскольдов — философ, бывший член Петербургского религиозно-философского общества, известный литературный критик Р. Иванов-Разумник. Первые книжки выходили еще в России у Д. Кленовского, Б. Башилова, Н. Рутченко.

В целом, как писатели, «дипийцы» состоялись уже в эмиграции, обогащенные трагическим опытом войны и лагерей. Они — должны были состояться, обязаны были рассказать — от имени сотен тысяч оставшихся, от имени двух миллионов насильственно вывезенных в Россию. К «дипийскому» поколению литературы примыкали и одиночки, прорвавшиеся за границу с голосом правды в 20—30-е годы, такие, как Евгений Гагарин, трагически погибший в Мюнхене после войны, Василий Криворотов, братья Солоневичи, познавшие коллективизацию и сталинские концлагеря.

Очень надеюсь, что наконец-то «приглушенные голоса» не замеченных ни нами, ни Западом «дипийских» литераторов зазвучат в полный голос — и мы поймем значение русской культуры XX века уже в полном объеме.

Тем более — и писали — «дипийцы» — прежде всего, для России. Борис Башилов ждет, когда его исторические книги дойдут до русского читателя. Пишет о том же в предисловии к роману «Параллакс» Владимир Юрасов: «Как-то в Нью-Йорке я рылся в книгах небольшого букинистического магазина... Книга оказалась русская, изданная в Москве. На титульном листе стояла печать библиотеки зимовки на Новой Земле. Как, какими неведомыми путями она добралась до нью-йоркского Манхэттена — острова в устье Гудзона? Выпуская свой первый роман на русском языке в Нью-Йорке, я думаю, что, может статься, и мой «Параллакс» найдет дорогу до города моей юности Ленинграда или до города моего детства Ростова-на-Дону».

В нашей сегодняшней встрече с поколением «ди-пи» — признание их принадлежности к русской культуре, признание их необходимости. Прав оказался Иван Елагин, когда предвидел:

Не была моя жизнь неудачей,
Хоть не шел я по красным коврам,
А шагал, как шарманщик бродячий,
По чужим, незнакомым дворам...
Полетать мне по свету осколком,
Нагуляться мне по миру всласть,
Перед тем, как на русскую почву
Мне когда-нибудь звездно упасть.

Сегодня на книжной полке оказываются рядом: «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Реквием» Анны Ахматовой и — книги ужаса и скорби по погибающему народу Ивана Солоневича «Россия в концлагере», Бориса Ширяева «Неугасимая лампада», Геннадия Андреева «Соловецкие острова», Николая Нарокова «Мнимые величины», Сергея Максимова «Тайга», Владимира Юрасова «Сегежская ночь», Владимира Бондаренко «Из тьмы веков», «Возвращение корнета» Евгения Гагарина, «Князь мира сего» Григория Климова...

В этом ряду поделок типа «Детей Арбата» оказаться не могло. Художественное осмысление сталинского произвола, анализ системы палачества — все это было опубликовано русскими литераторами на Западе задолго до Солженицына, и даже переведено на все европейские языки, и... не замечено. Николай Нароков в романе «Мнимые величины» показывает мнимость власти тиранов внутри этой механической системы. Они сами — такие же жертвы, что доказал тридцать седьмой год. Не может быть добрых и злых людей в тотальной машине уничтожения. Но как выскочить из нее? Что есть «настоящее» в жизни жертв и палачей? Большевизм, как земное воплощение сатанизма? Когда все идет по прямой линии и нет ничего высшего, никаких идеалов, идеалы — для камуфляжа, для толпы, их можно менять каждый день, не меняя главного — подавления души в любом из нас, подавления любви, достоинства, чести.

Это на ранних Соловках еще можно было — ёлку устроить, как у Бориса Ширяева в «Неугасимой лампаде», к священнику обратиться.

В другом романе «Могу!» Николай Нароков продолжает ту же тему — выработки нового человека, стремящегося к власти ради власти. «Гомо советикус» — феномен советского человека — стал темой последнего романа Григория Климова «Имя мое — легион». Анализ того, как человеческое уничтожается в человеке.

Как писал критик-«дипиец» Юрий Большухин, — все «дипийские» литераторы — реалисты традиционной русской школы Толстого, Чехова и Бунина. Не случайно и то, что поддержали «дипийцев» на Западе прежде всего лидеры реалистической школы — Иван Бунин, Иван Шмелев, Борис Зайцев, Георгий Гребенщиков.

«Вы очень талантливы, — писал Ивану Елагину Иван Бунин, — часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости»... Роману молодого Сергея Максимова «Денис Бушуев» предрекали большое будущее Марк Алданов, Борис Зайцев, М. Карпович. Дал высокую оценку и скупой на похвалы Иван Бунин: «Вы несомненно талантливы. В романе Вашем много страниц интересных, своеобразных, есть лица оригинальные и хорошо изображенные, так что вполне искренно могу пожелать Вам успеха в дальнейшей художественной работе».

О «Денисе Бушуеве», вызвавшем восторг во всей эмигрантской прессе, что бывает крайне редко, очень точно высказался и Юрий Большухин: «Сергей Максимов всецело принадлежал России. Там его нынче не знают, но когда-нибудь узнают. Книги его будут читать и перечитывать, над его печальной судьбой сокрушаться... «Денис Бушуев» написан целиком в традиции русского романа».

Борис Зайцев написал предисловие к книге Михаила Корякова «Освобождение души». Башилову он же посвятил такие строчки: «У Вас свой мир, своя любовь, пишете Вы хорошо и умело, знаете, как рассказать о том, что сердцу близко, дарование несомненное и очень русское. Вы, конечно, русак насквозь, это сразу видно». Опубликовал большую статью о Борисе Башилове в сан-францисской газете Георгий Гребенщиков.

Может, потому еще западная пресса неохотно упоминала «дипийских» писателей, что все они — большие патриоты России. Их несомненная заслуга, как пишет немецкий славист профессор Вольфганг Казак, — изображение Второй мировой войны с точки зрения русского патриота, отвергающего сталинскую систему. Заканчивая свою знаменитую речь «Исторический путь России», Николай Ульянов сказал, обращаясь ко всем русским: «Вместе с Пушкиным скажем, что другой истории, кроме той, которая у нас была, — не хотим. История, родина, как отец и мать, не выбираются, не ищутся, а даются судьбой».

И потому писатели-«дипийцы» постоянно обращаются к русской истории. О Григории Шелихове, Семене Дежневе, первопечатнике Иване Федорове пишет в книгах «Юность Колумба российского» и «В моря и земли неведомые» Борис Башилов. «Живую историю России» создает Михаил Коряков, выпустил документальные книги «Невидимая Россия» и «Россия солдатская» В. Алексеев. Два романа «Атосса» — о походе персидского царя Дария в скифские степи, и «Сириус» — о кануне Октябрьской революции, а также цикл исторических рассказов «Под каменным небом» публикует Николай Ульянов, выпустил книгу «Светильники русской земли» Борис Ширяев, написал роман о дореволюционном времени «Никуда» Николай Нароков.

В этих книгах — тревога за Россию, за наши корни. Изучая прошлое, стремились понять настоящее.

Казалось, куда как далеко во времени опустился Николай Ульянов в романе «Атосса». Поход персидского царя Дария Гистаспа в Скифию. Но — Скифия понимается Ульяновым как прообраз России. Рассказывая о персах, прозаик исследовал и все последующие походы на Россию, включая Гитлера. Недаром роман был задуман в годы войны и написан сразу же после ее окончания в «дипийских» лагерях. Так же, как Гитлер или Наполеон, Дарий стремился покорить весь мир, и сокрушили его северные варвары, наши далекие предки — в степных просторах нынешнего юга России. Поэтому «Атосса» — самый современный роман, где, по сути, исследуется характер русского народа, при всей своей стихийности и неорганизованности — непобедимого. А разве не современен классический труд Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма»? Еще один писатель-«дипиец» Владимир Самарин писал о работах Н. Ульянова: «В книге «Происхождение украинского сепаратизма» материалы, нужные именно теперь, когда по страницам книг, журналов, газет растекается мутная волна русофобства, когда понятие интернационального коммунизма подменяется понятием русского империализма, когда Запад ведет политику, направленную не против коммунизма, а против исторической России, политику, грозящую катастрофой».

История русского интеллигента, прошедшего всю войну, плен и оказавшегося на Западе, — одна из главных тем «дипийской» литературы.

Здесь и ширяевские книги «Я — человек русский» и «Ди-пи в Италии», автобиографическая проза Родиона Березова, «Освобождение души» Михаила Корякова... Мы знаем ужасы не-

мецких концлагерей по книгам Константина Воробьева и Виталия Семина. Теперь рядом с ними встанут на полку такие же трагические книги Леонида Ржевского «Между двух звезд», Бориса Филиппова «Кресты и перекрестки», рассказы Виктора Свена, Владимира Бондаренко, прошедшего финский плен. К фронтовой прозе Василя Быкова и Виктора Астафьева, Дмитрия Гусарова и Юрия Бондарева мы присоединим фронтовую прозу Владимира Юрасова «Параллакс», «Берлинский кремль» Григория Климова, книгу о ленинградской блокаде Анатолия Дара «Солнце все же светит», повести Леонида Ржевского...

Это — во многом незнакомый, а то и враждебный нам мир. Мы должны знать правду всех, в том числе и правду тех, кто служил в казачьих частях П. Краснова, в бригаде Каминского, в первой дивизии РОА или во вспомогательных частях «хиви» при немецкой армии. «Против Сталина и Гитлера» — так назвал свою книгу прибалтийский немец Штрик-Штрикфельд. Куда стремились или от чего спасались военнопленные, записываясь в РОА или национальные батальоны? Может быть, самую жесткую правду мы и услышим именно от них самих. Коварство Гитлера было сродни коварству Сталина. Когда казаков послали во Францию, в Югославию, когда бригаду Каминского бросили на подавление Варшавского восстания — это уже была не борьба с большевизмом. Геннадий Андреев описывает известный случай, когда от обреченности русские стояли насмерть, отстаивая во Франции Шербур, давно покинутый немцами. За что они там сражались? За свою честь? За немцев, которых ненавидели? За Россию, которая была за тысячи километров? Русские, калмыки, татары — вязли в африканских песках вместе с частями Роммеля, сражались в горах Югославии, мерзли в норвежских фиордах.

Все было против них, этих «унтерменшей», недочеловеков, так же как все было против них и на родине, в России. Но зачем-то надо было? Что-то вело, как символ противостояния сталинской системе? И что-то заставляло уходить в зону союзников, несмотря на риск выдачи уже в послевоенный период, — Владимира Юрасова, Григория Климова, Михаила Корякова. О романе Владимира Юрасова «Параллакс» известный американский писатель Макс Истмэн сказал: «Это не только талантливый русский роман, но глубокое произведение в политическом смысле. Книга рассказывает нам языком жизненных фактов об одном из самых драматических событий современной истории: о встрече после войны советских людей, советских солдат с Западом — о встрече, полной трагедии, непонимания и надежды». В письме к В. Юрасову Иван Бунин писал: «Эмиграция для русского писателя — трагедия». Она становится трагедией вдвойне, когда и в эмиграции приходится скрываться, таиться, жить под чужой фамилией, с придуманной биографией.

Пройдя сталинские лагеря, пройдя войну, плен, им еще предстояло после войны пройти полосу враждебности, непонимания, насильственной выдачи. Характерен случай, когда американский офицер, выслушав страшные рассказы возвращаемых в Россию военнопленных о Сталине, простодушно заметил: «Если он вам не нравится, переизберите его». Беженцы со всей Европы, освобожденные от гитлеровского плена, рвались домой — во Францию, Югославию, Бельгию, Польшу. Лишь русские с непонятным для Запада ожесточением уклонялись от возвращения, а когда их загоняли в вагоны насильно — резали себе вены, бросались с теплоходов в море. По ялтинским договоренностям, освобождались только те, кто был рожден не на территории Советского Союза. Поэтому люди выдавали себя за поляков, югославов, называли местом рождения Западную Украину, Прибалтику, Турцию. Неслучайно почти все писатели-«дипийцы» взяли себе псевдонимы. Михаил Алексеевич Поморцев стал Борисом Башиловым, Николай Марченко стал Николаем Нароковым, Суражевский — Ржевским, Матвеев — Елагиным, Владимир Жабинский — Владимиром Юрасовым, Хомяков — Андреевым, Крачковский — Кленовским... Родион Акульшин, ставший в эмиграции Березовым, как и многие другие, для получения права на переезд в США изменил место рождения, спустя годы, когда выдача в Советский Союз уже не грозила, он рассказал подлинную биографию и... оказался под угрозой высылки из США за ложные показания под присягой. Этот случай долго разбирался в сенате США. Когда стало ясно, что утаивание истинной биографии во избежание насильственной репатриации в СССР характерно для большинства второй эмиграции, появилось и название — «березовская болезнь»; правительствам западных стран пришлось всерьез заняться этой проблемой. Многие западные политики считали, что, какие бы ни были мотивы, ложные показания под присягой — это преступление перед данной страной. И разоблаченные эмигранты подлежат высылке. Так был выслан из США писатель-«дипиец» Владимир Самарин. Я знаю полноправных граждан Бельгии, Германии, Франции, и сегодня тщательно скрывающих свое псковское происхождение. И нести этот крест им — до смерти. Лишнее свидетельство, что помогать русским беженцам особого желания у стран Запада никогда не было.

Весь этот послевоенный «дипийский» период врастания в западный мир — еще одна тема писателей второй эмиграции.

Пишет поэт Александр Неймирок в стихотворении «Ди-пи»:

Давным-давно он заколочен.
Давным-давно в нем ни души.
Теперь попроще, покороче:
Бараки. Визы. Барыши.
Был кол, а на коле мочало...
Сиди, смотри из года в год,
Куда, в какую Гватемалу
Идет бесплатный пароход!
А был он полон, был он светел...
Да что в том толку! Вон из глаз.
Чужой язык. Слова на ветер.
Изо дня в день. Из часа в час.

«Дипийское» уныние, одиночество, оторванность от родины, ощущение ненужности, враждебность окружающего мира — вот главные мотивы писателей-«дипийцев» первых послевоенных лет. «Дипийство» не прошло бесследно даже для таких утонченных поэтов, как Дмитрий Кленовский:

Все мы нынче, так или иначе,
Ранены стремительной судьбой.
Но пока один зовет и плачет —
Говорит, к нему склонясь, другой:
Брат! Да будет и тебе открыто:
Никакая рана не страшна,
Если бережно она обмыта,
Перевязана и прощена.

О жизни эмиграции в изгнании рассказывает в своих романах «Две строчки времени» и «Бунт подсолнечника» Леонид Ржевский. Мучительные взаимоотношения друг с другом, с непонятным для тебя, чужим по духу народом приютившей страны анализируются в рассказах Николая Нарокова «Издевательство», Николая Ульянова «Золотая книга», в автобиографических заметках Михаила Корякова и художника Сергея Голлербаха. О душевном смятении первых эмигрантских лет мы читаем в стихах Ивана Елагина:

В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплескули люди
Мира металлическую грязь.
Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет,
И глаза мы к небу не подымем,
Потому что знаем: неба нет.

Неба нет — это скорее говорит об отчаянии поэта, чем о его атеизме. Те же мотивы мы находим в стихах Владимира Маркова, Олега Ильинского, Николая Моршена. Выход из безнадежности писателям видится в любви к России, у них обостренное чувство родины, пусть томящейся под сталинским игом, но живой и неистребимой. Россия, русские — это ключ к поэзии Аглаи Шишковой, Валентины Красновой, Родиона Березова. Надо обладать сильной верой в будущее родины, чтобы писать, как Валентина Краснова:

Когда-то — да сбудется пусть —
Сердца снова счастье узнают.
И слово прекрасное — Русь —
Над Родиной вновь засияет.

Под чужим небом слово «родина» — как глоток родниковой воды. И потому, считает Р. Березов: «В тяжкой скорби не погибнет русский, если русский в дом его введет». Или в стихах Аглаи Шишковой:

Родные угадывать шепоты
И слушать, как сердце стучит,
Как брагой вскипает, бродит в нем
Горячее слово — Родина!

Есть среди писателей-«дипийцев» и плеяда блестящих публицистов, историков литературы, критиков. Среди них — Абдурахман Авторханов, Николай Рутченко, Олег Красовский, Михаил Коряков, Юрий Большухин. Известна восьмитомная «История русского масонства» Бориса Башилова, стали уже классикой такие книги, как «Технология власти» А. Авторханова и «КПСС у власти» Н. Рутченко. Специалисты и любители литературы знают филологические работы Л. Ржевского, В. Бондаренко, Ю. Иваска, Б. Филиппова. Много пишут об искусстве художники Адам Русак и Сергей Голлербах.

Читателям журнала «Слово», как и всем читателям нашей страны, предстоит еще открыть для себя огромный архипелаг Ди-пи, прочитать наиболее талантливые произведения «дипийцев», пролистать еще неизвестные страницы русской истории.

Они — часть нашей культуры, нашего народа, они — среди нас!

ВЛ. БОНДАРЕНКО

(США)



Нет, автор прекрасно понимает, что он несколько далеко заехал, выбрав для своего мелкого произведения такое заковыристое название. Тем более, что этот правдивый рассказ в основном относится к довольно недавнему прошлому; даже, если хотите знать, к тому, что произошло еще при жизни автора с одним из его близких родственников.

С другой стороны, как ни старался автор, он никак не мог придумать более подходящего заглавия. В голову все время лезли еще более запутанные выражения, вроде: «Рука помощи, протянутая через столетия» или «Благодарность древнего скифа» и тому подобная чепуха. Дело в том, что обойтись без ссылки на минувшие эпохи было никак не возможно. И пусть читатель не торопится качать головой и пожимать плечами. Пусть лучше сначала дочитает до самого конца, а потом уже скажет, зарапортовался автор или, может быть, имеет некоторое оправдание.

Началась наша история самым обыкновенным и, как бы сказать, даже банальным образом. Арестовали одного профессора археологии. Археология, конечно, — наука о древностях и к текущей политике не имеет прямого отношения, но все-таки его арестовали. Это, разумеется, в великий исторический период никого особенно не удивило. Хватали направо и налево, — почему бы не забрать и престарелого профессора, занимавшегося скифскими древностями? Обвиняли его, кажется, во вредительстве на научном фронте и во враждебной вылазке в области развития экономических отношений дофеодального общества. В общем, 58-я статья каким-то хвостиком.

Так или иначе наш профессор — назовем его Коржиковым, Николаем Алексеевичем, — 18.. года рождения, ранее не судившийся и под следствием не состоявший, попал после очередной лекции не к себе домой, а в ДПЗ, что на Шпалерной, или, по-тогдашнему, на улице Воинова, 25: дело было в Ленинграде. Впрочем, этот адрес не имеет значения. Пока длилось следствие, гражданин Коржиков успел побывать на Арсенальной, 5, в «Крестах» и на Нижегородской и в некоторых других интересных местах. По каким причинам его гоняли с места на место, сказать трудно, но, должно полагать, это помогало перегруженным работой следователям разбираться в его запутанном научном извращении. Преступного профессора то сажали в бывшую одиночку, где уже сидело пять-шесть человек, то впихивали, приоткрыв дверь, в набитую до отказа общую камеру, то заключали на несколько суток в холодный штрафной изолятор, чтобы дать возможность заблудшему труженику исторических наук на досуге обдумать всю черную глубину своих провинностей перед пролетарским государством.

Иногда, впрочем, мудрая юстиция меняла тактику и пыталась воздействовать на закоренелую душу профессора добром и нежной лаской. Следователи предлагали ему папиросы марки «Казбек» и «Северная Пальмира», бесплатно угощали сладким грузинским чаем с ломтиком лимона и даже великодушно обещали разрешить передачи с воли. В ответ на эти милости они требовали от гражданина Коржикова только одной маленькой услуги: подписать любезно составленный ими, следователями, протокол его, Коржикова, показаний. Однако профессор, погрязший в буржуазной научной методологии, не одобрял свободного полета творческого воображения и настойчиво доискивался каких-то фактов, словно в них было дело, каких-то доказательств и ссылок на проверенные источники. И категорически отказывался поставить свою подпись на предложенном ему художественном произведении. Такое неуместное упорство выводило из себя даже самых терпеливых следователей, и они возвращались к более испытанным мерам.

Приходится только удивляться, что после столь бессовестного запирательства и полного нежелания сотрудничать с властями упрямого гражданина Коржикова не приговорили к высшей мере социальной защиты или, по крайней мере, к заключению в исправительно-трудовые лагеря на весь остаток его бесполезной для социалистического общества жизни. Вместо этого невидимая, но милосердная «тройка», постановила всего-навсего выслать строптивого профессора в отдаленные местности Союза сроком на десять лет. Николая Алексеевича скова вызвали пред светлые очи очередного работника советского правосудия, прочитали ему приговор, вручили огрызок химического карандаша и предложили расписаться на соответствующем месте. На этот раз гражданин Коржиков не заставил себя упрашивать и с легким сердцем дал свой автограф.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: после приговора профессор еще месяц-другой скитался по ленинградским тюрьмам. Теперь, правда, режим был полегче: социалистическая законность не мстит, а исправляет. Провинившийся археолог был допущен даже к производительному труду, хотя и не совсем связанному с его основной специальностью. На Шпалерке он работал полотером, до блеска надраивал асфальтовые полы в камерах, а в ДПЗ на Нижегородской улице ему поручили выдергивать ржавые гвозди из гнилых досок и сколачивать фанерные ящики для неизвестной надобности. На душе у него было светло и радостно. Раз в две недели ему разрешали свидание с родными, и тогда, сквозь густую железную сетку, он мог видеть заплаканное лицо жены и хмуро улыбающиеся физиономии двух взрослых сыновей. Стали поступать и передачи от родных: карманные деньги, чистая одежда и кое-какие харчи. Все это поднимало настроение, особенно же — приятная перспектива ссылки на свободное поселение в отдаленные местности. Так что старый профессор не жаловался ни на судьбу, ни на власть, а лишь с нетерпением ждал предстоящего отъезда в неизвестном направлении.

В отечестве трудящихся осуществляются самые заветные мечты человечества. Осуществилась и мечта профессора Коржикова. В один более или менее прекрасный день в камере приоткрылась дверь, кто-то хриплым и властным голосом выкрикнул его имя, перевел дух и добавил на зависть соседям: «...с вещами». Конечно, было бы слишком много требовать, чтобы гуманные власти дали возможность профессору вне очереди повидать семью перед отъездом. Никто не уведомил его близких, что Коржикова в этот день отправят из тюрьмы для «погрузки» в арестантский вагон. Кому и когда заниматься такими мелочами? И все же серая толпа женщин, ежась от мелкого весеннего дождя, стояла в предрассветной мгле у товарного склада и провожала глазами арестованных. Близорукому профессору показалось, что там была и его жена — на душе у него стало совсем тепло.

Стучат колеса, трясутся нары, прыгают на полу окурки — специальный поезд несется по необъятным просторам страны социализма. Ехали долго. На каждом разъезде стояли часами, пропуская поезда с более важным грузом. На захолустных станциях торчали сутками, неизвестно по какой причине. И пока ехали, Коржиков из археолога превратился в антрополога и этнографа, занявшись наблюдениями над жизнью и обычаями неведомого ему дотоле племени урок, уголовных заключенных, в компании с которыми ему пришлось путешествовать.

Нравы у этого племени были крутые: в первый же день урки разграбили багаж профессора и тут же, до последней крошки, съели все его скудные запасы пищи. На другой день они затеяли шумную игру в карты. Игра почему-то называлась «бура», хотя, насколько мог понять профессор, не имела никакого отношения к борнокислому натру, применяемому в технике и медицине. Сидя в сторонке, Коржиков пытался вникнуть в правила странной игры, где каждый ход непременно сопровождался трехэтажным ругательством, и мало что понимал. Но скоро выяснилось, что игра велась не из простой любви к искусству, а на ставку: ставкой оказалось драповое пальто Коржикова, в игре участия не принимавшего. Проигравший урка деловито подскочил к профессору, сорвал с него пальто, сопроводив эту операцию легким ударом по шее, и с обворожительной улыбкой передал свою добычу новому законному владельцу.

Эти перипетии бытия не слишком огорчали Николая Алексеевича. Жизнь в условиях социализма и долгое изучение темных веков седой древности давно уже приучили его к мысли о том, что в разных типах цивилизаций понятия о праве и справедливости бывают различными и подчас крайне своеобразными. Неприятнее было то, что на следующую ночь у него вытащили бумажник со всеми деньгами, документами и фотографиями

близких. Впрочем, утром, увидев, что профессор очень расстроен, что у него трясутся руки и навертываются слезы на подслеповатые глаза, урки вдруг показали себя с другой стороны: они великодушно вернули Коржикову его бумажник. Денег там, конечно, уже не было, но все прочее осталось в полной сохранности. Только на фотографии жене подрисовали химическим карандашом длинные, как у кота, усы. Бумажник, правда, был старенький, истрепанный, еще дореволюционного происхождения, и вряд ли представлял какую-либо экономическую ценность. Тем не менее, этот акт неожиданного милосердия очень тронул старого археолога и примирил его с человечеством.

Урки больше не отнимали у профессора его ежедневный паек — кусок черного, липкого, как мокрая глина, хлеба и половину сушеной таранки. Они внимательно слушали его рассказы о Боспорском царстве и раскопках в районе Ольвии. Их не особенно интересовали исторические даты и чисто научная сторона вопроса, но некоторые детали вызывали подлинный восторг. Они раскатисто ржали, хлопали старого профессора по плечу, когда он, например, рассказал, что однажды нашел в скифском кургане золотой обруч толщиной в два пальца на скрюченном скелете какого-то неведомого, но, очевидно, могущественного вождя.

— Такого у самого Сталина нет! — воскликнул один из восхищенных слушателей.

Впечатление от рассказа было несколько испорчено, когда Коржиков добавил, что вместе с другими находками отдал золотой обруч по принадлежности — Императорскому археологическому обществу, от имени которого он производил раскопки. Тут урки решили, что старик явно заливает, и стали относиться к его рассказам с некоторым недоверием. Однако дружба от этого не пострадала, и обе стороны искренне сожалели, когда им пришлось расстаться.

Высадили Коржикова на маленьком лесном полустанке. Хмурый милицейский чин в рваных сапогах с парусиновыми голенищами принял его под расписку и повел к стоявшей неподалеку телеге. Профессор пожелал узнать, куда занесла его социалистическая судьба, но не получил ответа. Тогда возница, мальчишка лет четырнадцати, сидевший на поджатых от холода босых ногах, вдруг ни с того ни с сего вызывающим голосом запел частушку:

За Тоболом за рекой
Есть холодный водопой.
Не тако мое сердечко,
Чтоб идти наперебой!

Это дало Коржикову некоторую ориентировку.

К вечеру, проехав верст пятьдесят по узкой, пахнущей весенней хвоей дороге, профессор прибыл на место ссылки. Это была большая, разбросанная на правом высоком берегу реки деревня, о названии которой автор по некоторым соображениям предпочитает умолчать. В самой лучшей, но и больше всех запущенной избе, принадлежавшей в свое время раскулаченному эксплуататору, построившему ее собственными руками, жил теперь местный резидент НКВД. Когда Коржиков первый раз взглянул на этого представителя власти, ему показалось, что он уже где-то встречал его. Где это было? Да, конечно! Страж советского порядка и революционной законности мужественными чертами лица походил на тот реконструированный скульптурный портрет человека каменного века, первобытного неандертальца, который выставлен в одном из зал Эрмитажа. Те же выдающиеся надбровные дуги, густые волосы, начинающиеся от самой переносицы, толстые обезьяньи губы и скошенный назад подбородок. Сходство было так поразительно, что профессор инстинктивно протянул руку и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил неандерталец, не поднимая руку от стола. Он бегло перелистал «дело» Коржикова, поплевывая на толстый указательный палец, и изрек:

— Будете жить в этой деревне. Удаляться больше, чем на два километра не имеете права. Каждый второй день, кроме нерабочих, должны приходить на регистрацию. Понятно? Можете идти! Документ получите завтра. Тогда и распишетесь. Все!

— Но позвольте! — воскликнул профессор. — Что же я буду есть? У меня совсем нет денег! Где я могу остановиться? Сейчас весна, холодно. Нельзя же спать на улице. Как я вообще буду жить?

Неандерталец наморщил несуществующий лоб, отчего у него слегка зашевелились острые уши, искоса взглянул на Коржикова и сказал, расплющивая толстые губы в улыбку:

— А откуда вы взяли, гражданин профессор, что мы в этом заинтересованы?

— В чем?

— Да в том, чтобы вы жили. Какая нам от этого корысть? Сказано вам: можете идти. Ну и идите!

Коржиков вышел. Деревенская улица была пустынна. Только худая щетинистая свинья традиционно терлась о телеграфный столб и откуда-то доносился детский плач. Профессор пошел, чвакая ногами по глубокой весенней грязи. На высоком берегу реки улица обрывалась. Уже зеленела травка, но кое-где пятнами еще лежал бурый, пористый снег. Выбрав место посуше, Коржиков расстелил рваный носовой платок, сел и задумался.

Он долго сидел на этом диком берегу. Что делать? Как существовать дальше? Написать родным? Огрызок карандаша, кажется, сохранился. Но пока письмо дойдет... И у него нет денег даже на почтовую марку... Профессор неторопливо вынул из кармана бумажник, старенький верный бумажник, и вытряхнул на колени содержимое. Вот все его имущество, все, что осталось от долгих трудов и дней... Протертые на сгибах справки с печатями, такие незначительные, что они не заинтересовали даже НКВД. Фотографии родных. Карточка маленькой внучки, которую ему так и не довелось увидеть в жизни. Библиотечный билет. Плоский ключ от письменного стола.

Пришло странное, горькое желание: собрать все эти следы былой ускользнувшей жизни и бросить туда, вниз, в мутные воды весенней реки, чтобы подвести итог, чтобы остаться совсем, совсем без всего. Как это сказано? Голый человек на голой земле! Старый археолог еще раз встряхнул пустой бумажник и вдруг... Что это такое? Откуда-то из-под рваной подкладки, из самых недр, выскользнула крошечная овальная пластинка и победно блеснула на солнце. Золото? Чистое золото!

И снова прошлое стало близким и живым, таким ощутимым и реальным, так тесно связанным, сотканным в одно целое с настоящим, что нельзя было различить границы между ними. Как мог он, Николай Алексеевич Коржиков, хоть на минуту подумать, что вся прошлая жизнь оставила его, обернулась пустотой и миражем, что все минувшее зачеркнуто, начисто вытравлено из жизни, как будто его и не существовало вовсе. Нет, оно снова было рядом с ним, так близко и живо, как четверть века назад, когда он еще донашивал студенческую тужурку, копая свои дорогие курганы. Да, это было в тот самый раз, когда они нашли знаменитый золотой обруч на рассыпающемся скифском вожде. Как следил тогда Коржиков за тем, чтобы рабочие медленно и осторожно перетряхивали каждую лопату земли, чтобы ничего не пропустить, ничего не повредить, все сохранить для науки. На скифском вожде некогда была надета дорогая туника, расшитая золотыми блестками. Тысячелетия превратили в прах богатую ткань, но золото, нетленный металл, не поддается времени. Сотни маленьких золотых пластинок с микроскопическим узором лежали на земле, и достаточно было потереть их о рукав, чтобы они снова засверкали на солнце, как века тому назад.

После раскопок все находки, кости и вещи, бережно упаковали в ящики для отправки в Петербург. А одну маленькую круглую пластинку Коржиков положил в бумажник, чтобы показать дома молодой жене, делавшей вид, что тоже интересуется археологией, хотя она никак не могла понять разницы между скифом и сарматом, а о Трипольской культуре не имела ни малейшего представления. Как жалел потом Николай Алексеевич, что пластинка куда-то затерялась. Хотя, разумеется, никто не мог знать, что он не положил ее в общий ящик, он все же написал по этому поводу специальное объяснение в археологическую комиссию. Но в те темные дореволюционные времена никому не приходило в голову отдавать за это под суд или хотя бы объявить строгий выговор в приказе. Все сошло благополучно, и Коржиков основательно забыл о пропавшей пластинке. И вот — она сама нашлась, здесь, на берегу сибирской реки, клокочущей от весеннего половодья.

На этом, в сущности, наша правдивая история и заканчивается. Положение было спасено. Торгсины, правда, в то время уже были ликвидированы, но граждане социалистической страны еще не утратили вкуса к презренному металлу. За кусочек золота профессор получил немного денег и кое-какую еду. И некий одинокий старичок из туземного населения, по причине своего древнего возраста уже переставший бояться властей, пустил заблудшего археолога к себе в избушку на курьих ножках, притом даром, Христа ради. Коржиков и зажил припеваючи, получая время от времени посылки и деньги от родных. А злой гепеушник волком ходил вокруг да около, но ничего не мог поделать.

Впрочем, может быть, в конце концов он что-нибудь и придумал, но автор об этом точно ничего не знает. Случилось так, что вскоре был арестован тот родственник автора, который держал его в курсе дела, и тут уж не помогли никакие скифы. Так что новых сведений, к сожалению, больше не поступало.

Мих. КОРЯКОВ

По белу свету

Деревня, где я родился и вырос, была таежная, затерянная в предгорьях Саян. Неведомыми путями забрел туда удивительный человек, веселый, говорливый, с певучим голосом. Был он, верно, из тех «афонских туляков», которые разносили святости по темным уголкам России. Остановился возле одной избы, разложил товары: книжки, крестики, иконки. В ту пору я уже умел складывать из букв слова: научил отец, сам перенявший грамоту от ссыльного поляка. Мать моя была неграмотна, но любила, чтобы ей читали вслух. Взяв березовый туес, до краев залитый топленым маслом, она пошла со мной покупать книжки.

Выбрали две: «Громобой» и «Солдат Яшка — красная рубашка, синие ластовицы». В придачу туляк дал картинку. На картинке было темное южное небо, усыпанное звездами; в свете звезд вырисовывались горы. По скалистой тропе спускался белый осел. На осле — поклажа. Мать с Младенцем на руках. Рядом шагал с пастушеским посохом Иосиф. Картинку мать повесила над моей кроватью.

Прошли годы. Теперь из моего окна виднеются не горбатые, поросшие лесом сибирские горы, а дымящийся океан, пароходы на рейде. Над кроватью — Ренуар, а на книжной полке — Давид Лоуренс, Вильям Фолкнер, Жорж Бернанос. Другим полна жизнь... Но бывает, что тоска вдруг стиснет сердце, и в воображении проступит родная деревня, первые радости, та картинка «Бегство из Вифлеема в Египет», с которою связана память детства.

На днях подумалось: что же такое была та картинка? Изображала она не что иное, как бегство, изгнание, уход в эмиграцию! Иосиф, Мария, Иисус — то была беженская семья, по-нынешнему сказать ди-пи, перемещенные лица. «Се Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет.»

Краток рассказ евангелиста, но исследования археологов и историков позволяют восстановить подробности бегства.

От Иерусалима до Вифлеема два часа ходьбы. Времени у Иосифа и Марии было в обрез, чтобы скрыться от солдат царя Ирода. Они должны были бежать тотчас же, ночью, как только узнали об опасности. Кратчайший путь покинуть владения Ирода был путь в Египет.

Вифлеем расположен на горе. Восемьсот метров над уровнем моря. Дороги не было — только скалистые тропки, опасные в ночной тьме. Под покровом ночи они спустились в долину, но опасность не миновала: любой встречный мог оказаться шпионом, доносчиком; звук копыт вдалеке мог означать погоню.

На другой день они достигли города Газы: дальше лежали пески пустыни. В Газе сделали закупки на дорогу и, не отдыхая, продолжали путь.

Наконец, Египет, куда они прибыли, подобно нынешним ди-пи, без всяких средств, даже без визы и афидевита или контракта на работу.

Нетрудно представить, каким чужим был Египет для Марии и Иосифа. Языческая страна... Храмы, где стояли идолы... Божества, у которых тело человека, а голова коровы или птицы... Все чуждо, дико, страшно даже. Но как Мария, так и Иосиф понимали, что им положено быть тут до смерти Ирода и хранить то, что им было дано — Младенца.

Таким же ди-пи был апостол Павел. Римский гражданин; получил блестящее образование в школе знаменитого раввина Гамалиеля; тридцати пяти лет был уже членом Верховного судилища — синедриона. Но после обращения в христианство (Павел был только несколькими годами моложе Иисуса Христа) началась его изгнанническая, полная тревог и лишений жизнь.

Ди-пи в Германии — профессора, писатели, инженеры — выделывали соломенные шкатулки. Так и апостол Павел, чтобы прокормиться, занимался в изгнании всяческими ремеслами. В Коринфе он поселился в беженской семье: «И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». В Милите, беседуя с пресвитерами церкви, он говорил: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии».

По Египту, Ближнему Востоку, Средиземноморью были раскиданы беженцы, эмигранты. Кончался старый греко-римский мир, нарождался новый. Поток истории подхватывал и нес людей, и те, что были подняты на гребень волны, были предвестниками нового мира, новой цивилизации.

По-разному, одни более ярко, другие менее, все они были озарены, захвачены общим настроением освобождения от старого и ожиданием нового. Многие из них, более озаренные, подобно апостолу Павлу, казненному в 67 году в Риме, были не только в трудах, но и «безмерно в ранах, в темницах и многократно при смерти».

Тьма жизни окружала их, но они не сбивались с дороги, потому что несли в себе свет. Тяготы одолевали, враги посягали, но они выдерживали, потому что в самих себе воздвигли духовную крепость. Новый мир, которого они были предтечами, победил.

Не всегда люди с одинаковой остротой ощущают, что их несет поток истории. До 1914 года Европа жила как бы вне истории. По замечанию одного историка, англичанин викторианской эпохи напоминал праведника, изображенного на средневековой картине: праведник стоит высоко в раю и, навалившись на балюстраду, самодовольно смотрит вниз, где мучаются в аду грешники.

В удобной позиции Европа наблюдала другие — менее привилегированные — народы и другие — менее счастливые — времена. Россия была далека от такой позиции, она всегда мучилась «тоской осторожной», корчилась в судорогах «красного смеха», но и там наши отцы, наши старшие братья чувствовали под ногами твердую почву. Между тем людям моего поколения, родившимся под грохот первой мировой войны, даже кончиками пальцев не посчастливилось стать на землю. От детства всех нас несет, и треплет, и крутит на гребешках волна. Мы — в потоке, мы от рождения ди-пи, перемещенные — порой насильственно перемещаемые! — лица.

Первое воспоминание детства: мать держит меня на руках, по деревенской улице идут парни, хрипит гармошка, плачут бабы, пьяные голоса кричат песню:

Угоняют нас, братцы, в солдаты...

«Мобилизация» — едва ли не первое слово, которому мы научились в детстве. Перестали мобилизовывать на войну, начались большевистские мобилизации. Посевной фронт, хлебозаготовительный, фронт коллективизации, индустриализации...

Подросли, пошли в школу, там фронт идеологический, антирелигиозный. Влюбились, потянулись по молодости к стихам, но и там — «революционный держите шаг», «левой, левой», «не мешайте мобилизациям и маневрам».

Начинались тридцатые годы, когда мы вступили в жизнь. В России кончился восстановительный период, произошел «великий перелом», пошло «развернутое социалистическое наступление». Кремлевские правители, составив пятилетний план, начали маневрировать народом так, как директор строительства маневрирует рабочей силой, перебрасывая бригаду землекопов или плотников с одного участка на другой. Маневрировать громадными людскими массами — надо преодолеть инертность народа, оторвать его от почвы, на которой он рос веками.

Высылки... Кубанских казаков — в тайгу Нарыма и пески Туркестана. На их место — рязанских, пензенских, тамбовских мужиков. Иногда просто пригоняли на

поселение в станицу полк пехоты, бойцы которого были собраны со всех концов страны. Были переселены крымские татары, осетины, калмыки, немцы Поволжья. Не стало Восточной Пруссии, а есть Калининградская область, и населена она переселенцами.

Перегонять народ с запада на восток, с востока на запад, отрывать от вековых корней, лишать дома, — все затем, чтобы сломить сопротивление народа, превратить народ в мобильную маневренную рабочую силу.

Пространства России покрылись бараками. Приступая к постройке завода, начинали сразу с заводских корпусов, домен, цехов; рабочие жили в палатках, дощатых бараках. Завод был построен, но бараки оставались. Иной завод работал уже пятнадцать-двадцать лет, а рабочие попрежнему жили в бараках, и в заводском поселке бывало всего лишь два дома — дом ИТР и гостиница для приезжающего из Москвы начальства. Бараки у горы Магнитной, на берегах Волги и Днепра, в тайге Алтая, у Охотского моря, — жили в них мобилизованные, навербованные. Теперь бараки и землянки на целине...

У русского человека нет больше дома, а есть барак. Тридцать с лишним лет длится барачная жизнь. Парень, родившийся в 1931 в бараке, давно уже достиг совершеннолетия и, быть может, в таком же бараке обзавелся своей семьей. В России выросло поколение барачных людей, никогда не знавших настоящего дома, родного очага.

Немцы многому научились у большевиков. От них они переняли и технику массовой депортации. В годы войны в Германию были перевезены люди со всей Европы. Подобно России, Германия покрылась бараками. И после того, как в 1945 году кончилась война, перемещенные люди еще долгие годы продолжали жить в гитлеровских бараках. Когда-то была барочная эпоха, теперь — барачная. Барак — стиль нашей эпохи. Герой нашего времени — ди-пи.

Времена, переживаемые нами, во многом подобны началу христианской эры. Кончается, почти уже разломан, старый мир — в муках рождается новая цивилизация. На заре христианства люди, слыша о явлении пророка из захудалого городка Назарета, сомневались и вопрошали: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Ныне, глядя на серую обтрепанную массу ди-пи, подхваченную потоком истории и раскиданную по всему свету, не будет ли позволительно спросить: «От барачных людей может ли быть что доброе?»

В книге А. Тойнби «Цивилизация под судом» вопрос так и поставлен:

«Христианство родилось из страданий распадавшегося греко-римского мира. Возгорится ли нечто вроде такого же духовного озарения в ди-пи, которые соответствуют — в нашем мире — еврейским изгнанникам, получившим столь много откровений в их тяжком исходе через воды Вавилона? Ответ на этот вопрос, какоа бы он ни был, представляет большее значение, нежели пока неясные судьбы нашей всемирной западной цивилизации».

Принято говорить, что мы живем в «неблагодатную» эпоху. Между тем вряд ли можно сомневаться, что как раз к нашей-то эпохе и подходят слова: «Блажен, кто посетил сей мир». Мир страшен. Но и прекрасен.

Атомная энергия может вызвать гибель мира, гибель всех пяти цивилизаций, существующих ныне на земле. Но она может привести и к объединению мира: тогда из взаимовлияния и взаимодействия этих пяти цивилизаций — западной, православной, магометанской, индусской и дальневосточной — возникнет новый мир, более высокого порядка. Ди-пи, рассеянные две тысячи лет тому назад по Египту, Ближнему Востоку, Средиземноморью, были озарены откровениями христианства. Ныне ди-пи рассеяны по всем частям света — по Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии. На их лицах лежит отблеск зари, разгорающейся на далеком горизонте.

Духовное озарение возгорится, духовная крепость воздвигнется. Поток истории несет ди-пи. Ди-пи — предтечи. Ди-пи — герои нашего времени.

«СЛОВО» на ярмарке

Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Слово» — постоянный участник Московской международной книжной ярмарки. Вот и на этот раз — с 3 по 9 сентября 1991 года,— когда на территории ВДНХ СССР будет проводиться восьмая по счету ММКЯ, вы сможете ближе познакомиться с журналом «Слово» на стендах издательства «Книжная палата». Редакция «Слова» надеется, что ММКЯ поможет нашему журналу привлечь новых читателей патриотической направленностью своих публикаций, нацеленностью на содействие возрождению России, ее вековых традиций во всех областях жизни, пробуждение в нашем народе высокой нравственности и истинной духовности.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Редакционно-издательское объединение «Ветеран МП» около года назад заказало художнику издательства «Физкультура и спорт» Саукову А. Г. обложку к книге Арона Симановича «Распутин и евреи», которую мы издавали в библиотечке «Слова». При этом было высказано пожелание, чтобы обложка максимально отражала ту эпоху и соответствовала содержанию книги, в которой много места уделяется роли в обществе престола, православия и понятию чести.

Сауков представил обложку с фотографией священника с благородным лицом в соответствующем орнаменте.

На совете объединения обложка была одобрена. Никто, конечно, не посчитал заретушированную фотографию за портрет Распутина или Симановича.

Когда книга разошлась, поступил ряд звонков от читателей о явном сходстве портрета на обложке с. фотографией известного священника Николая Александровича Голубцова.

Художник Сауков пояснил, что он, действительно, использовал для коллажа фотографию не известного ему священника, которая хранилась в одном семейном архиве. Поскольку фотография показалась недостаточно качественной, он основательно подретушировал ее.

Редакционно-издательское объединение «Ветеран МП» крайне сожалеет о случившемся и приносит извинения, как родственникам Н. А. Голубцова, так и верующим, чьи чувства оказались затронутыми.

В. ФЕДОРОВСКИЙ,
председатель объединения «Ветеран МП»
10 июня 1991 г.

ЛИТЕРАТУРА

РОМАН. ПОВЕСТЬ. РАССКАЗ.

АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

Осенние песни о весне

IV

Впервые Ланин увидел Тамару в доме ее родственников, где квартировал коллега Николая Пахомова военфельдшер лейтенант Гордеев с семьей. Случилось это, кажется, весной пятьдесят третьего года, уже после разрыва Зои с Николаем. Он тогда сильно тосковал, искал забвения, и это заметил чуткий лейтенант Гордеев, пригласил к себе в гости. Пахомов без Ланина пойти не мог, они всегда ходили вместе — в кино ли, в библиотеку ли или в увольнение. Вместе пошли и к Гордеевым.

Квартировали Гордеевы в большой украинской хате, снимая там две комнатки. Тесновато для четырех человек, но люди они были неприхотливые, добрые.

Андрей Иванович Гордеев, тридцатилетний плотный мужчина, русоволосый, спокойный, встретил их, как старых приятелей. Тут же познакомил с Марией, своей женой, заметно похожей на него, только ростом пониже и с курносинкой.

Они были ровесниками-сослуживцами, встретились весной сорок второго года на Дальнем Востоке, где части Забайкальского военного округа жили в напряженном противостоянии японским вооруженным силам. Осенью сорок пятого, с разгромом Квантунской армии, это напряжение закончилось, Андрей Иванович с Марией поженились и в сорок шестом уволились из армии. Но через пять лет, вместе с кампаниями борьбы за мир, наше правительство стало укреплять армию за счет призыва необходимых офицеров из запаса. В их числе оказался и лейтенант Гордеев. Для семейного человека такая внезапная перемена жизни не очень подходила, но его желания не спрашивали.

Все это Ланин узнал от Пахомова по дороге сюда, а здесь лейтенант Гордеев, одетый по-домашнему, в тренировочном костюме, в мягких тапках, познакомив с женой, подвел к ним и своих наследников Олю и Вовку, пяти и трех лет. Потом усадил всех за стол, куда Маша поставила блюдо разварной картошки, блюдо белой квашеной капусты с подсолнечным маслом, блюдо соленых огурцов и, конечно же, поллитровку водки.

Обедали по-домашнему, Оля забралась на колени к Ланину, а Вовка к Пахомову, оба веселились, смеялись, как с родными, Вовка стал называть Николая батькой, и Маша с Андреем Ивановичем смеялись, довольные, что дети приняли их новых знакомых.

Андрей Иванович рассказал, что родом он с рязанщины, из старинного поселка Сынтул, что означает сын Тулы — по имени одного из потомков Демидова, заводчика из Тулы, который обнаружил в этих местах железную руду и поставил небольшой заводишко. Ну а рядом возник поселок, полурабочий, полукрестьянский. Мужики трудились на заводе, но не бросали и земельные наделы, содержали скот, птицу. Бабы занимались домашними делами и помогали своим мужикам — семьи у всех были большие. У Гордеевых из одиннадцати детей выжило восемь.

Андрей Иванович вспомнил, как учился в школе, каким жестоким был голод в тридцать третьем году, когда всю весну и лето не было дождей, земля потрескалась, трава до времени пожелтела и все посевы погибли. Два года спустя с продовольствием наладилось, но жили еще бедно и купить готовую одежду или обувь было трудно.

В тридцать седьмом году, после окончания семилетки, Андрей поехал в свой районный город Касимов и поступил в трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу. Ну, потом известно: призыв в Красную Армию в сороковом году, война...

Да, это было уже известно и им, молодым. Николай Пахомов вспомнил свою бедную Красную Поляну, а Ланин — совхозное отделение — малую деревню в три десятка дворов посреди голой овражистой степи, безлесной, открытой всем ветрам, всем метелям. За войну она, как и Красная Поляна, лишилась почти всех своих мужиков, а в семью Гордеевых — только в одну семью! — не вернулось четверо сыновей...

Эти воспоминания расслабили до грусти, даже дети притихли, обед нечаянно превратился в поминки, и сама собой возникла та родственная семейная близость, которая станет крепнуть с каждой встречей.

После обеда мужчины вышли во двор — Ланин покурить, а Гордеев с Пахомовым освежиться — и тут увидели двух девушек: крупную, бойкую, стреляющую большими глазами по всем троим, и застенчивую, тоже смуглую, ростом поменьше, но хорошо сложенную, стройную, тоже красивую. Андрей Иванович познакомил их. Бойкая оказалась дочерью хозяйки хаты и назвалась Галей, а застенчивая — ее двоюродной сестрой Тамарой Шелар.

Ланин почувствовал волненье, пожимая ее небольшую крепкую руку, она тоже посмотрела на него внимательней и дольше, чем следовало для первого знакомства. А потом потупилась, смуглые щеки загорелись румянцем, но она справилась со смущеньем и поглядела на него исподлобья опять — уже призывно, радостно. Впервые встретившись, они сразу узнали друг друга, но была ли это любовь или только предвестие ее, они еще не знали.

Хохотушка Галя, сверкая бедовыми очами, завлекала сдержанного Николая, а Ланин с Тамарой глядели друг на друга и молчали — уже об одном молчали, о самом главном, общем.

Качаясь на вагонной полке, старший сержант запаса Ланин вспоминал эту первую встречу с Тамарой и вновь переживал блаженное чувство безотчетной радости, которое с каждой встречей крепло, росло и наконец стало главным, определяющим всю его жизнь. Это чувство заставило его не то чтобы совсем забыть о семье, нет, семья где-то была, но была так далеко и давно, будто и не его семья, а чужая, приписанная к нему по досадному недоразумению. Он ведь третий год здесь один, рядом только Николай и Тамара, которая тоже, кажется, была всегда, о какой же семье речь!

Каждое воскресенье он, получив увольнительную, спешил к беленой хате в вишневом саду, всегда радовался, увидев тетку Полю, и волновался при каждой встрече с Тамарой. Он весь принадлежал им, он думал больше о них, переживал за Тамару.

Она была на два года моложе его, окончила среднюю школу и работала в райкоме комсомола, готовясь к поступлению на заочное отделение пединститута. Лучше бы ей

Продолжение. Начало в №№ 5—7/1991.

на очное, но стипендия там была нищенская, зарплата у матери небольшая, отца у Тамары давно не было. Он умер молодым, двадцати семи лет, во время неудачной операции язвы желудка. Значит, помощи ей ждать неоткуда и путь один — на заочное.

Ланин переживал это ее поступление как свое, болел от собственной беспомощности, от того, что служить еще до осени пятьдесят четвертого, больше года, а то он пошел бы работать и помог ей... И тут приходило воспоминание о семье. Как ты поможешь, дурачок, если тебе ехать домой? Или ты бросишь семью и останешься здесь?

Какая грубая дилемма: бросишь — не бросишь! Почему только крайности, где середина? Нет здесь середины, милый, не ищи. Это с Леной у тебя прошло по самой золотой серёдочке: здравствуйте, рад познакомиться, вы прекрасны, спасибо за дивную ночь, никогда не забуду, до свиданья, — а с Тамарой так не пройдет. Нет, не пройдет, ты знаешь.

Намучавшись в поисках выхода, он посоветовался с Николаем. Тот посочувствовал: увяз ты, брат, увяз глубоко, по самые ноздри. И другого выхода у тебя, кажется, нет: рви или здесь или там. Увидел безнадежность в лице и пожалел: не казнись, до дембеля еще целый год, авось что-то изменится, образуется.

Николай встречался с бойкой, бесшабашной Галей, водил иногда в кино, сидел с ней вечерами на лавочке в саду, но последней близости остерегался, хотя Галя и тянула его к этому. «Нельзя, — рассказывал он Ланину. — Она замуж хочет, а мне как-то не до женитьбы. Сижу с ней, а думаю о Зое.»

Еще раз вспомнил Ланин этот разговор в день возвращения домой.

День тот был суматошным, суетным. В избу матери, куда он сперва зашел, сразу, не дав ему наглядеться на сестренок, потянулись сродники и соседи, а за ними вся деревня. Чудно ведь: из армии если и возвращаются, то в города Мелекесс или Ульяновск, а этот в свою деревню притутулил! И удивительно, и радостно!

На столе появилось спиртное и самая скорая закуска, какая подавалась у Гордеевых, — огурцы, капуста, картошка, — за столом оказались все, кто пришел раньше и поместился на лавках, уже успели выпить стаканчика по два и собрались опробовать песню, как пришла жена с обоими сыновьями.

Она жила при школе на другом конце деревни, оповестили ее тут же, но надо было переодеться, собрать в гости ребятишек, да и идти с ними скорой не пойдешь, не разбежишься. Саша, правда, шустрый, а Коле всего три годика, не поспевает...

Она вела их за руки к столу, на ходу оправдывалась за опоздание, тревожно глядела в передний угол на поднявшегося Ланина, безмолвно спрашивала его о самом главном, а потом решительно вытолкнула вперед детей и встала за ними, видя и не видя его заплывшими голубыми не глазами — слезами. Ох, эти женские всесильные слезы, самое мощное и безотказное оружие, которым не владеет ни один солдат и даже офицер!

Ребятишки стояли у ее колен, вертели головами, определяя среди шумных гостей отца, наконец увидели единственную здесь гимнастерку Ланина, еще с погонами, со значками, с начищенными пуговицами, и глазенки их засветились любопытством и ожиданием.

Ланин, толкаясь, выбрался из тесного застолья, присел перед ребятишками, сгреб обеими руками обоих и поднялся с ними во весь рост. За столом одобрительно загалдели: «Вот они, три богатыря!..» «Пока ты там служил, сыновья здесь женихами стали, гордись!» Не обошли и жену: «Дождалась Александра Васильевна своего сокола, мимо дома не пролетел!»

А он про нее как-то забыл — глядел удивленно на сыновей, то на одного, то на другого, большеголовых, по-солдатски коротко стриженных, тонкошеих, потом осторожно поцеловал в пухлые щечки, бережно опустил на пол.

И тут, всхлипнув, жена припала головой к его груди, крупно задрожала в радостном плаче, освобождаясь от бесконечного ожидания, от гнетущих сомнений в этих ожиданиях, от соломенного своего вдовства солдатки хоть и мирного, но тревожного времени.

Он понял ее, погладил по голове и с удивлением и горечью увидел серебряные нити седины. Что ж, ей было уже тридцать лет, почти четыре года одна, особой уверенности, что он вернется, не было, особенно в последний год. Писать он стал реже, в письмах сделался заметно сух, обстоятельно описывал лишь жизнь своей батареи, куда его назначили года полтора назад.

Детей увела его мать, а они сели рядом за стол, выпили за встречу и, радуясь хмельному многолюдью, стали подтягивать бессмертный «Шумел камыш», прилаживались друг к другу, заново привыкали.

Он боялся ночи, близости, но к вечеру напился, и боязнь эта прошла, все получилось само собой, только и сейчас помнил он свою Тамару и любил ее, любил с таким отчаянным исступлением, что жена все поняла (а может, он проговорился, нечаянно назвав имя Тамары) и проплакала до зари.

Утром он с трудом пришел в себя, выпил кружку холодной воды и прошлепал босиком к детям. Они еще спали, лежа в одной кровати «валетом», ноги в ноги, оба в одинаковых позах — на боку, подтянув к животу ноги и подложив под щеку ладошку. Малые, беспомощные птенцы. Как их оставишь? В такое время даже птицы не бросают своего гнезда, даже птицы...

Спала и жена, забывшаяся полчаса назад, на рассвете. Лицо, и особенно губы и глаза, опухло от слез, волосы спутались на лбу и у виска, седые нити блестели в утреннем свете с какой-то жалобной тревожностью.

Родом она тоже была волжанка, но сюда приехала вместе с матерью, братом и младшей сестрой в сорок седьмом году с Севера — туда их семью сослали как кулацкую в тридцатом году. Семнадцать лет они бедовали в леспромхозовском поселке под Котласом. Там Шура окончила семилетку и педагогическое училище, там они все, кроме меньшой Нинуськи, работали полуголодными, оттуда проводила она навечно ребят-сверстников двадцать пятого года рождения, потенциальных своих женихов, туда пришла им с фронта похоронная бумага на отца, павшего смертью храбрых.

Не был он кулаком, погибший Василий Максимов, и кулацким сыном не был, но во времена раскулачиванья и дружная семья с материальным достатком вызывала у пролетарской диктатуры недоверие. И вот Василий Максимов вместе с женой своей Евдокией Михайловной валил северный лес, делал на пилораме строительный брус, заготовлял винтовочную болванку для Красной Армии. Пока не пришла война.

Через два года после войны семье погибшего спецпереселенца разрешили возвратиться в родимое село Куйбышевской области. Но там у них не осталось ни родственников, ни друзей, и прижились они здесь, в степной заволжской деревушке. Шуре разрешили работать в начальной школе, брат Валентин, младше ее на четыре года, веселый и смешливый, пошел в трактористы, Евдокия Михайловна с младшей школьницей Нинуськой домовничали. Ей не было тогда и пятидесяти, славной Евдокии Михайловне, но выглядела она как старуха.

Ланин звал ее мамашей и любил за спокойный, ровный характер, за мудрость, а еще больше за способность гасить семейные ссоры. Евдокия Михайловна, повидавшая на веку море злобы и лютой нетерпимости, каким-то чудом сохранила доброту и снисходительность к чужим недостаткам, умела многое прощать и знала цену мирного лада в семье.

Ланину было восемнадцать, когда он стал бывать у них, подружившись с веселым Валентином, а потом и с Шурой, сдержанной Александрой Васильевной, заведующей начальной школы. Клуба в деревне не было, и в зимнее время молодежь собиралась в единственной классной комнате, про-

сторной, рассчитанной сразу на четыре класса. Приходил с двухрядкой тракторист Виктор Сутулов, парты сдвигали к стенам, и начинались частушечные соревнования с пляской, потом Александра Васильевна учила ребят и девчонок танцевать «болванчик», кадриль, старинные вальсы. Ланин оказался не очень способным к танцам, и Александра Васильевна стала оставлять его «после уроков» доучиваться.

В один из таких поздних зимних вечеров, оставшись наедине в пустом классе, Ланин и выслушал горестную повесть Александры Васильевны о мытарствах их семьи, впервые поцеловал ее и назвал Шурой. Растроганная собственным рассказом и участием Ланина, она ответила ему с нежностью, и как-то сама собой родилась близость, сердечная, родственная, еще не любовь, но уже и не дружба. Сходились не они — сходились их судьбы, похожие, почти одинаковые. Ланин тоже остался без отца, трудолюбивый и сметливый дед тоже был признан кулаком и сослан со всей семьей строить угольный город Караганду, в работу впрягли тоже малым подростком, а осиротевшая отцовская семья была даже вдвое больше, чем у Максимовых. Кроме пятерых детей, на руках матери Ланина была еще парализованная бабушка, ее мать.

Как же мог ты все это забыть, старший сержант Ланин? Ты и помыслить-то не имел права о другой какой-то любви, о другой жизни вдали от этих сиротских семей, трех уже семей! Куда они без тебя?.. И безымянная твоя деревня, совхозное отделение № 4 — два порядка домов по берегам запруженного оврага, — кому эта деревня нужна, кроме ее жителей, кроме тебя?! Здесь ты вырос, здесь завел семью, породил сыновей, отсюда ушел в армию... Неужто жалеешь, что вернулся? Но ведь ты и должен был вернуться, обязан!..

Ланин сидел, полуголый, в трусах и в майке, за пустым столом, всем должен, перед всеми виноват, сидел как связанный, боясь пошевелиться, повернуть голову — она раскалывалась от вчерашней водки, от самогона и бражки, от нынешнего безвыходного положения.

Из чулана выглянула уже одетая Евдокия Михайловна, поглядела на него, вернулась и вынесла полстакана водки, накрытого половинкой соленого огурца.

«Бледный ты, сынок, как смерть. Выпей.»

«Спасибо, мамаша.»

Выпил безучастно, как в забытьи, похрустел огурцом. Малость отлегло от сердца, легче стало дышать, развиднелось в голове. А когда принял еще полстакана и немного поел, уже можно было думать, как жить дальше.

Да, надо было жить дальше. А как станешь жить, когда ежедневно видишь одну, а думаешь о другой, когда и родная твоя деревня после уютного, в вишневых садах Первомайска стала невыносимо убогой, ничтожной?! Погляди хоть на этот грязный пруд — разве сравнишь с Южным Бугом в его сказочных гранитных берегах! И поля, безлесные, овражистые, с мокрыми потемневшими ометами соломы под холодным, мрачным небом — разве это похоже на украинские светлые поля кукурузы и сахарной свеклы, где по краям встают абрикосовые лесополосы!

А порядки... На другой день Ланин сходил в контору, где проводился наряд на работы, и поразился примитивной самодеятельности управляющего и общему недовольству рабочих, их крикам: хватит нас погонять, как лошадей, пора и платить по-человечески — у нас семьи, дети!

Ничего не изменилось за долгое время его службы в армии, даже стало заметно хуже.

Последние полтора года Ланин был старшиной батареи противотанковых пушек и тяжелых минометов, имел прямое отношение к порядку и дисциплине в подразделении и не встречал своим приказаниям сопротивления, неповиновения или пререканий, хотя был мягок и снисходителен с солдатами. Правда, и особых причин для недовольства там не было. У солдата ведь не семеро по лавкам, сам он всегда сыт, обут, одет, чего же еще!

А здесь вот земляки Ланина, его однодеревенцы, вечные хлеборобы и животноводы из великой и бессмертной армии кормильцев всей страны, а не только его батареи, мантулили за нищенские копейки, матерились по-черному, глупо ссорились между собой, бабы плакали, проклиная изнурительную работу, и жили, кажется, хуже всех на свете.

Нет, никогда не думал Ланин, что возвращение его будет таким тягостным. И Октябрьские праздники, наступившие через два дня, не смягчили тяжелого впечатления. Да и какие то были праздники! На углу конторы завхоз прибил линялый красный флаг, вечером в школе собрали рабочих, где управляющий отделением прочитал вместо доклада передовицу из районной газеты, похвалил наиболее послушных и старательных и наказал всем не особенно напиваться, а то скотина останется голодной, а коровы — недоеными. Кормовозы тоже должны всегда стоять на стреме, сепараторный пункт — как обычно, и все, без кого нельзя обойтись, работают. Такая наша крестьянская доля. Вечная доля. Мы даже в проклятое царское время не могли бастовать.

Впервые Ланин с горечью понял, что особенно много пьют не от горя, не с радости, а от гнетущего однообразия беспросветной своей жизни. И ведь знают, что оно коварно, русское наше средство от всех скорбей, знал и Ланин. Будь он постарше и послабей, спился бы, наверное, но молодость хоть и бурно, но недолго переживает свои беды. И безысходность скоро проходит, потому что жизнь едва почата, ты здоров и можешь удержать свою семейную лодчонку на зыбких волнах житейского моря. Если захочешь.

Целую неделю Ланин пил с земляками, отмечая свое возвращение и 37-ю годовщину Великого Октября, потом очнулся, поглядел на себя, опухшего, в зеркало и решил поставить точку. Было это утром, тянуло опохмелиться — он удержался и велел жене истопить баню. Напарился как следует, помылся не торопясь и до вечера отпивался чаем со смородиновым вареньем. Потом написал Тамаре покаянное письмо и, не в силах сдержать боли от этого прощанья, рассказал обо всем жене.

Он рассказал о прекрасной царице Тамаре, не книжно-демонической, не лермонтовской, известной всем, а застенчивой, нежной, любящей, земной, известной только ему одному; рассказал о своей горячей любви к ней и даже о первой для Тамары и единственной для обоих близости, когда Тамара была напугана агрессивно-жадной наготой обоих, неожиданно острой болью и явным несоответствием реальных ощущений розовым мечтаниям об этой близости.

Он рассказывал, не скрывая своего горя и отчаяния, рассказывал с жестокой откровенностью и мстительностью — чтобы жена знала, помнила, что принесено в жертву ей и ее будущему семейному благополучию.

Они шли вечерней безлюдной улицей, обходя грязные лужи, оба в резиновых сапогах, в плащах, было сумрачно и холодно от промозглой, пронизывающей сырости, какая скапливается в природе накануне прихода зимы.

«Спасибо за откровенность, — сказала Александра Васильевна. — Значит, ты простился с ней навсегда и остаешься с нами?»

«Остаюсь», — сказал он.

«Что ж, и то слава Богу. Значит, дети будут с отцом.»

«Да, будут. А ты — с мужем.»

«Да, а я с мужем. Мне легче забыть неизвестную мне Тамару, я скоро забуду ее — это нужно для спокойствия детей, для мира в семье. Мы рано лишились отцов и оба знаем, какая это потеря. Ничем не заменишь. Так что спасибо тебе и за драгоценную твою жертву — никогда ты не забудешь эту свою Тамару, никогда!»

«Так уж и никогда?»

«Никогда. Знаю я тебя, виноватого...»

Утром стало подмораживать и пошел снег, обильный, тихий, шуршащий, крупными пушистыми хлопьями — явилась зима...

Летом пятьдесят шестого года ко мне заехал на пару деньков из отпуска Николай Пахомов, лейтенант. Заехал не один — с Зоей. Тогда они еще не были женаты. Зоя числилась замужем за тем ее однокурсником, от которого у нее рос мальчонка, хотя фактически брак распался. Зоя еще не была уверена, что с Николаем у нее сладится жизнь, но противостоять его чувству тоже сил не хватало. Так мне потом рассказала Александра Васильевна, та, первая жена, с которой Зоя доверительно, по-женски поделилась сомнениями. Все, мол, хорошо, тянемся друг к дружке по-прежнему, любим, кажется, одинаково, но сможет ли Николай забыть ту минутную в сущности измену, которая испортила мне жизнь, примет ли за сына чужого мальчонку. Ведь если не примет, какая это будет любовь?!

Зоя была худенькая, темноволосая, очкастенькая. Бравый лейтенант Пахомов, плечистый, спортивный, гляделся рядом с ней разудалым молодцом, ослеплял белозубой улыбкой, синие глаза сияли победно, белокурые волосы вились над большим лбом волнистым чубом. Когда они шли рядом, крупная рука Николая по-хозяйски лежала на хрупком ее плече и поддерживала за него неуверенно идущую Зою.

Квартирка у нас была тесная, и ночевали они в пустом школьном классе, на полу, куда Александра Васильевна принесла постель.

Со встречи, как водится, выпили, я вышел с Николаем во двор покурить (он тогда еще не курил, а лишь баловался за компанию) и спросил, скрывая волнение, о Тамаре: как она там, замуж еще не вышла?

«Не вышла, — сказал Николай без всякого выражения. — Мы встречаемся в общей компании, вспоминаем иногда тебя...» — И перевел разговор на другое.

Бедность нашей степной деревеньки, видимо, огорчила Николая, и он поглядывал на меня с недоумением и жалостью: что тут можно любить, ради чего стоило бросить зеленый Первомайск с любящей и любимой Тамарой? Конечно, семья, дети, больше ничем не оправдаешься ни перед собой, ни перед своей любовью.

А я и не оправдывался, это моя родная земля, зачем оправдываться, даже перед Тамарой. На мое покаянное письмо она ответила коротким прощальным письмом, ни в чем меня не обвиняя, не упрекая. Наверное, была оглушена болью от внезапного моего удара, неожиданного, незаслуженного, обидного, и писала как бы в забытьи, отрешенно. Около года спустя она прислала второе письмо, в котором настойчиво просила подтверждения моей любви и жалела, что мы только один раз были близки. Ведь если я любил ее тогда, надо было жить как мужу и жене, ведь это прекрасно, а она, дурочка, опасалась, что близость погубит любовь, ослабит ее, потому и не подпускала больше к себе. Зачем она это делала?

И по бедовому ее сожалению, по тому, что близость она считает теперь прекрасной, а тогда содрогалась при одном упоминании, я понял, что у нее кто-то есть, и близость с этим новым другом, которого она не любит так, как меня, заставила написать это жалобное письмо.

Расстроенный, печальный, как после похорон, я ответил, что не только любил, но и до сих пор люблю и, может, всегда буду любить — прости меня, моя родная. Не могу я оставить ребят, малых своих детей... И опять пришло то красивое и жалостное сравнение с птицами, которые не покидают своего гнезда, не бросают птенцов. Правда, птицы верны своему гнезду всегда, они не отвлекаются на сторону, не влюбляются и не любят без намерения завести семью, а я отвлекся, поддался внезапно нахлынувшему чувству, я полюбил и люблю до сих пор, но не могу я, Тамара... дети такие еще маленькие. А ты, Томочка, одна. Это, наверное, трудно — быть одной, прости меня, пожалуйста, но, по русской нашей пословице, одна голова не бедна, а бедна — так одна, переживает только за себя. Еще раз прости меня, но ты молода, красива и не будешь одной вечно...

«Андрей Иванович и Маша передавали тебе привет, — сказал Николай. — Велели узнать, как, мол, там наш старший сержант Ланин.»

«Спасибо. А как там они?»

«Хорошо. По-прежнему ни на что не жалуются, дружны, приветливы, детишки растут...»

«Вовка так же батькой тебя зовет?»

«Так же. Бойкий парнишка, летчиком мечтает стать.»

Разговор шел вязко, Ланин не знал ни новой, офицерской жизни Николая, ни новых его приятелей, а Николай смутно представлял его сельские заботы. И анекдоты он рассказывал другие, из офицерского быта, и песню, захмелев, он завел новую, о которой Ланин не слыхал. И пришла грустная догадка, что затянувшаяся юность, а может, и молодость — неужели и молодость? — прошла, что дороги у них разные, и эти дороги уже разводят их и скоро разведут совсем.

На другой день Ланин опять отпросился с работы, чтобы проводить Николая и Зою. Автобусная трасса на Куйбышев пролегала километрах в шести от совхозного отделения, и управляющий, в знак уважения к гостям, дал свой рессорный тарантас с лошадью и наказал не забыть с собой бутылочку, чтобы прощанье было веселым.

Они выпили дома, а потом ехали, мягко покачиваясь в плетеном кузовке полевой дорогой, среди желтой жнивы и копен неубранной еще соломы, прикладывались с Николаем к бутылке и пели о бродяге с Сахалина, о Хаз-Булате удалом и другие общие песни.

К шоссе они выбрались за несколько минут до автобуса, который уже маячил на горизонте, успели допить с Николаем водку, обнялись и крепко, истово поцеловались, чувствуя, что прощаются теперь надолго, если не навсегда. И Зою Ланин поцеловал почти так же крепко, вверяя ей Николая и мысленно заклиная любить его и беречь.

Когда автобус со скрежетом захлопнул дверные жестяные створки и, пыхнув дымом, пошел, удаляясь и делаясь все меньше и меньше, глаза Ланина заволокло слезами и он потерянно понял, что вместе с Николаем в голубом автобусе удалялась армейская его юность, удалялась теперь навечно. Он стоял на шоссе и молча оплакивал эту утрату, может, самую дорогую из всех прошлых и будущих своих утрат.

Александра Васильевна сидела в тарантасе с вожжами в руках и нетерпеливо ждала. Ей надо было поспеть к школьным урокам.

«Поедем же, — позвала она с досадой. Дождалась, пока он плюхнулся в сено рядом с ней, и тронула лошадь. Потом сказала с ноткой ревности: — А Зою ты напрасно поцеловал в губы.»

«А куда надо было?»

«Дурачок ты. Пьяный дурак.»

«Сама дура. Ничего не понимаешь, а еще учительница.»

«Может, и не понимаю, но Николай и Зоя могут разное подумать.»

«Николай — подумает? Николай знает меня наизусть и никогда ничего не подумает. И Зоя не такая дура, как тебе чудится!»

«Мне ничего не чудится и дурой я ее не считаю, а вот ты опять налакался, и пьяные твои слезы я знаю отчего!»

«Отчего?»

«Тамару свою вспомнил, вот отчего! Если уж не можешь без нее — поезжай, не держу.»

«Автобус-то ушел.»

«Придет еще один.»

«Хватит, помолчи. Обещала ведь забыть Тамару, вот и забудь.» — Ланин пьяно обнял ее, привлек к себе.

«Ладно, забуду, — смягчилась она, — но и ты постарайся забыть. Я ведь всегда чувствую, когда ты о ней думаешь. А ты часто о ней думаешь. И когда на детей глядишь, и когда со мной...»

Она хорошо его знала, Александра Васильевна, почти всегда точно угадывала, о чем он в этот момент думает, чего хочет. И она уже не боялась Тамары, — если сразу не ушел, теперь не уйдет, — она лишь досадовала, что

тоска его по Тамаре и по той армейской жизни затянулась, что глупые его воспоминания расшатывают семейный союз, что дело теперь не столько в Тамаре, сколько в том, что он, рано женившись, не успел перебеситься, пройти ту юношескую подготовительную стадию любви, с трепетными свиданьями, волненьями, поцелуями, клятвами, ссорами, разрывами, примиреньями, новыми влюбленностями, а как бы вошел в семейное состояние с черного хода — сразу получил не любовь, а супружеские обязанности, семейные оглобли, детей... Добрая, неглупая Александра Васильевна жалела Ланина и проницательно думала: он свое доберет, не может не добрать — мужик молодой, здоровый, веселый, не только молодые бабы, но и девчата на него поглядывают. И вот в этом-то теперь состоит главная опасность, надо быть бдительной и не то чтобы не пропустить момент нового его увлечения, бог с ним, от него не убудет, но чтобы его увлечения не грозили разрушить семью, обездолить детей.

Она говорила об этом Ланину со всей откровенностью, не щадя себя, он, разумеется, протестовал: не о том думаешь, мне учиться надо, у меня свои планы, и если не получится с путешествиями, серьезно примусь за другое: местные газеты уже печатают мои стихи, закончен новый рассказ, «Ульяновская правда» напечатала недавно очерк, ты знаешь...

И все же мудрая Александра Васильевна оказалась права. Работал Ланин, как всегда, много, без выходных, вечерами читал за полночь, и тем не менее как-то между делом ухитрялся отвечать иногда на женское внимание — добирал свое, отпущенное на его молодость. Конечно же, это не проходило безболезненно, жена не была терпеливой овечкой, бунтовала, и тяжелые сцены изматывали обоих, семейная лодка раскачивалась во все стороны, готовая пойти ко дну. И пошла бы, не будь рядом детей...

Именно в то время Ланина вызвали в обком партии и направили в редакцию газеты соседнего района. Тут его запрягли в такой воз, что отвлекаться он мог только на вечернюю школу, больше ни на что его не хватало. Заведующий редакционным сельхозотделом, где не было ни одного сотрудника, кроме него, он заполнял своими информациями, корреспонденциями, репортажами, фельетонами, статьями две газетные страницы. Район был из трудных, телефонная связь плохая, вместо дорог грунтовые проселки, а грунт — сыпучий песок, твердеющий только после дождей и больших морозов, — сплошное мученье, особенно для мотоциклов. А у Ланина все три с лишним года газетной работы мотоцикл был основным видом передвижения. Лишь в многоснежные зимы он пересаживался на лошадь да в половодье и в поездках к рыбакам — на моторную лодку.

Вот такое же напряжение испытывал он первые полгода службы в батарее капитана Рыжова, пока не освоился и не привык к перегрузкам. Старшинская должность оказалась не то чтобы сложнее штабной, нет, но забот здесь было неизмеримо больше, и все они разнились, безразмерные старшинские заботы, его часто переключали с одного напряжения на другое, он почти всегда недосыпал.

Служебный день старшины Ланина начинался за пятнадцать минут до общего подъема и заканчивался через час после отбоя. В батарее, кроме семидесяти солдат и сержантов, были пушки, минометы, тягачи, личное стрелковое оружие, военное и бытовое имущество.

Но главное не уставы, не техника и имущество, главное — люди, солдаты и сержанты батареи, которые восемь часов занимаются под руководством офицеров, а остальные шестнадцать находятся под хозяйским оком старшины, под твоим оком, Ланин. А твое око, внушал ему капитан Рыжов, должно быть не только командирским, но еще и отцовско-материнским. Ты обязан учитывать, что в твоей батарее служат не только русские, украинцы и белорусы, но еще и молдаване Рошу и Гинку, грузины Гагуа и Килясония, армянин Нерсесян, татарин Шарипов, мордвины Инкин и Калинкин, казах Сулейманов, чуваш Маштаков, литовец Кубилюс, узбеки Кучамов и Кушмаков, осетин Бокаев, киргиз Кожомбердиев, азербайджанец Керимов, туркмен Карабаев, мариец Конюшков.

В вечерние часы он превращался в школьного учителя русского языка для национальных братьев-однобатарейцев и лишь в выходные дни брал увольнительную на четыре-пять часов и немного расслаблялся в доме Тамары, точнее, — в садике перед ее домом.

Они сидели в обнимку на лавочке, прижавшись друг к другу, Тамара вполголоса рассказывала недельные новости райкома комсомола, где она заведовала школьным отделом и вела пропагандистскую работу, и когда он, прерывая рассказ, целовал ее, она стыдливо сердилась и оглядывалась на окна своего дома.

Часто они слушали, как где-нибудь у хаты или у реки пели хлопцы и девчата:

Край вікна любисток пророста весною,
Тягнется до сонця молоде стебло.
Зароста стежина рутою-травою,
Де мое кохання вперше розцвіло...

«Про нас?» — спрашивала Тамара.

«Про нас», — лгал Ланин. И не знал, что это не ложь, что пройдет тридцать с лишним лет, он будет слушать эту песню в далеком прикарпатском Трускавце и с грустью вспомнит вечно зеленый Первомайск, лунные те ночи, Тамару и спивающих хлопцев и дивчат, которых они зачарованно слушали.

Плаття твое із ситцю
Мені ночами сниться.
Не дозволяє мати
Мені з тобой жениться.
А я знайшов другую,
Хоч не люблю, та цілую.
Коли я ії обнімаю,
Тебе лиш одну споминаю...

«Хорошо, но грустно, — говорила Тамара. — Спой мне свою, русскую.»

Ланин обнимал ее крепче и вполголоса пел:

Здравствуй, мечта моя, здравствуй, купавушка!
Думал, уже не встретимся.
Ты же вдруг выплыла, села на камушке —
Вся улыбаешься-светишься.
Самая нежная, самая чистая,
В сердце моем ты единая!
Я тебя выдумал, я тебя выстрадал,
Песня моя лебединая!..

«А почему «выдумал»? — огорчалась Тамара. — Я ведь живая, рядом.»

«Так поют», — отвечал Ланин, не зная, что и в конце своей жизни он не забудет ни этой песни, ни того давнего разговора в обнимку.

Она всегда говорила с ним по-русски, говорила хорошо, чисто, без акцента, любила русскую литературу и много читала, но под его ласками всегда переходила на украинский: «коханый мий... соняшний... серденько...» И мягкие эти слова, светлые, нежные, переливаемые в него протяжным шепотом, звучали сердечной музыкой, задушевной песней. В такие счастливые минуты расслабленности и нежности не думалось ни о какой разлуке, забывалась далекая семья, родственники и даже близкая его батарея, которую Тамара ревниво ругала. И не только батарею, но и всю армию, службу, отнимающую у девчонок — ребят, у ребят — золотое время любви. Разве это любовь, когда на свидание дают четыре часа в неделю — не заключенные же мы, правда!? Один час у тебя уйдет на дорогу в оба конца, один час на встречу-расставанье и только два часа на то, чтобы посидеть рядом со мной. Давай я стану провожать тебя до КПП — лишние полчасика рядом побуду? Не лишние, конечно, не придирайся

к словам, все же это не мой родной язык, я не могу спокойно глядеть, как ты уходишь. Ты ведь мой, а не батареин, мой, только мой, понимаешь?!

По-настоящему поймет он это позже, когда ее потеряет, и, работая в газете, узаконит это понимание своими псевдонимами — Тамарин, Томин.

В те годы, несмотря на предельную загруженность, а может, именно из-за этой загруженности, он часто переносился в Первомайск к Николаю и Тамаре, вернее, душа его тайком улетала туда, а еще вернее — оба они были как бы рядом, и он советовался с ними при писании газетных статей, корреспонденций, фельетонов. Тамара вполне разделяла его возмущение бездарностью сельского руководства и инертностью колхозников и тоже считала, что если бы все они относились к работе с душой, наши села давно бы стали светлым коммунистическим раем. Николай усмехался на это: а почему те же бездарные и инертные становятся талантливыми и активными на своих приусадебных участках, в своих семьях? Как они ухитряются прожить на скудную зарплату и вырастить детей честными тружениками? И заметь, при этом они никогда не говорят о коммунизме, разве что иронически.

Охлажденный его трезвостью, Ланин начинал думать о несовершенстве системы, другими глазами видел первого секретаря Старо-Майнского райкома партии Казакова с металлическими сверкающими зубами, в недавнем прошлом директора треста отстающих совхозов, и председателя местного райсовета Павлович, прокуренную и вечно обсыпанную папиросным пеплом тощую комсомолку 20-х годов, седую, резкую, мужеподобную. Оба они были в районе как бы командующими, причем Казаков — главнокомандующий, а председатели колхозов и рыболовных артелей, директора совхозов и комбинатов — командирами производственных частей и подразделений.

И в газете жила военная терминология: ударный фронт, передовые позиции, битва за хлеб, пьянству — бой... А после войны прошло уже больше десяти лет. И хоть бы толк был в этой милитаризованной пропаганде — никакого толку, по инерции жили, забыв, что генералиссимуса давно нет и у державного руля стоит лысый веселый человек в мешковатом гражданском костюме.

Он безоглядно, хотя и не всегда последовательно, разрушал жизненный порядок, возведенный генералиссимусом на великой нашей земле, он еще не знал, что его послушный соратник, бровастый недавний полковник с Малой земли, готовится положить конец этим пугающим разрушениям. Впрочем, если не знал, то все же о чем-то таком, наверное, догадывался. Не мог он не догадываться, «наш дорогой Никита Сергеевич»*. Он тоже был вымуштрован генералиссимусом и ежедневно, ежечасно чувствовал сопротивление своим бунтующим действиям, сопротивление серьезное, нарастающее. Может, этим и объяснялась его непоследовательность, торопливые реформы, перестройки — хотелось быстрей разрушить окаменевшие сталинские структуры и поставить общество перед необходимостью строить новые, живые, гибкие.

Не сладил он, не смог, не успел. Бровастый полковник с Малой земли, «броненосец в потемках» оттеснил его под ликующие аплодисменты сталинцев и стал возвращать страну на прежний путь.

Новая перестройка придет через двадцать с лишним лет.

Продолжение в следующем номере.

* Так назывался документальный фильм тех лет о Н. С. Хрущеве.

НИКОЛАЙ БОБРИНСКИЙ

Дворцовая тайна

Две камер-юнгферы проворно и бесшумно двигались по комнате, елозили по полу, прибирали, терли, мыли, что-то заворачивали. Изъяснялись знаками или едва слышным шепотом. Вдруг из глубины покоя послышался слабый голос:

— Катерина Ивановна, ты уже здесь?

Шаргородская кистью руки, совсем по-бабьи, отстранила в сторону волосы, разогнула свой уже несколько дородный стан, бесшумно подплыла к высокому, огромному, великолепному ложу, полузакрытому пурпурным балдахином, отстранила складки балдахина, проговорила деловитой скороговоркой:

— Так точно, государыня, все исполнила, государыня.

— Кому отдала? — спросила Екатерина, не открывая глаз.

— И, матушка, будь спокойна, матушка, в самые руки Анны Григорьевны отдала.

Откинутое назад усталое бледное лицо, беспорядочно разбросанные волнистые пряди русых волос, неподвижность. Но вот задвигались уголки губ, проступили ямки на щеках, улыбка, хотя и усталая, придала лицу присущее ему обаяние.

— Ты умница, — тихо проговорила Екатерина.

Шаргородская осторожно задернула складки балдахина и снова занялась приборкой.

Следы превеликого беспорядка в императрицыной опочивальне исчезали с замечательной быстротой. Уборка близилась к концу. Катерина Ивановна еще что-то переставляла, а Соколова уже поместилась перед огромным зеркалом. Она распустила по плечам свои струящиеся пышные каштановые волосы и стала их расчесывать, поводя гибкою длинной шеей и бросая в зеркало те пристальные насмешливо-пленительные взгляды, силу которых она знала до конца.

Но вот из-под балдахина снова раздался голос:

— Настасья, поди сюда.

Соколова, вся упругая, с ритмическими движениями хищницы, стремительно кинулась на зов.

— Чего изволите, государыня? — проговорила она, прищурилась.

— Наклонись ко мне поближе, — сказала императрица.

Она открыла свои прекрасные голубые глаза, остановила их на длинном, чуть-чуть змеином лице пленительной камер-медхен, всмотрелась в это лицо бездонным взглядом своих магических глаз.

— Спасибо, сестрица, — прошептала Екатерина, — мы теперь вместе навсегда.

— Так, государыня-сестрица, — отвечала та.

Склонила голову и медленно отошла прочь.

Екатерина снова закрыла глаза, она лежала неподвижно, наслаждаясь отдыхом и телесным, и душевным. Нет больше этого тягостного ощущения, что страдать приходится не только ей, но и этому неведомому существу в утробе, сдавленному корсетом. Исчез навсегда этот постоянный подлый, совсем непривычный страх, что вот-вот все станет известно — и тогда конец.

Государыня освобождалась от груза сильных переживаний. Перед ее мысленным взором появлялись, толпились, а затем исчезали бесследно образы недавнего прошлого... Сколько событий позади... Вот месяц тому назад, когда Екатерина еще появлялась на придворных приемах, она сумела поговорить наедине с графом Гендриковым. Императрица напомнила ему, как он во время оно клялся ей в верности. Рассказала, что вскоре должна родить, что просит его поджечь свой дом, когда начнутся родовые схватки... Вот схватки начались вечером в Великую Субботу. Верный Шкурин, знающий все ходы и выходы, бежит и вывешивает на дворце флаг. Это условный знак для поджога дома. Вспыхивает пожар. Во дворце суматоха, император скачет гасить огонь. Но, видно, не суждено было Екатерине родить в такой великий день, ибо схватки прекратились. Итак, все хлопоты оказались тщетными и графский дом погиб понапрасну... Начались новые хлопоты. На сей раз Шкурин должен пожертвовать своим домом. Его дом близко. Решили обойтись без сигнализации. Шкурин сам успеет побежать и поджечь. Но что если схватки снова прекратятся?.. Во дворце новая камер-медхен — Соколова, тайная сестра императрицы, ибо дочь Бецкого*. Слава Богу, она заменит Шкурина. Вот сегодня поутру новые схватки. Лейб-медик Крузе, конечно, обо всем догадывается, но он умеет молчать. Все же лучше сейчас удалить его, что и удается. Между тем снова суматоха и крики о пожаре. Петр, не дождавшись кареты, вскакивает на коня и мчится на борьбу с огнем. Хватит ли времени? Шаргородская и особенно Соколова действуют превосходно. Наконец, появляется младенец. Вот его первый крик, этот крик может стать роковым и для него, и для его матери. Мгновения решают все. Уже приготовлена бобровая шуба — подарок покойной императрицы. Шаргородская кутает в шубу плачущего младенца и мчится из дворца на Луговую Морскую. Там уже давным-давно находится карета графа Гендрикова, а в ней сидит жена Шкурина, Анна Григорьевна, которая увезет младенца далеко от Петербурга... Что ожидает императрицу и ее ребенка? Роженица превозмогает тягостную слабость. С уст ее срываются отрывочные молитвы. Но недаром же сейчас Святая неделя. Вдруг изнутри какой-то ясный голос: «Богу слава, жизнь тебе!»

«Богу слава, жизнь тебе!» — повторяет императрица. На душу нашло спокойствие, а на тело — долгожданный отдых.

Между тем Шаргородская, которая неотступно сидит у окна и глядит на Дворцовую площадь, вдруг вскакивает со словами: «Батюшки мои, никак император скачет верхом! И кареты не дождался! Ох, это, наверное, рыжий шут Брессан донес: знать, он слышал крик дитяти!»

Екатерина, превозмогая слабость, мгновенно приподнялась на постели. «Катерина Ивановна, давай платье, чулки, туфли. Настасья, убирай волосы».

Через каких-нибудь пять минут Екатерина уже сидела на постели, совершенно одетая и причесанная.

Это было вовремя, ибо вскоре послышался резкий стук ботфортов и в опочивальню торопливо вбежал император. Его тощая, подвижная фигура в треуголке, в узком голштинском мундире с предлинною шпагой и в непомерно широких ботфортах чем-то напоминала изображение кота в сапогах. Сходство усугубляли угольные штрихи на лице, полученные во время пожара. Петр, как кажется, был слегка навеселе.

При появлении императора Екатерина немедленно встала во весь рост и склонилась перед ним в глубоком поклоне.

Приплясывающей походкой император подбежал к постели.

— Что это значит, сударыня? — быстро заговорил он, продолжая приплясывать, мотая головой и слегка пошатываясь. — Что здесь происходит? Какие тут у вас тайные дела?

— Мне уже не раз доводилось сообщать вашему императорскому величеству, что я больна, а болезни часто вызывают хлопоты: вот все, что здесь происходит, — проговорила Екатерина, наклоняя голову в новом поклоне.

— Больна? — протянул император, глядя на Екатерину насмешливо.

— И вы думаете, что я ничего не замечаю? Но у меня есть верные слуги!

Лицо Петра стало багроветь. Он повернулся вполоборота, посмотрел на Екатерину гордо через плечо и, выкинув руку с вытянутым указательным пальцем к самому лицу императрицы, прокричал:

— Новый дом за крепостной стеной нужен вам для ваших болезней!

— Что угодно вашему императорскому величеству? — бесстрастно ответила Екатерина, подаваясь несколько назад.

Вдруг что-то жалкое и беспомощное изобразилось на лице у Петра. Хладнокровие императрицы его обескураживало.

— Мне угодно, чтобы вы убирались к черту! — визгливо закричал Петр в совершенном бешенстве и убежал, хлопнув дверью.

Резкая бледность проступила на лице Екатерины. Губы посинели. Тем не менее, императрица твердым шагом дошла до постели. Шаргородская и Соколова мигом раздели и уложили государыню.

В это время по Невскому проспекту шибкой рысью двигалась старая запыленная карета, запряженная парой гнедых лошадей. В карете сидела Анна Григорьевна, согнувшись и бережно держа в руках новорожденного младенца. На ее миловидном лице — следы утомления. Глаза воспаленные, под ними мешки, вдоль губ легли непривычные морщины. Из-под платка, одетого наскоро, топорщатся небрежно убранные пряди русых волос.

Напротив, развалясь на лавке и откинувшись в угол, сидит капитан, а ныне цалмейстер (т. е. казначей) артиллерийского ведомства Григорий Григорьевич Орлов. Вид у него еще более помятый, плечи устало опущены, лицо небрито, взгляд беспредметно блуждающий и потерявший свое обычное обаяние. Оба плохо спали последние ночи, Орлов к тому же еще и пил, правда, пил все больше для дела, ибо неустанно привлекал к себе сообщников. Но в начале пути Орлов допустил оплошность: достал шкалик и на радостях выпил за здоровье сына, вот теперь его и мутит на неровной дороге.

— Ох и старенькая карета у нас, — сказала Анна Григорьевна, подавляя зевоту, — неужто лучшей не нашли?

Орлов подался вперед и отвечал лениво:

— На то приказ государыни, — чтобы поменьше болтали.

* Версия о том, что фактическим отцом Екатерины был Иван Иванович Бецкой (незаконный сын фельдмаршала кн. Трубецкого), впервые была высказана издателем «Русского Архива» Петром Бартеневым, который блестяще знал екатерининское царствование. Основной аргумент Бартенева тот, что секретарь Бецкого, присутствовавший при свидании Екатерины с Иваном Ивановичем, видел, как императрица целовала у Бецкого руку (что этот секретарь и передал своим потомкам). Я всецело поддерживаю версию Бартенева и принимаю ее в качестве неоспоримого исторического факта.

— А зачем в такую-то даль ехать? Не дай Бог, дитя занедужит.

— Сама разумеешь, время нынче непокойное. А туда уж никто не заглянет.

— Вот оно что.

За городом дорога пошла хуже. Колеса попадали в глубокие колеи, где насыпной песок был выбит и где обнажались связки фашинника. То дробно трясло, то глубоко укачивало. Карета скрипела в разных местах, рессорные ремни пели заунывную песню. Но несмотря на все неудобства пути, младенец спал довольно спокойно, лишь по временам жалобно постанывал, следуя ритму тряски.

— Путешественник растет, — одобрительно заметила Анна Григорьевна.

— Единому Богу ведомо, кто из него выйдет, — озабоченным тоном отозвался Орлов.

Оба замолчали.

Анна Григорьевна взглянула в страдальчески-сморщенное личико младенца и подумала: «Бедное ты дитятко. Вот ушлет император государыню в монастырь, вот отправит Григория Григорьевича в дальний полк. Так никто о тебе и не вспомнит. Голодать-холодать будешь, с мужиками жить будешь». Шкурина вдруг почувствовала щемящую жалость к этому беспомощному существу. «Не тужи, дитятко, — продолжала она рассуждать, — я тебя не оставлю. Ты будешь мне как сын». Она мысленно вспомнила о своих сыновьях и с удивлением подумала, что сейчас гораздо дальше душою от них, чем от этого чужого мальчика.

Орлов тоже размышлял о сыне, но совсем по-другому. Сначала он мрачно думал о нынешних невзгодах, об опасностях, которые окружают государыню, о неясном будущем новорожденного младенца. Но вскоре мысли его переменились. Он стал размышлять о великом деле, которым вместе с братьями так усердно занят, о том, что после появления на свет этого ребенка можно больше не ждать с выступлением, о том, что впереди все светло и прекрасно, о том наконец, что сей малыш со временем станет так же силен, как он, Орлов, и так же умен, как государыня.

Через некоторое время Орлов продолжил разговор.

— А кто же кормилицей-то будет?

— Кормилицей будет Фенюшка, жена егеря. Баба ладная и молока у ней много. Я ее загодя присмотрела. Уж второй месяц пошел, как я сюда приезжала, еще по снегу. Тогда и присмотрела.

— Ну и что ж ты людям говорить станешь?

— Да уж что-нибудь налгу: сие — ложь во спасение. А Фене с мужем месячину прибавлю. Вот и будут они рады-радешеньки.

— А кого назовешь родителями младенца?

— Это уж как указала государыня. А она повелела написать, что отца зовут Григорием, а мать Софией. Вот я и выдумаю, что у моего мужа есть брат Григорий и что у него жена София. Чай, из консистории не явятся проверять эту ложь.

— Одно нехорошо, — проговорил Орлов задумчиво, — болтовня пойдет.

— Ой нет. Здесь больно строгий дворецкий, Ермил, я сама его побаиваюсь. Он болтовню живо уймет.

Переменив лошадей на полпути, на почтовой станции, путешественники кое-как закусили и поехали снова.

Вечерело, когда после долгой езды по лесу доехали до места. Карета остановилась на краю широкого холма, занятого липовым парком. Путь к усадьбе преграждали высокие деревянные ворота со следами облупившейся коричневой краски.

Орлов, наклонившись, выскочил из кареты. Чавкая по грязи, он побежал к воротам и забарабанил в них кулаком. Ему ответил резкий отрывистый лай, потом другой тоном повыше, потом третий побасистее, потом еще один; они вступали в дело последовательно, как голоса в хоре, пока не слились в единый дикий концерт.

Где-то вдали послышались окрики на собак, кто-то неспеша подошел к воротам.

— Что за люди?

Ответила Шкурина, выступившая вперед с младенцем на руках.

— Открывай, Семен, это я, Анна Григорьевна.

— Ахти, Господи, барыня приехала.

Лязгнули засовы. Ворота со скрипом отворились. Перед путешественниками предстал белобрысый человек, похожий на чухонца. Он палкой отогнал собак.

— С чем приехали, барыня добрая?

— Да вот, младенца привезла тебе с женой на воспитание.

— Ишь ты! А чей же он будет?

— Потом объясню. Зови жену да принимай младенца.

Рядом на пороге небольшого домика появилась кругленькая полногрудая проворная молодка в платочке и чистом фартуке. Кивнув головой, Феня шустро подбежала к Анне Григорьевне, осторожно приняла младенца и бережно понесла его в дом.

— А где же Ермил? — осведомилась Шкурина, следуя за Семеном.

— А Ермил-то Корнеевич еще вчерась укатил в Хатчину, сказывал, что поехал коней покупать. Это дело долгое. Меня за старшого оставил.

Между тем отовсюду сбегалась дворня — встречать барыню.

Часа через два Орлов и Шкурина, чистые и румяные после бани, сидели в креслах в столовом покое барского дома. Напротив стоял егерь Семен.

— Так вот, Сеня, — говорила Анна Григорьевна, — теперь расскажу тебе, какие у нас дела. Есть у Василия Григорьевича брат, живет в Питере. И родился у него сын, а жена-то померла в родах, вот ведь страсти какие. В таком несчастье мы бы сироту, вестимо, взяли к себе, да тут еще беда — дом наш сгорел. Потому и порешили мы везти младенца сюда, к твоей Фене, благо, у нее тоже недавно ребенок родился. А тебе Василий Григорьевич в рассуждении сих дел особливое письмецо написал.

Тощий Семен своими водянистыми глазами внимательно посмотрел на Шкурину, неловко наискось взял письмо, развернул, отстранил от себя, наклонил голову и, высоко подняв брови, начал читать, шевеля губами и морщась от напряжения. Дойдя до слов: «Младенца же береги аки зеницу ока, в чем и страшною клятвой тебя заклинаю; а ежели, упаси Бог, какая беда с ним случится, то ты предо мною за все головой ответишь», — он опустил бумагу и широко истово перекрестился.

Потом Орлов и Анна Григорьевна наелись щей и пирогов (барского кушанья повариха еще не успела состряпать) и пошли спать в отведенные им комнаты.

Перед сном, уже в постели, Феня говорила мужу:

— Сенечка, дружок, а дите-то откелева?

— А почем я знаю, жена. О том, что говорила мне Анна Григорьевна, я тебе уже сказывал. Только чудно́, ох, чудно́, чтобы дитя в этакую даль везти. А как, значит, Василий Григорьевич сулят мне вольную, так и разуметь до́лжно, что дело тут нешуточное.

— А барыня-то, вишь ты, и детей своих бросила ради энтого дела. И ахвицер прикатил такой казистый. А надысь сама государыня великая княгиня сюда приезжала, помнишь? И как она все так-то осматривала да приглядывала...

Феня остановилась, а потом продолжала шопотом:

— Сенечка, а мабуть...

Семен быстро приподнялся на постели.

— Мабуть, мабуть! Цыц, жена. То дело господское. Ты, баба, еще батогов-то не нюхала...

Семен повернулся на бок и вскоре захрапел. Феня тоже задремала, но ненадолго. Захныкал свой пятимесячный младенец. Успокоив его, она осторожно подошла к люльке новорожденного. Тот спал крепким сном.

— Анна Григорьевна, ты здесь? Дозволь тебя проведать, — говорил на другой день Орлов, входя в комнату Шкуриной и заставая ее за шитьем. Был он гладко выбрит, одет в новый мундир, от всей его фигуры веяло жизнью, красотой и здоровьем.

Шкурина сидела на постели. Она обернулась к Орлову, слегка наклонила голову и молча поглядела на него своим ясным чуть-чуть кокетливым взглядом. Вдруг что-то спугнуло это выражение, на лице изобразился тревожный вопрос.

— Ну что, Аннушка, каково почивала? — начал Орлов, растягивая слова, направив на Шкурину пристальный, влекущий к себе взгляд и подступая к ней.

Шкурина быстро поднялась и отшатнулась от него к соседнему столу. Но Орлов подошел вплотную.

— Небось, без мужа-то холодно было, а? — добавил он, снисходительно глядя на Шкурину сверху вниз, привычным жестом положив обе руки ей на талию и медленно привлекая к себе.

В глазах Шкуриной вспыхнул гнев.

— Изволь, сударь, выйти вон отсюда, а не то я людей позову.

— Полноте, — отвечал Орлов с широкой улыбкой, — сама же себя и опозоришь. Не успела приехать и уже крик поднять хочешь.

Лицо Анны Григорьевны исказилось, как от сильной боли.

— Бога побойся, Григорий Григорьевич, грех-то какой, — прошептала она.

— Ну, грех мы с тобой как-нибудь замолим, — лениво-уверенным голосом отвечал Орлов. Он не спешил, только взгляд его постепенно становился все тверже и тяжелее.

— Постой, постой, Григорий Григорьевич, — скороговоркой проговорила Шкурина и вдруг с неожиданной гибкостью вырвалась от него. Проскользнув мимо стола, она убежала в дальний угол и рухнула на колени, протягивая руки в направлении икон.

Орлов широко раскрыл глаза от несказанного удивления. Некоторое время он глядел на Шкурину, как глядят на экзотический предмет, решительно не понимая, что она делает; слишком далеки от божественного были его мысли. Потом он понял, что Шкурина молится.

— Ну, Аннушка, тебе только в монахини, — произнес он все с тем же удивлением, а затем добавил:

— Будь покойна, молодка, я ведь не татарин.

Продолжая пристально наблюдать, как Шкурина крестится, крепко прижимая пальцы ко лбу, как она ритмично кладет земные поклоны, Орлов понял вдруг, что то, что она делает, имеет прямое отношение и к нему и к его действиям. Тогда он весь как-то обмяк телом и опустил голову.

— Помолися, чистая душа, и обо мне, греховоднике, — произнес он изменившимся, не свойственным ему глухим голосом, повернулся и быстро вышел вон. Шкурина продолжала молиться.

В тот же день Орлов с егерем уехали на охоту и вернулись только за полночь.

На второй день по прибытии было воскресенье. На обедню все население усадьбы собралось в церковь. Анна Григорьевна встала поближе к амвону и оказалась впереди всех. За нею поместилась де̇вка на побегушках. Далее стояла попадья с детьми. Потом егерь Семен, но без Фени (она осталась с младенцами). Около стены держался солдат-инвалид, живший на покое. Потом стояли повар, кухонный мужик, псарь, конюх, кузнец — все с женами и детьми; холостые косари, вдова-коровница, девка-посудомойка, крестьяне из соседней деревни.

Орлов встал поодаль и сразу опустился на колени. В его простом естестве все преобразилось. Житейские думы ушли прочь. Он ни о чем не размышлял, мало замечал, что хор пел фальшиво. С детства знакомые родные песнопения свободно текли в его душу, погружая ее в некий чистый, нереальный мир. Иногда мечты его уносились к далеким воспоминаниям о матери или направлялись к братьям, к государыне, к этому новорожденному младенцу, к великому делу, которое вот-вот должно было совершиться; но мечты эти как-то скользили поверх мира забот, не касаясь его, и неизменно возвращались к богослужению и к его мерному течению. На душе было легко. Лишь однажды вспомнилась давешняя сцена со Шкуриной, вспомнилась и немедленно исчезла из сознания, не оставив следа. Потом он почувствовал боль в коленях, но эта боль странным образом не только не нарушила, а даже усугубила общее ощущение легкости. Только перед началом причастия Григорий встал и отошел в притвор. Там он вынул пятак и опустил его в деревянный ящик, висевший у двери. Прихожане с любопытством рассматривали его высокую стройную фигуру и шушукались между собой.

После окончания службы Орлов снова уехал на охоту, а Шкурина обратилась к священнику, сказавши, что намерена поговорить с ним наедине. Отец Василий проводил Анну Григорьевну в свой домик. Усадив гостью напротив себя, батюшка опустился на лавку, сплетши руки на животе, и сказал, сильно окая:

— На кую потребу пожаловала еси, госпожа милостивая?

— Вот, батюшка, надлежит нам окрестить моего племянника.

Священник помолчал и пожевал губами, потом сказал:

— Рцы убо мне, госпожа милостивая, кая вина есть, яко родшие отрочати сего не суть зде?

Шкурина покраснела, и священник сразу заметил это.

— Дела у нас, батюшка, трудные. Мать младенца умерла в родах, отец болен, а в нашем доме случился пожар. Вот я и привезла младенца сюда.

Отец Василий повел плечами, как будто оправлял на себе фелонь. Потом стал оглаживать бороду, задумчиво глядя перед собою.

— Госпожа милостивая, глаголи ми пе́рвее, коих восприемников имаши избрати отрочати сему?

— Восприемником младенцу пожелал быть генерал-поручик Иван Бецкой, а восприемницей — камер-медхен Настасья Соколова.

Священник пристально посмотрел на Шкурину, которая с заметным усилием выдержала его взгляд.

— Госпожа милостивая, — медленно произнес священник, — разумеешь ли, коликие скорби угрожают мне, бедному нерею, в рассуждении зде реченного?

Шкурина нахмурилась. Видно было, что весь этот разговор тяжел и неприятен для нее, но что она твердо решила довести его до конца.

— Какие же скорби, отец мой? Небось, в эту глушь никто не заглянет тебя проверять. А уж я тебя за твои труды пожалую.

И Анна Григорьевна положила перед священником золотой полуимпериал.

Руки священника слегка дрогнули.

— Сущее искушение, — заметил отец Василий, качая головой.

Потом он вопросительно посмотрел на Шкурину, ожидая получить дальнейшие сведения.

— Отец младенца, — сказала Анна Григорьевна, — санкт-петербургский I гильдии купец Григорий Шкурин, мать — его законная жена София.

— В кий же день родися отроча сие? — спросил батюшка.

— Апреля месяца в 11-й день.

Священник поднялся, достал с полки святцы, полистал и проговорил с расстановкой:

— В сей день Святая Церковь празднует память священномученика Антипы, епископа Пергамского. Посему имя младенцу наречется...

— Алексий, — твердо произнесла Анна Григорьевна.

Священник приготовился возражать. Тогда Шкурина посмотрела на него в упор и заявила решительно:

— Такова воля государыни-императрицы.

Священник побледнел. Целая буря промелькнула в глазах его: сначала панический страх, потом сильнейшее любопытство, наконец, какие-то смутные догадки... Но догадки так и остались непроясненными, ибо в глазах Анны Григорьевны запечатлелась непроницаемость.

На 8-й день по рождении младенца окрестили. Батюшка священнодействовал в белой фелони, присутствовала вся дворня. Потом был торжественный обед в столовом покое барского дома. Изрядно выпив, Орлов пустился в пляс, а потом расцеловался со священником, с Семеном, с Феней, но, подойдя к Шкуриной, низко поклонился ей и поцеловал у нее руку.

На другой день Орлов ускакал верхом в Петербург.

...«Кабы я столько же заботился и об остальных своих детях, — думал Орлов по дороге в столицу, — то статься может, вымолил бы у Бога себе прощения за грехи. А кого, бишь, родила мне Пущина? Неужели опять девку?»

Через месяц после этих событий Шкурин получил через нарочного письмо от Анны Григорьевны. Письмо было написано в старинном стиле и в таких выражениях, какие Анна Григорьевна никогда в жизни не употребляла. Вот оно:

«Друг сердечный Василий Григорьевич! Здравствуй, государь мой, на много лет.

Письмецо твое я получила, за которое премного благодарна. При сем спешу сообщить, что сударь наш Алексей Григорьевич в добром здравии пребывает и кушать изволит изрядно. А теперь-то он, свет наш, и на животик стал переворачиваться. Такой все тихий, да почивает все спокойно. А как пеленают его, он ножками-то все сучит, да улыбается мне. А я, государь мой, милостию Божией, жива и здорова и отменно всем довольна, и кормилицей Фенюшкой, и егерем Семеном, и дворецким Ермилом. Сокрушаются, государь мой, о тебе, что ты все работаешь без устали, да себя не жалеешь. Не чаю, друг сердечный, когда Бог даст свидеться. А еще, государь мой, передай, пожалуй, рабское мое челобитие, а кому, и сам ты ведаешь. Да воздаст Господь оной великой персоне и здравие, и мир, и благоденствие, и во всех делах преуспеяние.

За сим, государь мой, остаюся твоя навсегда верная Анютка».

Сын императрицы

Этого человека я знала давно, со времен студенческих библиотечных бдений. Еще тогда знала, что Николай Николаевич Бобринский, много лет работающий в библиотеке Московского университета, — один из немногих графов Бобринских, оставшихся в России. Но только теперь, в случайном разговоре, услышала, что по материнской линии он правнук славянофила А. С. Хомякова и, будучи естественником по образованию, в течение многих лет изучает материалы по русской истории, проявляя особый интерес к XVIII веку, и пишет историческую повесть «Сын императрицы», посвященную Алексею Бобринскому — сыну Екатерины II и Григория Орлова.

Я обрела в лице Николая Николаевича необычайно интересного собеседника, обладающего непоказной скромностью, старинным благородством мыслей, глубиной и несуетностью суждений. О чем бы ни заходила у нас речь, постоянной стала тема об исторических путях России и смысле тяжких испытаний для ее народа, об иррациональном движении нашей истории и мистических повторах ее сюжетов.

У Бобринского корни по матери и по отцу совершенно разные. С одной стороны, прадед Хомяков — знаменитый своим учением о Церкви; с другой — Екатерина II — прародительница, которая отобрала монастырские земли и закрыла около двух третей русских монастырей.

— Алексея Степановича Хомякова, человека цельной и чистой жизни, считаю самым почтенным из моих предков, — говорит Николай Николаевич. — Но и матушка-императрица мне чрезвычайно симпатична. Она была премудрой государыней, много сделавшей для славы России. Что касается закрытия большинства монастырей (за что ее проклял неистовый митрополит Ростовский Арсений Мациевич), то действительно, таковое ее действие нанесло немалый вред российскому духовному просвещению. Воззрения же и идеи А. С. Хомякова в высшей степени мне близки. Он учил, что о народе следует судить по тем святыням, которым он поклоняется, и по тем идеалам, которые исповедует...

Я слушаю Бобринского и думаю, как жаль, что когда-то непререкаемые в нашем Отечестве нравственные и духовные ориентиры забыты, а значит утрачены многими нашими соотечественниками.

— Теперь «князь мира сего», — продолжает Николай Николаевич, — еще сильнее распространил свою власть на умы и души тех людей, которым не хватает гуманитарной культуры в том смысле, в каком понималась она нашими предками. Сплошь и рядом псевдоистина насаждается как единственно допустимое мнение, которое обязаны разделять все так называемые интеллигентные люди, хотя я убежден, что со словом «интеллигенция» у нас связана великая ложь. В переводе с латыни «интеллигент» означает «разумеющий». Но разве до появления в русском языке этого слова разумеющих людей на Руси не существовало! Имеется множество других определений этого понятия, и все они с успехом оспариваются. Во всяком случае, даровитые, недюжинные, культурные люди всегда были на Руси среди любых сословий. Но дело в том, что русская жизнь, особенно в середине XIX века, постепенно стала мутиться. Появились разночинцы — выходцы из различных сословий. Многие из них, сознательно отдалившись как от сословных, так и от национальных корней, оказались сами по себе, дошли до пренебрежения родной стихией. Однако, не имея твердой точки опоры, они судорожно принялись искать ее в отвлеченных идеях, вроде интернационализма и гуманизма, подменив первой русскую всемирную отзывчивость, а второй — христианские любовь и милосердие.

Опасность, исходящую от таких людей, одним из первых разглядел талантливейший наш писатель Алексей Константинович Толстой, который в своих произведениях многажды предостерегал нас. Увы, тщетно... Но думаю, что этих людей еще способен излечить от их нравственных недугов смиренный возврат к православным и национальным истокам.

Николай Николаевич, семью которого в самые страшные годы хранило провиденье, сумел сохранить душу живу. И я уверена: произошло это именно потому, что он, в жилах которого есть и царственная кровь, никогда не отделял себя от народа, всегда помня слова Хомякова: «И тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен множеством людей и как бы ни считал себя членом общества».

Предлагаемый читателям журнала фрагмент из повести Н. Бобринского «Сын императрицы» знакомит с событиями, которые произошли в 1762 году. Весной того года, во время царствования Петра III, в Петербурге, в Зимнем дворце, на свет появился родоначальник Бобринских — Алексей. Младенец был тотчас увезен из столицы. Описание этого эпизода и послужило началом повести. Далее следуют события осени того же года. Екатерина после коронации, совершавшейся в Москве, задержалась в первопрестольной. Тогда же опасно заболел цесаревич Павел и встал вопрос о престолонаследии. Правда, герой повести Алексей Григорьевич Бобринский в публикуемых здесь отрывках еще не появляется. Обращаясь к истории жизни своего предка, автор повести хотел рассказать о человеке, который мог стать всем, но который может быть назван неудачником. Однако любая судьба — и счастливая, и несчастная — всегда таит в себе загадку...

Лидия МЕШКОВА,
кандидат филологических наук



Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА

ИВАН ЗЮЗЮКИН

Смеяться всем назло...

Когда есть повод, люблю посмеяться всласть, от души. И, каюсь, не проходит у меня эта любовь и сегодня, когда вроде бы не до смеха. Но именно сегодня, в пору тотального дефицита, всеобщего озлобления и петушино-митинговых драчек, нам, пожалуй, как никогда, надо сохранять чувство юмора. Ибо, как сказал один мудрец, мир не погиб, потому что смеялся...

Из многих видов веселья я всегда выбираю дурачество. Иными словами, валяю ваньку. (И можно ли, называясь Иваном да еще Ивановичем, вести себя по-другому?) Правда, такой образ веселья имеет свои издержки. Некоторые люди, послушав и поглядев на меня минуту-другую, выразительно стучат кулаком по лбу. (Спешу заметить: не по моему!) Но, бывает, я получаю и признание. Это когда в кругу веселящихся нарываюсь на себе подобного. Тут уж мы морочим людей вдвоем! И, понятное дело, сами часто оказываемся в дураках. Ведь умение валять дурака — вторая профессия почти каждого русского...

К сожалению, не всегда удается повеселиться на миру. В таких случаях дурачусь с самим собой на бумаге. И что же тогда выходит из-под моего пера? Я считаю: мысли! Точнее говоря, дурашливые мысли. Или, как я сам их отечески ласково называю, — ДУРАШКИ...

ЗЮЗЮКИН ИВАН ИВАНОВИЧ. Родился в 1932 году на Волге. Вырос на Дальнем Востоке. Учился на Урале. Профессию писателя осваивал в Москве, где и живет в настоящее время. Первые его книги написаны в жанре художественного очерка. Это — «Мост через речку детства», «Узнаю человека», «Люди, я расту» и др. Его перу принадлежит несколько сценариев для кино и телевидения. В последние годы он работает как прозаик. Его романы, повести и рассказы выходили на страницах литературно-художественных журналов, а также отдельными книгами в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Детская литература»... В нашем журнале Иван Зюзюкин выступает в новом для себя жанре юмористики.

Стоило ли копья ломать?

Сколько веков идет спор, есть ли у человека шестое чувство. И это меня, откровенно говоря, удивляет. Неужели кому-то еще не ясно, что шестым является чувство юмора?..

Безумство храбрых?

Один мой приятель — жуткий сердцеед. И что же? Несмотря на все строжайшие предупреждения доброжелателей, женщины прямо-таки очертя голову бегут на свидание с ним!..

Пролил свет на историю...

Два ученых историка долго и горячо спорили в моем присутствии, какое значение для древней Руси имел «путь из варяг в греки». «Это ясно как Божий день! — вклинивал я ученым мужам. — Пройдя весь путь от начала до конца, варяги становились греками и — наоборот. А славяне тем временем сохраняли свою национальную самобытность...»

Заинтересованный разговор

Когда моему керри-блю-терьеру пришло время сделать прививку, я привел его к врачу-кооператору. Осматривая песика, он несколько раз и не без нежности в голосе упомянул о своей таксе.

— А какая она у вас? — с интересом, как собачник собачника, спросил я.

— Пятьдесят рублей, — тепло улыбнувшись, ответил он.

Склероз

Стыдно признаваться, но это так: я помню не все, что было не со мной.

Задача не из простых!

За что бы я вряд ли взялся — это подсчитать, сколько всего капель дождя упало на землю со дня ее творения. Согласитесь, для этого надо иметь большое терпение!..

О, женщины...

У моей жены довольно своеобразный характер: она радуется, когда я дарю ей цветы...

Для отечественных иностранцев

На уличном перекрестке, где, несмотря на множество всяких знаков, по вине водителей-лихачей и беспечных пешеходов происходило много аварий, повесили еще один знак — «Stop». «Это для тех, кто уже и русского языка не понимает», — так я объяснил самому себе появление нового знака.

Рекорд рождаемости

Знакомые люди, муж и жена, выиграли в лотерею автомобиль. В тот же день у супругов появились дети, которых у них не было много лет. А на следующий день один за другим пошли уже внуки!..

Гарантия

Вы не хотите с кем-то встречаться? Что ж, займите этому человеку крупную сумму...

Боясь быть назойливым...

Если в кафе или ресторане официант упорно не подходит к моему столу, я подзываю его и виноватым голосом спрашиваю: «Вы не обидитесь, если я попрошу вас обслужить меня?»...

Панацея

Страдаете бессонницей?... А вы не страдайте. И у вас не будет бессонницы...

Время — деньги!

В нашем доме проживает до удивления рачительный человек. Он целого дня не пожалеет, но сдаст-таки бутылку из-под вина...

Поверхностная критика

Один литературный критик не нашел ничего лучшего, как заявить в своей статье, что я не умею писать. При встрече он, довольно потирая руки, спросил: «Как я тебя... Читал?» «В том и дело, что нет, — с грустью ответил я ему. — Ты ведь главного про меня не знаешь: я и читать не умею...»

Барином смолоду не был...

В студенческие годы перед тем, как сойти на нужной мне остановке, я, бывало, строгим голосом говорил водителю трамвая: «Меня не ждите. Поезжайте дальше». И трудно передать, как мне за это были благодарны пассажиры!..

Ради того, чтобы стать Мастером

Писатель Г., книги которого читают в основном редакторы и корректоры, оставил свою семью и женился на другой женщине. По его словам, он не мог поступить иначе. И не в том дело, заверяет он всех, что новая пассия намного моложе первой его жены, что у нее есть дача в Переделкино и новый «мерседес», а только в том, что зовут ее — Маргарита!..

Из наблюдений

Однажды меня осенило: ведь снег, в конечном счете, — это зимний дождь, а дождь, в свою очередь, можно называть летним снегом...

Дочь своего отца

Моей дочери давно пора было идти в школу. А она все нежилась в постели. «Зачем вставать утром, — вслух недоумевала она, — если вечером опять надо ложиться?»...

Серьезное опасение

Пословица насчет того, что цыплят по осени считают — одна из самых расхожих. И я чего опасаюсь? Кто-то из работников агропрома может истолковать ее буквально и примется считать цыплят по осени, не заведя их ни весной, ни летом...

Один против всех

«Он, конечно, не Лев Толстой!» — заявил я на одном литературном семинаре. Какой сразу поднялся шум! А что я такого сказал?! Семинар был посвящен Достоевскому...

Все гениальное — просто

Знаменитая Пизанская башня медленно, но падает. И не счесть проектов ее спасения! Правда, все они сложны и дорогостоящи. Внесу-ка и я свой вклад в спасение чуда архитектуры. Надо как следует крутануть земной шар в сторону, обратную той, куда башня кренится, и тогда она, по моим прикидкам, мигом выправится.

Ажиотажный спрос

Пронесся слух, будто проезд в электричке подорожает. Ну и, как бывает в таких случаях, люди стали про запас скупать электропоезда, началась торговля из-под полы вокзалами, железнодорожными платформами...

Моя вторая профессия

Люблю первым сообщать людям приятные для них новости. На днях, к примеру, радуясь за товарища, сказал ему: «Заметил, старина? Тебе вставили золотые зубы...»

Что не поделили?..

Веками что-то доказывают друг другу «физики» и «лирики». А зачем? Ведь среди тех и других встречаются неплохие люди...

Мы — на словах и на деле

Люди частенько говорят: «Собака — друг человека». Рассуждая логически, и человек — друг собаки. Но слышали вы хоть раз, чтобы кто-то из нас, кивнув на пробегающего мимо бездомного пса, с гордостью сказал: «Это, между прочим, бежит мой друг...»?

Рацпредложение

Чтобы раз и навсегда покончить с нехваткой сахара, надо его сделать нерастворимым.

Чем черт не шутит...

Перед отлетом нашей туристической группы во Францию лектор «Интуриста», не щадя себя, снабжал нас сведениями об этой стране. Кажется, пошел уже четвертый час, когда он предупредил нас, что население Парижа по каким-то причинам стремительно убывает. Тут у меня сдали нервы! «Скажите, — спросил я лектора, — а не случится так, что мы прилетим в уже пустой город?!»

Иногда полезно слушаться!

Сомневаюсь, что нам надо отказываться буквально от всех административно-командных методов руководства. Предположим, вам о ком-то скажут: «Он приказал долго жить!» Что же? Вы сами не подчинитесь и других к тому же призовете?..

Жду разъяснений

Выражая свое отношение к моим мыслям и открытиям, иные люди с раздражением бормочут: «Слышали уже... Волга впадает в Каспийское море...» Но я, признаться, не пойму, что же их не устраивает? Может, они хотят, чтобы Волга впадала в другое море? А может, — чтобы она вообще никуда не впадала?..

«Кто красивей всех на свете?..»

Ныне в прессе, очередях, электричках, больничных палатах и даже в начальных классах школ люди до умопомрачения спорят, кто лучше — левые или правые, консерваторы или радикалы, социалисты или анархисты... Скажу по секрету всему свету: лучше всего быть молодым, здоровеньким и умным...

Напрасные старания

Допустим, вам удалось всех убедить, что у вас произошло раздвоение личности. Ну и что? Зарплата останется той же самой. И столь же бесполезно рассчитывать на расширение жилплощади...

Гримаса бытия

Шел по улице и прочитал вывешенное на столбе объявление: «Продаеца пеонино». Ну вот, опечалился я, еще один интеллигент попал в трудное материальное положение...

Открытие через года

Евгений Андреевич Гагарин родился 12 февраля 1905 г. на севере России — в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Отец его был управляющим большим казенным лесным имением. Близость к природе, особенно к лесу, дикие, нетронутые человеком лесные чащи, мягкая хвоя под ногами, перекликающиеся в вершинах птицы, — все это оставило неизгладимый след в душе мальчика. Лучшие страницы его увлекательной книги «В поисках России», вышедшей пока только по-немецки, полны этих отзвуков. Они живут и в описаниях зимнего ландшафта, замечательных по тонкости оттенков и насыщенности красок, в первых главах «Корнета» и в «Поездке на святки». Евгений Гагарин развился постепенно в крупного художника слова. Его стиль достигает временами большого мастерства и огромного очарования, но всё это тесно связано с воспоминаниями его детства и ранней юности, с той величественной, хотя и суровой природой, среди которой он рос. Это — один из вдохновляющих истоков его творчества, один из самых основных питающих его корней.

10—11-летним мальчиком Гагарин поступил в гимназию и жил в Архангельске, лишь на Рождественские святки и на летние каникулы приезжая к родителям в деревню. Он окончил гимназию уже при большевиках и поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Но в университете он проучился всего один год и должен был в середине 20-х годов вернуться на север России к матери, так как отец его к тому времени умер, и ему пришлось работать (по лесному делу), чтобы кормить мать и младшую сестру. Жил он в Архангельске, но много ездил, в связи со своей службой, по всему северу России. Во время своих поездок он мог близко познакомиться со многими сторонами советской жизни: с бездушной бюрократической машиной, с умиранием, или, вернее, систематическим уничтожением деревни (бывшей до большевиков такой зажиточной, своеобразно самостоятельной и самобытной в Северном крае), с варварским уничтожением большевиками лесных сокровищ России, с рабским трудом. Особенно поразил его вид несчастных раскулаченных сотен тысяч русских крестьян, насильственно вырванных из насиженных мест и перевезенных на север.

Потрясающие картины приезда раскулаченных в Архангельск, размещение их по местным церквам, на скорую руку превращенным большевиками в тюрьмы-казармы, — занимают центральное место в другой книге Гагарина «Великий обман» — лучшей, может быть, книге, написанной о большевизме, вышедшей, к сожалению, пока только на иностранных языках (по-немецки и по-голландски). Отсюда непримиримая вражда Гагарина к большевизму. Он знал русский народ, знал зажиточную, полную традиций и своеобразного уклада жизнь русского Севера, и возненавидел ее разрушителей, возненавидел раз навсегда поработителей русского народа. Это — второй, вдохновляющий основоположный мотив всего его творчества.

Можно без преувеличения сказать, что основным пафосом всей его литературной деятельности за границей, с момента его выезда из России (с 1933 г.), была борьба за освобождение России, борьба против большевизма и — тоска по России, что ярко выразилось в «Возвращении корнета».

Другим решающим фактором жизни Гагарина в Архангельске было знакомство с рядом ссыльных семейств, выселенных большевиками из Москвы и переселенных на север России после отбытия членами этих семейств заключения в советских тюрьмах и лагерях. Между ними были представители высокой культурной традиции. Европейский Запад, с его литературой, культурой, сокровищами искусства, через этих друзей сильно воздействовал на восприимчивую и духовно-утонченную душу Гагарина. Он зачитывался «Фаустом» Гёте, лирикой Гейне, Шекспиром и Байроном, французскими поэтами и романистами, книгами по итальянскому Возрождению. В 1933 г. ему вместе с семьей его жены (он женился в Архангельске на Вере Сергеевне Арсеньевой) удалось выехать за границу, благодаря усиленным хлопотам за семью Арсеньевых великобританского правительства (у Арсеньевых были влиятельные родственники и друзья в Англии). За границей Гагарин провел 15 лет (он был убит грузовиком в октябре 1948 года в Мюнхене). Большей частью он жил в Германии, в Кёнигсберге и Берлине, позднее в Зальцбурге и Мюнхене, но ездил и в другие страны — Францию, Англию, Италию и Голландию. Целый год он учился в Бельгии на философском факультете Лувенского университета, занимаясь главным образом историей искусства. После этого он окончил лесную академию в Эберсвальде около Берлина и получил место в Международной организации по изучению лесов, имевшей тогда свою главную квартиру в Берлине. Это давало Гагарину возможность даже в самые тяжелые годы нацистского режима всегда быть в контакте с представителями других стран (особенно со Швейцарией). Гагарин много писал — и статьи о России, о большевистском гнете, и новеллы, и большие книги. Писал он по-русски, потом и по-немецки, а статьи его о России печатались в переводах на английский, французский, голландский и скандинавские языки. Он чувствовал себя одновременно и свидетелем того, что происходит в России, и художником. Обе эти черты сливались в одно: это было свидетельство, пронизанное любовью и тоской воспоминаний, воплощенное в художественный образ.

Евгений Гагарин займет почетное место, и, может быть, одно из самых видных мест среди молодых писателей русской литературы в эмиграции, — не какой-либо специальной «эмигрантской» литературы (да и есть ли такая специальная «эмигрантская» литература!) — он слишком кровно связан с Россией, — нет: именно русской литературы, единой русской литературы, но свободной, и потому не могущей нормально проявиться в условиях советской жизни и расцветшей в эмиграции. А в нем, ввиду особых условий его культурного и духовного развития, соединились: глубокое знание и чувство подсоветской России и органическое приобщение к основному, историческому, традиционному и динамическому в то же время (и глубоко антибольшевистскому) источнику — русской духовной культуре. Это делает его творчество особенно ценным.

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ

ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН

Возвращение корнета

Но страшно мне: изменишь облик Ты.
БЛОК

I

Каждый раз при встрече Нового года кто-нибудь непременно говорил: следующий раз будем праздновать на родине, в России, и велось так уже двадцать лет. Первые годы, после исхода из Крыма, в эти слова искренне верили; казалось не только вероятным, но даже самоочевидным, что следующий Новый год можно будет встречать уже дома; но годы проходили, все дальше отодвигалось, бледнело старое, а вместе с тем и надежда на Россию, и последнее время прежний тост произносился больше по привычке, хотя все же что-то тревожно отзывалось при этом в сердце. Подберезкин вспомнил теперь все эти

* Впервые повесть опубликована в Нью-Йорке в 1953 г.

эмигрантские годы, проведенные в смутной надежде на Россию в одном и том же городе, среди одних и тех же лиц, — целые двадцать лет! — вспомнил с умилением и любовью, поражаясь, как мало ценил и понимал прежде всю особую красоту этого изгнаннического бытия, этих чаяний и ожиданий на чужбине, на реках Вавилонских. Вспомнил он полуночный молебен под Новый год в русской эмигрантской церкви, крупную фигуру владыки на возвышении посредине храма, в светлом облачении, в ореоле седых волос под митрой, его непослушный, страстный и громкий голос, ломающийся где-то в сводах, воздетые руки и слова молитвы о богохранимой стране Российской, и людей, подходящих под благословение — все знакомые лица! В сущности, был это кусок России, настоящей России!.. А после молебна возвращались по темным, узким, кривым улочкам старого славянского города домой или к друзьям для встречи Нового года, громко разговаривая по-русски к удивлению отдельных встречных туземцев, и если на улицах этого старинного города со множеством церквей и деревянных домов лежал снег, то память и чувство России усиливались до боли. И вот двадцатилетняя надежда становилась действительностью — корнет Подберезкин возвращался в Россию! Правда, возвращался он не так, как представлял себе все эти годы, — не в рядах белой армии, очищающей огнем и мечом родную землю от полонившей ее нечисти. Огня и меча было достаточно, впрочем, и теперь, но несло их не белое русское войско, не под его победными знаменами вступал он на русскую землю, а в рядах чужой армии, воевавшей с его родной, хотя и оскверненной, страной. Вызывало это в корнете странные и неясные чувства. Когда началась война, то сначала радостно прянуло сердце: вот оно наступило, то, чего двадцать лет ждали не переставая, — освобождение родной страны, пусть даже с чужой помощью; место его, бывшего офицера белой армии, было, во всяком случае, там, впереди; точило, однако, сердце при этом и какое-то сомнение.

После длительных усилий Подберезкина приняли переводчиком в штаб немецкой дивизии, стоявшей под Петербургом. Этот город он знал и любил по своим гимназическим годам; связан он был с блоковскими стихами, с белыми ночами, полными какой-то особенной мистики, и никакого иного имени Подберезкин за ним не признавал. Это был именно Петербург, не Петроград, и уж, во всяком случае, не Ленинград! Незаметно, как в угаре, он проехал через Германию и очнулся лишь в Прибалтийском крае.

Поездом ехали воинским. Был он битком набит немецкими солдатами, и первое время Подберезкин чувствовал себя неловко; солдаты его тоже сторонились. Приглядываясь к ним, он с удивлением заметил, что в них было очень мало типично «прусского», всего того, что в его сознании непременно связывалось с немецким солдатом; не замечал он ни большого геройства и бахвальства, ни особенной военной выправки, ни туго затянутых мундиров; большинство из солдат были очень молоды, с почти детскими лицами, без всякой мысли в глазах, и разговоры вели самые солдатские — о женщинах. Особенно неутомим был один рыжеватый толстенький солдатик, все рассказывающий о том, как он веселился в Берлине во время отпуска, то и дело вставляя в свои слова «Der war ein prima Mädel sag'ich Dir, Mensch!» Он расстегнул воротник мундира, обнаружив розовато-рыжее тело и желтовато-грязное белье; все его существо являло смесь простодушия и вульгарности. Вероятно, он уже бывал в России, ибо часто вставлял в свою речь русские слова вроде «nitschewo» или «punjemaju», возбуждая одобрительный смех товарищей: особенного успеха достиг он, когда, окончив какой-то рассказ и вытерев потное лицо, повел носом и со словами: «Es ist hier Zum... Wodka trinken!..» вытянул из спинного мешка фляжку и стал пить, закинув голову. Рядом в купе пустили граммофон; сдавленный, типично-немецкий тенор пел, слащаво гнусавя, что-то о «Matrosenliebe»... Подберезкин вышел в тамбур.

Поезд шел еще по балтийским землям. Станции были полны немецких мундиров, слышалась одна немецкая речь, и как-то не верилось, что в старые годы здесь была уже Россия, и потому чувство тревоги или, во всяком случае, какой-то неуверенности, охватившее его в вагоне, все росло: казалось, что все это еще не то, еще Россия не пришла, еще негде приложить свои силы, и он все ждал, когда же начнется настоящее. Удивляло его, что не было внутри большого напряжения, не рвалось сердце, а ведь казалось всегда прежде, что оно, вероятно, выскочит из груди, когда скажут, что можно возвратиться в Россию. Что-то было все-таки не так — это ему с самого начала стало ясно. Вспомнил он 1920 год. Крым, уход войск на кораблях, галлиполийское сиденье, потом Прагу, нужду, день за днем, год за годом, и все тот же огонь и веру на галлиполийских собраниях, и одну единственную любовь и тягу — к России, как к матери, как к храму, как к святыне, оскверненной и еще более дорогой!.. Протекала мимо какая-то жизнь, события без бытия, как сказал кто-то, — и все было ни к чему, не трогало, важна была только Россия, а то все было чужое. Двадцать лет ждал он так возвращения в Россию, жил только этим, и вот теперь возвращался — и все же не было ни радости, захватывающей без остатка, ни даже нетерпения, а скорее тревога, неуверенность, неясная боязнь.

После Риги стало холоднее, вагонные окна расцвели снежными цветами, бело окаймило дверные щели, и даже в проходы между вагонами набился снег; и тотчас же что-то отозвалось в сердце — какой-то дальний день, какой-то поезд в России, хотя русские вагоны были совсем другие. Подышав в окно, корнет протер в цветах дырку и стал смотреть. Уже клонило к вечеру, синея на полях и вдали, лес начинал сливаться с небом, вся местность стала шире, не походила ни на одну страну в Европе. «Nur in Kurland ist der Himmel blau», — вспомнил он слова знакомой балтийки, тосковавшей в Германии о жизни в старое время в русской Прибалтике. Да, здесь небо было уже иное, иная земля и даль уже лежала перед ним, но все же еще не настоящая, не полностью русская даль; иногда возникали, темнея, длинные сухие шатры кирок, и тотчас же впечатление России исчезало. Рядом с рельсами вилась все время санная дорога, еще мало заезженная, но при виде желтых желобков от полозьев опять радовалась душа. Поезд бежал торопясь, — «тороплюсь, тороплюсь» — приговаривал невольно, в такт Подберезкин; повизгивали, как щенята, колеса, перед глазами на стене качалась доска какой-то рекламы, и фигура улыбающейся девушки шагала прямо на него, из вагона доносились беззвучные голоса, громко, в унисон певшие какую-то песню, — и так он стоял и ехал в Россию, пока не стало совсем темно.

II

Ночью на автомобиле они проехали от станции к деревне, где стоял штаб дивизии, и в темноте, не зажигая огня, устроились на ночлег в какой-то избе. С русской стороны все время бросали в небо ракеты, вспыхивавшие сине-багровым светом; вдали временами коротко и глухо рокотало, и Подберезкин сразу же перенесся в годы гражданской войны — так же становились когда-то в темноте на ночлег в незнакомых деревнях под звуки дальней канонады. Приехал он с двумя немецкими офицерами. Молоденького лейтенанта фон Эльзенберга он уже знал. Происходил тот из старинной немецкой семьи, давшей Германии не одного именитого военного и дипломата: предки его бывали послами и в России. Был он высок, девически тонок и розов, всегда с иголочки одет, весь полон упоения и веры в Германию и ее «миссию на Востоке». По дороге он постоянно заговаривал с Подберезкиным, уверял, что еще в этом же году возьмут Москву, дойдут до Волги, и если те не захотят сдаваться, — пускай идут в Сибирь. Считал он, по-видимому, что все это было в порядке вещей, иногда только спохватывался, как будто что-то припоминая,

и говорил, что, разумеется, они не хотят порабощать русского народа, найдутся совместные пути; один русский народ, однако, очевидно, не способен на самостоятельное существование. Другой офицер был подагрический балтиец с длинным кривым носом на продолговатом лошадином лице и клоком редких волос над высоким бледным лбом, породистый, чуть дегенеративный, похожий на фавна. С самого начала он был сух с Подберезкиным, едва подал руку и по дороге не заговаривал совсем, хотя, вероятно, должен был знать и по-русски. Лежа теперь на деревянной скамье у стены, корнет вспоминал обо всем этом. Молодой лейтенант был ему, несмотря на полное невежество в части России, скорее приятен, но начальством окажется, видимо, все-таки балтиец — тот был в чине капитана. Вопреки страшной усталости, спать Подберезкину не хотелось. В избе было жарко натоплено; проведя рукой в темноте, он коснулся голой бревенчатой стены, между балками в пазах лежала пакля. Косо вдоль гладкого, будто отполированного, дерева шли щели, в них возились тараканы или домовые жуки, наполняя тишину шорохом и тем необъяснимо приближая к детству в России: было в этом шорохе что-то свое, мирное, рождественское — как в «Сверчке на печи» у Диккенса. Затеплить бы лампаду в углу перед образами — и стало бы совсем как прежде!.. И радостно вспоминал: да ведь я в России, в русской крестьянской избе, в какой не бывал уже двадцать лет. Завтра проснусь и выйду в русский мир — Боже мой!.. Постепенно он все же заснул, весь полный напряжения, ожидания, спал, бредя домом и детством, и во сне, ужасаясь и радуясь, увидел вдруг с совершенной, вещественной ясностью, как шла к нему, протягивая руки и грустно улыбаясь, сестра, оставшаяся одна в России, о которой он почти ничего не слыхал за все годы изгнания, а за нею, тоже радостно и грустно улыбаясь, отец Зосима — их старый сельский священник, в той же соломенной шляпе, люстриновой серой ряске, — все тот же, но весь светлый и бестелесный. Протягивая руки, с криком корнет бросился навстречу — и проснулся.

В избе стояла сизая полутьма, но маленькие заснеженные окошки справа уже рдели багровым цветом; косо ложились на пол красные лучи, плотные, как плахи. Было еще раннее утро, немецкие офицеры спали на полу, на соломенных матрацах, покрывшись шинелями, от дверей по ногам несло стужей. Подберезкин оглянулся. Изба была самая обыкновенная, крестьянская; по рисункам, в такой избе держал когда-то Кутузов военный совет в Филях: деревянные стены без обоев с квадратными переплетами окна, широкие низкие скамьи, вырубленные вдоль стен, огромная русская печь по левую руку от дверей, в переднем углу — дощатый стол и над ним божница с иконами и висячей лампой. Все было, как прежде, и Подберезкин опять радостно, всем сердцем, ощутил Россию. С какой тягой вспоминал он всегда в чистеньких городоподобных деревнях Европы, с радио и бензинными станциями, о былой русской деревне, о русской крестьянской избе с резными окнами, со старинными темными образами в красном углу, с расписными полотенцами, с медным самоваром на столе. Он не успел еще по-настоящему оглядеться и придти в себя от сна — болели бока и шея, — как дверь в избу тихо отворилась и просунулась старушечья голова, повязанная платком.

— Ефим, а Ефим, — тихо сказала старуха, — когда печь топить будем? Солнышко уж в спину греет. Ай спишь до сей поры? Стыд и срам!..

— А не сказывали ничего. Приехали и спать легли. — отозвался густой мужской голос сверху. Поведя глазами, Подберезкин увидел сначала огромные ноги, потом пестрые домотканые портки и дальше седую мохнатую голову — как седую копну сена. Старик сидел на краю печи, свесив ноги. Увидев, что на него смотрят, он дернул ногами, как будто хотел закинуть их обратно на печь, и остался по-прежнему сидеть, вопросительно глядя на Подберезкина скорбными голубыми, для его лет изумительно ясными глазами. «Объявляться или не объявляться русским?» — подумал в нерешительности Подберезкин. Прикидываясь немцем, он мог больше услышать, но было как-то совестно обманывать старика, скрываться на родине, и, сам еще не отдавая себе ясно отчета, он сказал, улыбаясь:

— Проснулся, дедушка?

— А, проснулся, сынок, — ответил тот глухим басом, ничуть, по-видимому, не удивляясь русской речи, и тотчас же слез на пол, достал сверху валенки и онучи и, сев на приступку у печи, стал обуваться.

— Раньше и о будень день не обул бы таких катанок — зашиты, залатаны, — показал он, смеясь в бороду, на огромные серые валенки с заплатами со всех сторон, — постыдился бы по деревне пройти, мужики бы засмеяли: все пропил, видно, Ефим. Разве что Ваньке Шалатыге носить их было прежде — был у нас такой франт, почитай, круглый год без верхних штанов ходил, зато чарки крепко держался, — продолжал он рассказывать, изредка поглядывая на Подберезкина, а тому казалось, что он сидит в театре и смотрит на какого-то толстовского или чеховского мужика.

— Нонче будет праздник Крещенья, — продолжал старик. — Немцы церковь открыли, на старости лет могу Богу помолиться, а думал уж не доживу до таких дён. Молодые Бога совсем не знают. Креста положить не умеют. А ты крещеный будешь? Али в Бога тоже не веришь? При Советах сказывали — за границей ученые Бога совсем отменили.

— Крещеный, дедушка, крещеный и в Бога верую.

— То-то хорошо, — отозвался старик. Обувшись, он прошел в угол у двери и стал умываться из висячего медного рукомойника над медным тазом. Нацедив воды в ладони из носика рукомойника, он с шумом опрокидывал их на лицо и тер, пофыркивая, щеки и бороду, а потом, сняв со стены полотенце, обсушился, разгладил надвое рукой волосы и, обратившись к иконам, перекрестился несколько раз, низко кланяясь и приговаривая: «Благослови Господь на добрый денек». И, повернувшись к Подберезкину, продолжал:

— Попа-то у нас отцом Василием звали, — товарищи угнали. Лет, почитай, пять без попа жили, а потом новый объявился. Сказывают, при Советах в городе сапожничеством занимался — чисто Иосиф святой. Пойду сегодня ко службе схожу — Крещенье Христово большой праздник раньше был. Бабка-старуха уж наведывалась, топить ли печь: торопится в церковь сходить. А твои приятельки долго спать-то будут? — он указал на лежащих на полу.

— Зови, зови старуху, пускай топит, — отвечал Подберезкин.

Продолжение в следующем номере



Пора! Пора!

. . . .

На плоской террасе здания, украшенного белыми колоннами и скульптурами, изображениями белых женщин в тунниках, сидел на складном табурете Воланд и глядел на город, громоздившийся внизу. Сзади Воланда стоял мрачный рыжий и косой Азазелло.

Ветерок задувал на террасу, и бубенчики тихо звенели на штанах и камзоле Азазелло.

Воланд устремил взгляд вдаль, любуясь картиной, открывшейся перед ним. Солнце садилось за изгиб Москва-реки, и там варилось месиво из облаков, черного дыма и пыли.

Воланд повернул голову, подпер кулаком подбородок, стал смотреть на город.

— Еще один дым появился на бульварном кольце.

Азазелло, прищурив кривой глаз, посмотрел туда, куда указывал Воланд.

— Это дом Грибоедова горит, мессир.

— Мощное зрелище, — заговорил Воланд, — то здесь, то там повалит клубами, а потом присоединяются и живые трепещущие языки. Зелень сворачивается в трубки, желтеет. И даже здесь ветерок припахивает гарью. До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима.

— Осмелюсь доложить, — загнусил Азазелло, — Рим был город красивее, сколько я помню.

— Мощное зрелище, — повторил Воланд.

— Но нет ни одного зрелища, даже самого прекрасного, которое бы в конце концов не надоело.

— К чему ты это говоришь?

— Прошу прощения, сир, тень поворачивает и становится длиннее, нам пора покинуть этот город. Интересно знать, где застряли Фагот с Бегемотом? Я знаю, проклятый толстяк наслаждается сейчас в этой кутерьме, паясничает, дразнит всех, затевает ссоры.

— Придут.

Тут внимание говоривших привлекло происшествие внизу.

С Воздвиженки в Ваганьковский переулок вкатили две красные пожарные машины. Зазвонил колокол. Машины повернули круто и въехали на Знаменку, явно направляясь к многоэтажному дому, из-под крыши которого валил дым.

Но лишь только первая машина поравнялась, замедляя ход, с предыдущим домом, окно в нем разлетелось, стекла брызнули на тротуар, высунулся кто-то в бакенбардах с патефоном в руках и рявкнул басом:

— Горим!

Из подворотни выбежала женщина, ее слабый голос ветер донес на крышу, но разобрать ее слов нельзя было.

Передняя машина недоуменно остановилась. Бравый человек в синем сюртуке соскочил с нее и замахал руками.

— Действительно, положение, — заметил Воланд, — какой же из двух домов он начнет раньше тушить?

— Какой бы из них ни начал, он ни одного не потушит. Толстый негодяй сегодня, когда гулял, я видел, залез в колодезь и что-то финтил с трубами. Клянусь вашей подковой, мессир, он не получит ни одной капли воды. Гляньте на этого идиота с патефоном. Он выпрыгнул из окна — и патефон разбил, и сломал руку.

Тут на железной лестнице застучали шаги, и головы Коровьева и Бегемота показались на крыше.

Рожа Бегемота оказалась вся в саже, а грудь в крови, кепка обгорела.

— Сир, мне сейчас по морде дали! — почему-то радостно объявил, отдуваясь, Бегемот, — по ошибке, за мародера приняли!

— Никакой ошибки не было, ты и есть мародер, — отозвался Воланд.

Под мышкой у Бегемота торчал свежий пейзаж в золотой раме, через плечо были перекинуты брюки, и все карманы были набиты жестяными коробками.

— Как полыхнуло на Петровке, одна компания нырь в универмаг, я с ними, — рассказывал возбужденно Бегемот, — тут милиция... Я за пейзажем... Меня по морде... Ах так, говорю... А они стрелять, да шесть человек и застрелили!

Он помолчал и неожиданно добавил:

— Мы страшно хохотали!

Продолжение. Начало в №№ 4—7/1991.

Кто и почему хохотал и что в рассказанном было смешного, узнать никому не удалось.

Голова белой статуи отскочила и, упавши на плиты террасы, разбилась. Группа стоявших повернула головы и глянула вниз. На Знаменке шла кутерьма. Брезентовые люди с золотыми головами матерились у иссохшего мертвого шланга. Дым уже пеленой тянулся через улицу, дыбом стояла лестница в дыму, бегали люди, но среди бегавших маленькая группа мужчин в серых шлемах, припав на колено, целилась из винтовок. Огоньки вспыхивали, и сухой веселый стук разносило по переулкам.

У статуи отлетели пальцы, от колонны отлетали куски. Пули били в железные листы крыши, свистали в воздухе.

— Ба! — вскричал Коровьев, — да ведь это в нас! Мы популярны!

— Пуля свистнула возле самого моего уха! — горделиво воскликнул Бегемот.

Азазелло нахмурился и, указывая на черную тень от колонны, падающую к ногам Воланда, настойчиво заговорил:

— Пора, мессир, пора...

— Пора, — сказал Воланд, и вся компания стала с вышки по легкой металлической лестнице спускаться вниз.

Гонец

Воланд в сопровождении свиты к закату солнца дошел до Девичьего Монастыря. Пряничные зубчатые башни заливало косыми лучами из-за изгибов Москвы-реки. По небу слабый ветер чуть подгонял облака.

Воланд не задерживался у Монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг Монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отражения солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены.

Город более не интересовал его гостя, и, сопровождаемый спутниками, он устремился вдаль — к Москве-реке.

Группа, в которой выделялся своим ростом Воланд, прошла мимо свалок по дороге, ведущей к переправе, и на ней исчезла.

Появилась она вновь через несколько секунд, но уже за рекой, у подножия Воробьевых Гор. Там, на холме, к которому примыкала еще оголенная роща, группа остановилась, повернулась и посмотрела на город.

В глазах поднялись многоэтажные белые громады Зубовки, а за ними — башни Москвы. Но эти башни видны были в сизом тумане. Ниже тумана над Москвой расплывалась тяжелая туча дыма.

— Какое незабываемое зрелище! — воскликнул Бегемот, снимая шапчонку и вытирая жирный лоб.

Его пригласили помолчать.

Дымы зарождались в разных местах Москвы и были разного цвета. Между . . . .

. . . .

Какая-то баба с узлом появилась выше стоящих на террасе над холмом.

— Удивительно неуютное место, — заметил Бегемот, осматриваясь, — как много всюду любопытных.

Азезелло, сердито покосившись, вынул парабеллум и выстрелил два раза по направлению группы подростков, целясь над головами. Подростки бросились бежать, и площадка опустела. Исчезла и баба наверху.

Тогда Воланд первый, взметнув черным плащом, вскочил на нетерпеливого коня, который и встал на дыбы. За ним легко взлетели на могучие спины Азазелло, Бегемот и Коровьев в своем дурацком наряде.

Холм задрожал под копытами нетерпеливых коней.

14.IX.34.

Но не успели всадники тронуться с места, как пятая лошадь грузно обрушилась на холм, и фиолетовый всадник соскочил со спины. Он подошел к Воланду, и тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади.

Коровьев и Бегемот сняли картузики, Азазелло поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и темное, было неподвижно, шевелились только губы. Он шептал Воланду.

Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму.

— Очень хорошо, — говорил Воланд, — я с особенным удовольствием исполню волю пославшего. Исполню.

Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся.

Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода, двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез.

Воланд поманил пальцем Азазелло, тот подскочил к лошади и выслушал то, что негромко приказал ему Воланд. И слышны были только слова:

— В мгновение ока. Не задержи!

Азазелло скрылся из глаз.

Они пьют

Итак, Азазелло появился в маленькой комнатушке в тот момент, когда поэт подносил ко рту вторую стопку.

— Мир вам, — сказал гнусавый голос.

— Да это Азазелло! — вскричала всмотревшись Маргарита, — не волнуйся, мой друг! Это Азазелло. Он не причинит тебе никакого зла.

Поэт во все глаза глядел на диковинного рыжего, который, взяв кепку на отлет, кланялся, улыбаясь всею своей косой рожей.

Тут произошла суета, усаживание и потчевание. Маргарита Николаевна вдруг сообразила, что она совершенно голая, что ветхий халат по сути дела не прикрывает ее тела, и вскричала:

— Извините!

И запахнулась.

На это Азазелло ответил, что Маргарита Николаевна напрасно беспокоится, что он видел не только голых дам, но даже дам с содранной кожей, что все это ему не в диковинку, что он просит без церемоний, а что если будут церемониться, он уйдет немедленно...

Тут его стали усаживать в кресло, и он одним духом хватил чайный стакан водки, повторив, что самое лучшее, если каждый чувствует себя без церемоний, что в этом и есть истинное счастье и настоящий шик. И чтобы подать пример другим, хлопнул и второй стакан, отчего его глаз загорелся, как фонарь.

Поэту внезапный гость чрезвычайно понравился, поэт с ним чокнулся и приятно захмелел. Кровь быстрее пошла в его жилах, и страх отлетел. В комнате показалось и тепло, и уютно, и он, нежно погладив рукой старенький вытертый плющ, вступил в беседу.

— Город горит, — сказал поэт Азазелло, пожимая плечами, — как же это так?

— А что же такое! — отозвался Азазелло, как бы речь шла о каких-то пустяках, — почему бы ему и не гореть! Разве он несгораемый?

«Совершенно верно! — мысленно сказал поэт, — как это просто в сущности!» — и тут же решил расспросить Азазелло прямо о том, кто его принимал вчера, и откуда взялся паспорт, и вообще, что все это значит.

Но лишь только он открыл рот, как Азазелло, подмигнув таинственно сверкающим глазом, заговорил сам.

— Просят вас, — проснпел он, косясь на окно, в которое уже вплывала волна весенних сумерек, — с нами. Короче говоря, едем.

Поэт заморгал глазами, а Маргарита пододвинулась к шепчущимся.

— Меня? — спросил шепотом поэт.

— Вас.

Маргарита Николаевна изменилась в лице и не сводила глаз с поэта. Губы ее дрогнули.

И тот этого не заметил. «Эге... предатель»... — мелькнуло у него в голове слово. Он уставился прямо в сверкающий глаз.

— Куда меня приглашают ехать? — сухо спросил поэт, видя, как отливает зеленым глаз загадочного гостя.

— Местечко найдем, — шипел тот соблазнительно и дыша водкой, — да и нечего, как ни верти, торчать тут в полуподвале? Чего тут высидишь?

«Предатель, предатель, предатель...» — окончательно удостоверился поэт и ответил:

— Нет, почему же... и в городе есть некоторая прелесть. Я не хочу искать новых мест, меня никуда не тянет.

Тут Азазелло всей своей рожей выразил, что не верит ни одному слову поэта. •

И неожиданно вмешалась Маргарита.

— Поезжай, — сказала она, — а я... — она подумала и сказала твердо, — а я останусь караулить твой подвал, если он, конечно, не сгорит. Я, — голос ее дрогнул, — буду читать про то, как над Ершалаимом бушевала гроза и как лежал на балконе прокуратор понтийский Пилат. Поезжай, поезжай! — твердила она грозно, но глаза ее выражали страдание.

Тут только поэт всмотрелся в ее лицо, и горькая нежность подступила к его горлу, как ком, слезы выступили на глазах.

— С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.

Самоуверенный Азазелло смутился, отчего еще больше начал косить. Но внезапно изменился, поднял брови и руки растопырил...

— В чем дело! — засипел он, — какой может быть вопрос? И чудесно. Именно с ней. Само собой.

Маргарита поднялась, села на колени к поэту и крепко обняла его за шею.

— Смотреть приятно, — сказал Азазелло и внезапно вынул из растопыренного кармана темную бутылку в зеленой плесени.

15.IX.34.

— Вот вино! — воскликнул он и тут же, вооружившись штопором, откупорил бутылку.

Странный запах, от которого, как показалось Маргарите, закружилась голова, распространился по комнате.

Азазелло наполнил три бокала вином, и потухающие угли в печке отбросили последний отблеск. Крайний бокал был наполнен как бы кровью, два других были черны.

— Без страха, за ваше здоровье! — провозгласил Азазелло, поднимая свой бокал, и окровавленные угли заиграли в нем.

— Пей, не бойся, летим, — зашептала Маргарита, прижимаясь к поэту.

Поэт, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то очень важное и необыкновенное, глотнул вино и видел, как Маргарита сделала то же самое.

В то же мгновение радость прихлынула к сердцу поэта, и предметы пошли кругом. Он глубоко вздохнул и видел, что Маргарита роняет бокал, бледнеет и падает... Жаркий отблеск прошел по ее голому животу. «А, отравил!» — успел подумать поэт. Он хотел крикнуть: «Отравитель!», но голосом овладеть не мог. Тут он увидел перед лицом своим пол. Потом все кончилось. Отравитель горящими глазами смотрел, как падали любовники. Когда они затихли у его ног на ковре, он оживился, подскочил к форточке и свистнул. Тотчас ему отозвался свист в садике. Азазелло наклонился к поэту, поднял его в кресло. Белый, как бумага, поэт безжизненно свесил голову. Азазелло поднял и полуголую Маргариту в кресло, осколки бокалов отшвырнул носком сапога в угол. Из шкафчика вынул цельные бокалы, наполнил их вином, разжал челюсти поэта, влил глоток, так же поступил и с Маргаритой. Не прошло и нескольких секунд, как поэт открыл веки, глянул.

— Отравитель... — слабо произнес он.

— Что вы! — вскричал гнусаво кривоглазый, — подобное лечится подобным. Встряхнитесь, нам пора. Вот оживает и ваша подруга.

Поэт увидел, что Маргарита вскочила, полная жизни. Изменилось лишь ее лицо в цвете и стало бледным.

— Пора! Пора! — произнес Азазелло.

— Пора! — повторила возбужденная Маргарита.

Она одним взмахом сорвала с себя халат и взвизгнула от восторга. Азазелло вынул из кармана баночку и подал. Тотчас под руками Маргариты ее тело блеснуло жиром.

— Скорее, — сказал Азазелло поэту.

Тот поднялся легко. Такая радость, как та, что наполняла его тело, еще им не была испытана никогда. Тело его не несло в себе никакой боли, и кроме того, все показалось сладостным поэту. И жар углей в старой печке, и красное старенькое бюро, и голая Маргарита, которая скалила зубы и натирала шею остатками мази.

Поэт хотел перед отъездом пересмотреть свои рукописи, но Азазелло сослался на то, что поздно, и неопределенно намекнул на то, что за рукописями можно будет заглянуть как-нибудь впоследствии...

— Вы правы! — вскричал поэт, чувствуя прилив бодрости и вдохновения.

В ту же минуту он выхватил из стола толстую пачку исписанных листов и швырнул ее в печь.

— Один листок не отдам! — закричала Маргарита и выхватила из пачки листок. Она скомкала его в кулаке.

Жаром пахнуло в лица, и вся комната ожила. Коварный Азазелло кочергой выбросил пылающую бумагу прямо на скатерть, и дым повалил из нее.

Через несколько мгновений компания, хлопнув дверями, покинула полуподвал. Пролетела в дворике.

Милосердия! Милосердия!

Взвились со дворика. Первой взлетела на дворницкой метле Маргарита. За нею поднялся Азазелло. Он распахнул плащ, и на его поле, держась рукой за кованый пояс, поднялся поэт. Смертельно бледное лицо в начинающихся сумерках показалось картонным. Дымный ветерок ударил в лицо, волосы разметал.

Маргарита шла скачками чуть повыше старинных фонарей, а поэта захватил дух от наслаждения при первом же движении в воздухе.

Азазелло, неся на плаще поэта, догнал Маргариту и властно указал на запад, но поэт в этот момент потянул его за пояс и тихо попросил:

— Я хочу попрощаться с городом.

Азазелло кивнул головой, и летящие повернули вдоль по Пречистенке к центру.

Лет был так мягок, так нечувствителен, что временами казалось поэту, будто не он плывет по воздуху над городом, а город со страшным гвалтом бежит под ним, показывая ему картины, от которых его волосы вздувались и холодели у корней.

Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, искрошенные цветочные вазоны. Трамваи далее стояли вереницей. С первого взгляда было понятно, что случилось. Передний трамвай наскочил у стрелки на что-то, сошел с рельс, закупорил артерию.

Но поэт не успел присмотреться, как под самыми ногами у него тарахнуло и он видел, как оглушительно кричавший человек у стенки манежа упал на асфальт, и тотчас же красная лужа образовалась у его лица.

Поэт дрогнул, прижался к ногам Азазелло и плащом закрыл лицо на секунду, чтобы не видеть. Когда он отбросил черную ткань, то видел в Охотном ряду золотые шлемы, густейшую толпу. До него донеслись крики. Он пролетел следом за Маргаритой на высоте двенадцатого этажа и, глянув в открытое окно, успел увидеть страшную сцену.

Человек в белой куртке и штанах с искаженным от долгой затаенной злобы лицом стоял на голубом ковре перед каким-то гражданином в сиреневом пиджаке. Что-то кричал сиреневый человек, добиваясь чего-то от белого, но белый, бледнея от злобы, поднял бле . . . .

. . . .

На темный балкон во втором этаже выбежал мальчишка лет шести. Окна квартиры, к которой принадлежал балкон, осветились подозрительно. Мальчишка с белым лицом устремился прямо к решетке балкона, глянул вниз, и ужас выразился на его лице. Он пробежал к другой стороне балкона, примерился там, убедился, что высота такая же. Тогда лицо его исказилось судорогой, он устремился назад к балконной двери, открыл ее, но ему в лицо ударил дым. Мальчишка проворно закрыл ее, вернулся на балкон, тоскливо посмотрел на небо, тоскливо оглядел двор, потом уселся на маленькой скамеечке посредине балкона и стал глядеть на решетку.

Лицо его приобрело недетское выражение, осунулось. Он изумленно шевелил бровями, что-то шептал, соображал. Один раз тревожно оглянулся, глаза вспыхнули. Он искал водосточную трубу. Убедившись в том, что труба слишком далеко, он успокоился на своей скамейке, голову втянул в плечи и горько стал качать ею. Дым полз струйкой из-под балконной двери.

Поэт властно дернул за пояс Азазелло, но предпринять какие-то шаги не успел. Сверху поэта накрыла мелькнувшая тень, и Маргарита шарахнула мимо него на балкон. Поэт опустился пониже, и послушный Азазелло повис неподвижно. Маргарита опустилась и сказала мальчишке:

— Держись за метлу, только крепко.

Мальчишка вцепился в метлу изо всех сил обеими руками и повеселел. Маргарита подхватила его под мышки, и оба спустились на землю.

— Ты почему же сидел на балконе один? — спросила Маргарита.

— Я думал, все равно сгорю, — стыдливо улыбаясь, ответил мальчишка.

— А почему ты не прыгнул?

— Ногу можно сломать.

Маргарита схватила мальчишку за руку, и они побежали к соседнему домишке. Маргарита грохнула метлой в дверь. Тотчас выбежали люди, какая-то простоволосая в кофте. Мальчишка что-то горячо объяснял. Завопила простоволосая.

Маргарита поднялась, и, медленно поднимаясь за нею, поэт сказал, разводя руками:

— Но дети? Позвольте! Дети!..

Усмешка исказила лицо Азазелло.

— Я уж давно жду этого восклицания, мастер.

— Вы ошеломили меня! Я схожу с ума, — захрипел поэт, чувствуя, что не может больше выносить дыму, выдыхая горький воздух.

Он пришел в странное беспокойство и вдруг вскричал:

— Грозу, грозу! Грозу!

Азазелло склонился к нему и шепнул с насмешкой в дьявольских глазах:

— Она идет вот она, не волнуйте себя, мастер.

Резкий ветер в тот же миг ударил в лицо поэту. Он поднял глаза, увидел Маргариту со вздыбленными волосами, услышал ее крик: «Гроза!»

Стало темно. Туча в три цвета поднялась с неестественной быстротой. Впереди бежали клубы белого, обгоняя друг друга, потом ползло широкое черное и закрыло полмира, а потом мутно-желтое, которое, холодя сердце, неуклонно поднималось из-за крыш.

Еще раз дунуло в лицо, взвилась пыль в переулке, сверху вниз кинулась какая-то встревоженная птица, — и тотчас наползавшее черное раскроилось пополам. Сверкнул огонь. Потом ударило. Еще раз донесся вопль Маргариты:

— Гроза! — Сверху хлынула вода.

Поэт успел увидеть, как по переулку пробежали какие-то женщины, упали на колени, стали креститься и простирать руки к небу.

Ссора на Воробьевых горах

Был вечер. Солнце падало за Москва-реку. На небе не было и следов грозы. Громадная радуга стояла над Москвой и, одним концом погрузившись в Москва-реку, пила из нее воду.

Над Москвой ходил и расплывался дым, но нигде уже не было видно огня.

Нетерпеливые черные кони копытами взрывали землю на холме.

Когда совсем завечерело, Бегемот, стоявший у обрыва, приложил лапу ко лбу, всмотрелся и доложил Воланду:

— Будь я проклят, мессир, если это не они!

В воздухе над Москва-рекой мелькнула черная точка, увеличивалась, превратилась в черный лоскут, рядом с ним сверкнуло голое тело, и через мгновение Азазелло со спутниками спустился на холм.

Поэт в лохмотьях рубашки, с лицом, выпачканным в саже, над которым волосы его казались совсем светлыми, как солома, взял за руку подругу и предстал перед Воландом.

Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся.

— Я рад вас видеть, друзья мои, — заговорил он, — и я полагаю, что вы не откажетесь стать моими гостями.

Поэт молчал, глядя на Воланда, молчала и Маргарита.

— Что ж, в путь без дальних разговоров, — добавил Воланд, — пора.

Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась.

— Гоп! — заорал Бегемот и, перекувыркнувшись, вскочил на коня.

Остальные еще не успели сесть, как Азазелло обратился к Воланду:

— Извольте полюбоваться, сир, — засипел он с негодованием, указывая корявым пальцем вниз на реку.

Три серые, широкие в корме, лодки, задрав носы кверху, как бритвой разрезая воду, разводя после себя буйную волну с пеной, гудя пронеслись против течения и, разом смолкнув, пристали к берегу.

Из всех трех лодок высыпались на берег вооруженные люди и по команде «Бегом!» бросились штурмовать холм. Лица их были, как лица странных чудовищ, с огромными глазищами серого безжизненного цвета и с хвостом вместо носа.

— Э... да они в масках, — проворчал Азазелло.

Прибытие людей более всего почему-то расстроило Бегемота. Бия себя лапами в грудь, он разорался насчет того, что это ему надоело, что он даже на лошадь не может сесть спокойно и что все эти маски ни к чему, что он раздражен!

Тем временем люди из первой шеренги из каких-то коротеньких, но зловещих ружей дали сухой залп по холму, отчего лошади, приложив уши, шарахнулись, и Маргарита еле усидела, а вороны, игравшие в голой роще перед сном, вдруг камнем стали падать на землю. Тут же густое ворчание и всхлипывание послышалось высоко в воздухе, и первый аэроплан с чудовищной скоростью снижаясь, бесстрашно пошел к холму. За ним сверкнул, потух, опять сверкнул и приблизился второй, а далее над Москвой запело и заурчало целое звено.

— Этого я видеть равнодушно не могу! — воскликнул Бегемот и, проорав на коней — «Балуй!» — обратился к Воланду, — дозвольте, ваше сиятельство, свистнуть.

— Ты испугаешь даму, — сухо усмехнувшись, ответил Воланд.

— Ах, нет, умоляю! Свистни! Свистни! — попросила Маргарита.

Лицо поэта пожелтело, и он задергал щекой, глядя на приближавшихся и враждебных людей.

В то же мгновение Бегемот сунул пальцы в рот и свистнул так, что вся округа зазвенела, в роще посыпались сучья, из Москвы-реки плеснуло на берег, швырнув лодки в разные стороны.

Но бесстрашные маскированные продолжали свой стремительный бег вверх и дали второй залп.

— Это свистнуто, — ядовито сказал Коровьев, глядя на Бегемота, — свистнуто, не спорю, но ежели говорить откровенно, свистнуто неважно!..

— Я не музыкант, — обиженно отозвался Бегемот и подмигнул Маргарите.

— А вот дозвольте я попробую, — тоненько попросил Коровьев и, не дождавшись ответа, вдруг вытянулся вверх, как резинка, стал в полтора раза выше, потом завился, как винт, всунул пальцы в рот и, раскрутившись, свистнул.

Свиста Маргарита не слыхала, но она его видела. У нее позеленело в глазах, и лошадь под ней села на задние ноги. Она видела, как с корнем вывернуло деревья в роще и швырнуло вверх, затем берег впереди наступавших треснул червивой трещиной и пласт земли рухнул в Москва-реку, поглотив наступавшие шеренги и бронированные лодки. Вода взметнулась вверх саженей на десять, а когда она упала, железный мост по левой руке беззвучно прогнулся в середине и беспомощно обвис. Без всякого звука рухнула крайняя башня Девичьего Монастыря вдали.

— Не в ударе я сегодня, — сказал Коровьев, рассматривая свои пальцы.

— Свиньи! — воскликнул Воланд снисходительно и сел на коня.

За ним то же сделали остальные, а Азазелло поднял вздрагивающего поэта на коня...

И кони тут же снялись и скачками понеслись вверх по обрывам.

Последнее, что видела Маргарита, это звено аэропланов, которое оказалось над головами и настолько невысоко, что в переднем она ясно разглядела маленькую голову в шлеме.

Тут же что-то мелькнуло в воздухе, и близко в роще ударил вверх огонь, и грохнуло так, что оборвалось от страха сердце.

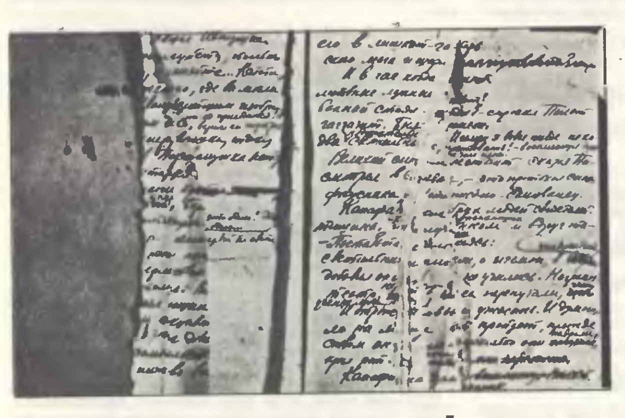
Кони были уже на верхней площадке. Второй аэроплан бросил бомбу поближе, в клочья разметав деревья и землю.

— Нам намекают, что мы лишние, — вскричал Коровьев и, пригнувшись к шее жеребца, прокричал тоненько:

— Любезные... гробят!

В то же мгновенье воздух засвистал в ушах Маргариты, исчезла Москва со своим дымом и Воробьевы горы — навсегда.

Окончание в следующем номере.



КОММЕНТАРИИ

Пора! Пора!

С. 70. До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима. — Имеется в виду грандиозный пожар Рима в 64 г. н. э. Из 13 районов уцелело только 3. По наиболее правдоподобной версии город был подожжен по приказу императора Нерона (правил 54—68 гг. н. э.) Пожар Москвы Булгаков обозначал сначала 1943, а затем 1945 годом (см. ранние варианты главы «Дело было в Грибоедове»). В рабочей тетради писателя есть интересная запись: «Нострадамус Михаил, род. 1503 г. Конец света 1943 г.».

Гонец

С. 71. ...и фиолетовый всадник соскочил... — В следующей рукописной редакции этот важнейший эпизод опущен автором. При перепечатке текста в 1938 году эпизод был восстановлен в следующей редакции:

«Опять наступило молчание, и оба находящиеся на террасе [Воланд и Азазелло] глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиною к закату.

Через некоторое время послышался шорох как бы летящих крыльев, и на террасу высадился неизвестный вестник в темном и беззвучно подошел к Воланду. Азазелло отступил. Вестник что-то сказал Воланду, на что тот ответил, улыбнувшись:

— Передай, что я с удовольствием это исполню.

Вестник после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло и приказал ему:

— Лети к ним и все устрой».

В мае 1939 года Булгаков внес коренные изменения в этот эпизод: перед Воландом появляется Левий Матвей с просьбой Иешуа о том, чтобы сатана «взял с собою мастера и наградил его покоем». Таким образом, Булгаков в более поздней редакции отходит от концепции подчиненности «царства тьмы» «царству света» и делает их, по крайней мере, равноправными.

Они пьют

— Мир вам, — сказал гнусавый голос. — Булгаков вновь показывает свою приверженность дуалистической концепции борьбы света и тени. Он вкладывает в уста Азазелло слова воскресшего Иисуса Христа, произнесенные им перед апостолами: «Мир вам» (Лука, 24,36). Более того, в следующей рукописной редакции Азазелло, увидев обрадовавшуюся ему голую Наташу, стал раскланиваться и повторять слова: «Мир вам!»

...но даже дам с содранной кожей... — Булгаков, видимо, намекает на страшный киевский период 1918—1919 гг., когда он был очевидцем редчайших зверств, которые творили сменявшие друг друга власти.

— Просят вас... — В следующей полной рукописной редакции этому прямому предложению предшествует следующая беседа: .

«— Мессир передавал вам привет, — говорил Азазелло, поворачиваясь к Маргарите.

— Передайте ему великую мою благодарность!

Мастер поклонился ему, а Азазелло высоко поднял стопку, до краев полную водкой, негромко воскликнул:

— Мессир!

Маргарита поняла, что этот тост торжественный, также как понял и мастер, и все сделали так же, как и Азазелло — сплеснули несколько капель на кровавое мясо ростбифа, и оно от этого задымилось. Причем ловчее всех это сделала Наташа.

Спирт ли, выпитый мастером, появление ли Азазелло, но что-то, словом, было причиной изменения настроения духа мастера и его мыслей.

Он почувствовал, что становится весел и бесстрашен, а подумал так: «Нет, Маргарита права... Конечно, передо мной сидит посланец дьявола... Да, ведь я же сам не далее как ночью позавчера говорил Ивану Бездомному о том, что встреченный им именно дьявол. А теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях! Да какие же, к черту, они гипнотизеры! Дьявол, дьявол!»

Он присматривался к Азазелло и понял, что в глазах у того есть нечто принужденное, какая-то мысль, которую тот пока не выдает.

«Он не просто с визитом, — подумал мастер, — он приехал с поручением».

С. 72. — С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду. — Эту главу романа Булгаков писал в сентябре 1934 г., когда свежи еще были в памяти печальные события лета — отказ властей в поездке за границу. На Булгаковых отказ произвел сильнейшее впечатление, и они долго после этого не могли оправиться. Характерно, что Булгаков настаивал на совместной с Еленой Сергеевной поездке. В жалобе на имя Сталина, написанной после отказа 10 июня 1934 г., Булгаков мотивировал совместную поездку тем, что страдает истощением нервной системы и боязнью одиночества, и это полностью соответствовало действительности. Но был и другой принципиальный момент — Булгаков хотел знать, доверяют ли ему, или по-прежнему считают человеком неблагонадежным. Об этом запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 3 января 1934 г.:

«...М. А., при бешеном ликовании Жуховицкого, подписал соглашение на «Турбиных» с Лайонсом (американский журналист. — В. Л.).

— Вот поедете за границу, — возбужденно стал говорить Жуховицкий. — Только без Елены Сергеевны!..

— Вот крест! — тут Миша истово перекрестился — почему-то католическим крестом, — что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне в руки паспорт вложат.

— Но почему?!

— Потому что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложников за себя».

Милосердия! Милосердия!

Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. — Волхонка — улица, на которой был расположен грандиозный Храм Христа Спасителя, взорванный в 1931 году.

С. 73. ...бледнея от злобы, поднял бле... — В этом месте вырваны листы, вероятно, текст был впечатляющим.

— Я уж давно жду этого восклицания, мастер. — Впервые за семь лет работы над романом его главный герой назван «мастером».

Ссора на Воробьевых горах

Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся. — В следующей рукописной редакции:

«Воланд сделал повелительный жест, и свита отошла.

— Ну что же, — спросил Воланд у мастера, — вы все еще продолжаете считать меня гипнотизером, а себя жертвой галлюцинации?

— О нет, — ответил мастер.

— Так в путь! — негромко сказал Воланд.

И тогда черные кони обрушились на террасу, ломая копытами плиты».

С. 74. И кони тут же снялись и скачками понеслись... — Иной конец главы в машинописной редакции романа 1938 г., резко отличающийся от первоначальных рукописных редакций и последнего варианта. Вот этот текст:

«— Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счета оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело.

Тут вдалеке за городом возникла темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. Два-три мгновения, точка эта сверкнула, начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух.

— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротою точку и добавил: — **У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело** (выделено мною. — В. Л.), и вообще все кончено здесь. Нам пора!»

Кстати, этот текст не был изменен или изъят автором и при доработке последней редакции, поэтому остается загадкой, кто же вместо Булгакова написал концовку этой главы при издании романа в шестидесятые годы.

●

Публикация глав романа и комментарии ВИКТОРА ЛОСЕВА



Воспетое Слово

Перечень авторов этой книги, нередко безымянных, обилен и славен: от гениальных Кирилла и Мефодия, Иоанна Экзарха до Иосифа Брадатого и Паисия Хилендарского. В ней почти 80 фрагментов или самостоятельных литературных произведений. А сколько просто не «вместились»!

В Книгу мироздания вошли труды Экзарха «О видимых творениях», «О водах», «О человеке». Рядом — «Описание человеческого тела» и другие философские труды старых мыслителей-славян. Книгу письмен составили: «Пространное житие Кирилла», «Повесть о Мефодии», «Краткое житие Кирилла», а также «Слово о пользе книг» Пресвитера Козьмы, «Сказание о буквах» Черноризца Храбра, «О славянском языке» Исаии Серского. В Книге былого — работы Тудора Доксова, «Летописные заметки XVI— XVIII веков» Владислава Грамматика, «История славяно-болгарская» Паисия Хилендарского. Исторически точны материалы Книги борьбы, посвященные неугасимой, широкой и страстной общественной борьбе в средневековой Болгарии. И здесь представлены сочинения Козьмы, а также «Поучения» Иосифа Брадатого, «Сказание о Николе Софийском» Матея Грамматика. В Книге судеб мы встречаем снова Кирилла — «Молитва Григорию Богослову» и Мефодия «Из канона Димитрию Солунскому». Особый интерес представляет работа неизвестного автора «Народное житие Ивана Рильского». И заключительный раздел — Книга Досуга. Это — ярчайшая россыпь спелых плодов художественной фантазии! Во многих «новеллах» — совершенно реальный человек. Многотемность поразительна: интерпретация Гомерова эпоса и древние буддийские легенды, языческие гадания и жизнь Эллады, волшебство народных сказок и тайны византийского двора...

И еще: в книге воспето Слово. Прочтем, что пишет книжник из XIV века монах Виссарион: «Всякая слава человеческая — как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово пребудет из рода в род».

Л. НИКОЛАЕВА

РОДНИК ЗЛАТОСТРУЙНЫЙ: ПАМЯТНИКИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ IX—XVIII ВЕКОВ: Сборник. / Пер. с болг. и сост. И. Калиганова и Д. Полывянного. — М.: Худож. лит., 1990.

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

Князь мира сего

— Что же это значит? — спросил студент.

— Это значит, что змея меняет кожу, но сама от этого не меняется, — устало потянулся Максим. — Я эту эмблему нарочно придумал. Чтобы они знали, что я их тоже знаю.

— Кто это — они?

— Те самые, — ответил комиссар, — кого раньше называли бесами, чертями и ведьмаками.

— Хорошо, — сказал Борис. — Значит, вы расстреливаете революционеров и брешете, что они контрреволюционеры.

— Дело в том, — ухмыльнулся доктор социальных наук, — что, согласно диалектическому закону о единстве противоположностей, революционеры и контрреволюционеры — это одно и то же.

— Как же так?

— Очень просто. Настоящие революционеры — это перманентные революционеры. После революции они продолжают беситься, но на этот раз уже против нового революционного режима — и таким образом становятся контрреволюционерами. Потому после революции, согласно второй части марксистской диалектики — насчет борьбы противоположностей — всех революционеров нужно сразу же перестрелять, как бешеных собак! Понял?

— А сколько ты сегодня водки выхлестал? — спросил младший.

— Ну вот, — обиженно бормотал старший. — Я растолковываю ему сущность марксизма, а он не понимает... Мне сам Сталин верит... А этот дурак не верит...

Постепенно кровавый разгул НКВД охватил всю страну. Хватали всех, но больше всего хватали партийцев. Ежовые рукавицы нового наркома НКВД Ежова подметали почти подряд всех руководителей партийных и советских органов в областях, городах и районах. Назначат новых начальников. А потом, глядишь, уже и этих новых арестовали. Казалось, что советская власть не то кусает себя за хвост, не то меняет кожу.

Вместе с врагами народа нередко арестовывали и членов их семей. Чем выше к власти стоял арестованный, тем чаще вместе с ним исчезали его жена и дети. Жен ссылали, а детей отправляли в специальные детдома.

Отец Руднев был на редкость добрым человеком. По вечерам он любил долго пить чай и читать газету. В открытое окно на свет летели мухи и падали ему в чай. Отец вылавливал муху ложечкой, выносил на балкон и делал мухе искусственное дыхание: дул на нее до тех пор, пока она не улетала. Это был действительно человек, который мухи не обидит. Теперь же, читая газеты с описаниями кровавых подвигов НКВД, он старался не смотреть на Максима, сидевшего напротив него в генеральской форме НКВД.

— А в чем виноваты жены арестованных? — бормотал отец в седые усы. — Или маленькие дети?

Комиссар госбезопасности посмотрел на отца красными от бессонницы и водки глазами:

— Послушай, ты вот доктор-гинеколог, а я — доктор социологии... Скажи, неужели ты, гинеколог, не знаешь, что эти... так сказать, черти могут жениться только на этих... так сказать, чертовках? — он поморгал белесыми ресницами. — Неужели ты, гинеколог, не знаешь, что вместо детей у них рождаются эти... так сказать, чертенята?

Отец сидел и делал вид, что не слышит его слов.

— Потому в свое время инквизиция и жгла эту нечисть целыми семьями, — сказал Максим. — Ну вот, и сейчас та же история...

Доктор гинекологии недовольно хмурился, а доктор социологии доказывал:

— Вот, например, старший брат Ленина, Александр, был повешен за покушение на Александра 3-го. Если бы тогда своевременно почистили всю эту семейку, то не было бы потом и Ленина. Кстати, в этом же самом заговоре участвовал и некий Бронислав Пилсудский. Если бы тогда почистили всю семью этого Бронислава, то... в общем, не было бы маршалека Иосифа Пилсудского, который был младшим братом этого Бронислава. А поскольку этого не сделали, то во время русско-японской войны этот Иосиф стал вождем польских социалистов, попрошайничал деньги у японцев, занимался бандитизмом и в конце концов стал диктатором Польши. Сначала он гадил царю, а потом и Ленину, и Сталину. Потому мы теперь стараемся не повторять ошибок царского правительства. У нас подход сугубо научный. Социальные болезни нужно не только лечить, но и предупреждать их. В превентивном порядке.

Вскоре прокатилась волна арестов среди руководителей животноводческих совхозов, зоотехников и ветеринаров. Их обвиняли в организации массового падежа скота.

— Эй ты, чернокнижник, — сказал Борис. — Неужели ветеринары травили коров!?

Вместо ответа Максим достал с полки книжку и ткнул пальцем:

— Читай!

«Многие особы... предались дьяволам... и путем колдовства, — читал Борис, — путем отвратительных деяний и ужасных преступлений убивали... вьючных животных, стадных животных, а также других животных...»

— Откуда это?

— Это булла папы Иннокентия 8-го.

Дальше стояло:

«Эти негодники причиняют страдания и мучают... животных ужасными и достойными сожаления муками и скорбными болезнями, как внутренними, так и внешними».

— Видишь, — сказал комиссар. — Нужно только знать историю.

Недалеко от их дома был парк ДКА. А в этом парке был старичок-сторож и ослица, на которой он возил дрова и опавшие листья. Теперь арестовали и этого сторожа. Говорили, что он с этой ослицей немножко блудничал. Ну ему и пришили подрыв социалистической экономики.

Официально в НКВД числилось двенадцать отделов. Перепившись, Максим хвастался, что его 13-й Отдел настолько засекречен, что о нем не должны знать даже работники остальных двенадцати отделов.

Решение о чистке было принято на заседании Политбюро 13 мая 1935 года. Но Максим уверял, что все планы чистки были подготовлены его Научно-исследовательским институтом, а общее руководство возложено на его 13-й Отдел НКВД.

— Уж слишком многих вы хватаете, — укоризненно говорил отец.

— Это сложная социальная операция, — оправдывался доктор социальных наук. — Как гангрена. Или рак. Приходится вырезать по живому мясу.

— Боже, — вздыхала мать. — Какой ужас!

Видя, что отец и мать против него, и что их не переубедишь, Максим больше всего откровенничал с младшим братом. Потому, чем дальше развивалась чистка, тем больше Борис убеждался, что Максим явно помешался.

Когда после революции составляли новый Уголовный Кодекс СССР, то все политические преступления подвели под 58-ю статью этого кодекса. Таким образом, все жертвы чистки, все враги народа теперь подпали под эту 58-ю статью.

А Максим, помешавшись на своей средневековой кабалистике, говорил:

— Бобка, а ты знаешь, что означает 58-я статья?

— Что?

— А вот сложи 5 плюс 8... Сколько это будет?

— 5 плюс 8... Тринадцать.

— Ну вот, видишь... Тринадцать! Это не случайно, а нарочно — символика. Те, кто составлял этот кодекс, знали, что почти все политические преступления идут от этого корня.

— Какого корня?

— От луны.

Конечно, такую вещь может сказать только сумасшедший. Но уполномоченный Сталина по делам нечистой силы спокойно доказывал свое:

— Смотри, Бобка... Ведь в нашем теперешнем календаре двенадцать месяцев взяли искусственно, просто ради удобства. А раньше существовал как бы естественный лунный календарь — из тринадцати месяцев. Так как в году тринадцать новолуний. Примитивные народы так и говорили: не пять месяцев, а пять лун. Да и русское слово месяц по календарю одновременно означает месяц — луна.

— А при чем здесь 58-я статья?

— А ты, дурак, слушай и не перебивай... Сначала люди поклонялись солнцу. Как животворящему началу. Как символу жизни. А потом... — тут советский доктор Фауст поднял палец. — А потом некоторые люди пошли в оппозицию и стали поклоняться луне. Как началу неживотворящему, холодному, мертвому.

Борис согнулся над учебником по политэкономии и сказал:

— Ну и пусть себе поклоняются.

— Да, но дело не так просто, — сказал комиссар госбезопасности. — Луна была для них символом не жизни, а смерти. И у них были особые причины интересоваться не жизнью, а смертью. А поскольку в году тринадцать лун, то они стали собираться в кружки из тринадцати человек. Отсюда и пошла вся эта символика про чертову дюжину.

— Ну и черт с ней! — сказал Борис.

— Э-э, не-е-ет, — покачал головой начальник 13-го Отдела НКВД. — Это не просто люди, это специальные люди... Это те самые, кого в средние века жгли, как ведьм и колдунов... И это же те самые, которых теперь ликвидируют, как врагов народа. Ведь это я посоветовал Сталину этот термин — враг народа. А ты думаешь, я этот термин с потолка взял? Не-е-ет...

Максим полез в кучу какой-то библейской литературы и стал показывать. Там часто встречались отчеркнутые красным карандашом слова: «враги рода человеческого».

— Видишь! — сказал комиссар. — Вот откуда эти враги народа. Ничто не ново под луной. Нужно только знать историю.

Потом доктор социальных наук опять принялся бредить, что самым главным врагом рода человеческого является сам сатана, что он виновник почти всех зол и бед рода человеческого, начиная от простейших разводов мужа с женой и кончая кровавыми войнами и революциями.

— А где же он обитает, этот сатана? — спросил Борис.

— Вот тут! — Максим похлопал себя по лбу. — И тут! — он похлопал себя еще по другому месту. По такому, что и говорить неудобно.

Потом он тяжело вздохнул:

— Это величина сугубо философская. Но если знать этот секрет, то можно разгадать все тайны человеческой души. Можно читать прошлое — и будущее.

Когда-то Борис слышал, что есть какая-то связь между гениальностью и безумием. Теперь он смотрел на Максима и думал: гений он — или сумасшедший?

Весной от родителей Ольги пришло из Березовки письмо, где они с прискорбием сообщали, что маленькая дочурка Максима заболела воспалением легких и умерла. Узнав печальную новость, мать заплакала:

— Боже мой, ведь такой хороший ребенок был, такой здоровенький.

Максим хмурился и молчал.

— Ты на похороны поедешь? — спросила мать.

— Нет.

— Неужели тебе не жалко собственного твоего ребенка?!

— Конечно, жалко, — горько сказал Максим. — Но так лучше...

— Что лучше?

— То, что она умерла ребенком.

— Максим, как тебе не стыдно! — воскликнула мать.

— Уже при рождении она была обречена на смерть, — тяжело вздохнул комиссар и закрыл рукою глаза. — Так лучше для нее и для всех...

Несколько минут он сидел молча. Потом, не поднимая головы, глухо спросил:

— Мать, когда я родился... вы меня крестили?

— Конечно, — ответила мать.

— А я ее не крестил... Я дам тебе мою машину... Поезжай в Березовку... Покрести ее хоть после смерти...

Сквозь пальцы комиссара на стол упала тяжелая мужская слеза:

— Закажи панихиду... Сделай все, чтобы спасти хоть ее душу...

Глава 5

Где ничто ничтожит

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

Иоанн 8, 44

Когда Максим только еще начинал свою карьеру в НКВД, он частенько хвалился, что работает вместе со знаменитой чекисткой Зинаидой Генриховной Орбели. Прославилась она тем, что будучи из старого дворянского рода, не то княжна, не то полукняжна, в возрасте 17 лет она сбежала из Смольного института благородных девиц и пошла работать в ЧК, где собственноручно занималась расстрелами. Да так, что про нее распевали песню:

Эх, яблочко, куды котишься?
В лапы к Зинке попадешь — не воротишься!

Одно время она была начальником губернского ЧК и в порядке классовой сознательности расстреляла даже собственных родителей. Причем собственноручно. Потом ее жестокости оказались слишком даже для ЧК, и ее самое чуть не расстреляли. Но за нее вступился сам Троцкий, и, ссылаясь на пролетарскую гуманность, это дело как-то замяли.

Наслышавшись про ее подвиги, Борис очень удивился, когда встретил Зинаиду Генриховну в первый раз. Это была очень приятная молодая женщина с красивым лицом и умными глазами, высокая и стройная, с быстрыми и уверенными движениями холеных рук и с энергичной пружинистой походкой. Даже чувствовалось, что она, действительно, что-то вроде княжны из института благородных девиц. Но эта девица была в военной форме, а на малиновых петлицах хищно поблескивали остренькие ромбы — генерал НКВД.

Потом Борис часто встречал ее на новой квартире Максима. Она заботливо помогала Ольге по хозяйству или

Продолжение. Начало в №№ 5—7/1991.

трогательно нянчилась с ребенком. Иногда Ольга возила ребенка в коляске по Петровскому парку, а рядом прогуливалась Зинаида Генриховна и несла бутылочку с молоком. Иногда вместе с ними прогуливался и брат Зинаиды Генриховны — чудаковатое существо, которое все называли «героем Перекопа».

Говорили, что во время гражданской войны он был командиром кавалерийской дивнзии или корпуса и прославился невероятной храбростью. Но при взятии Перекопа его контузило в голову и повредило мозги. С тех пор он жил на особой пенсии Совнаркома и чудил. Другого за такие фокусы давно бы посадили, но ему, как герою Перекопа, все сходило безнаказанно.

За особые заслуги перед советской властью ему подарили целый барский особняк, где он жил один в двадцати пяти комнатах. Правда, в одной из комнат он держал своего старого боевого друга — белую кобылу. Кроме того, он заставлял всех обращаться к нему не по имени и отчеству, а звать его героем Перекопа, говоря, что это его титул, пожалованный ему советской властью. На другое имя он просто не отзывался.

Когда герой Перекопа вышагивал по улице, его всегда сопровождала стайка любопытных мальчишек в ожидании, что он выкинет какое-нибудь новое антраша. В свое время этим занимался и Борис. Зато взрослые, наоборот, недолюбливали героя Перекопа и старались не замечать его.

Если Зинаида Генрихоана выглядела очень красивой, то ее братец был зато на редкость безобразен. Это была точная копия батьки Махно, как его показывали в фильме «Красные дьяволята». Ростом он был с карлика и потому всегда носил специальные, сделанные на заказ сапоги с высокими, почти как у женщин, каблуками и лакнрованными голенищами. После фронтовых ранений одна нога была у него короче другой и не сгибалась. Потому он весь был какой-то перекошенный и сильно хромал. Лицо у него было такое бледное и бескровное, как у покойника. А на этом белом лице глаза черные и колючие, как гвозди. Голову героя Перекопа украшала высоченная копна черных, как сажа, и жестких, как проволока, волос, которые спадали ему до плеч, как львиная грива. Одни говорили, что после контузии малейшее прикосновение не только к черепу, но даже и к волосам вызывает у него мучительные головные боли. Потому он не стрижется и даже зимой ходит без шапки. Другие уверяли, что герой Перекопа, наоборот, целые дни просиживает в парикмахерской, и что его необычайная шевелюра всегда тщательно расчесана, напомажена и надушена, и что у него даже шестимесячная завивка перманент. Потому некоторые считали, что он отпустил себе такую гриву нарочно, — чтобы казаться выше ростом.

Помимо всего прочего герой Перекопа еще изобрел себе свою собственную фантастическую военную форму: ярко-красные кавалерийские галифе с кожаной середкой и ярко-синяя гимнастерка с кавказским наборным пояском из черненого серебра и перекрещенными на груди ремнями. Слева у него болталась кривая кавказская шашка в серебряных ножнах, а справа — огромный маузер в деревянной кобуре и с золотой дощечкой — почетное золотое оружие Реввонсовета.

В общем, когда герой Перекопа шел по улице, то на него было страшно смотреть. Но после того, как он несколько раз поднимал пальбу из маузера по воробьям и гонялся за мальчишками с обнаженной шашкой, его потихоньку разоружили. Маузер у него отобрали и оставили только пустую кобуру с золотой дощечкой. А шашку заклепали так, что она не вынималась из ножен.

Когда у героя сдохла его старая боевая подруга — белая кобыла, — он устроил ей похороны с военным духовым оркестром, похоронил ее у себя в саду и поставил мраморный памятник, на котором были лавровые венки и приспущенные знамена. Памятник этот он привез с какого-то подмосковного кладбища, с могилы какого-то царского генерала.

Потом, взамен белой кобылы, герой Перекопа купил себе огромный мотоцикл, отвинтил глушители и носился на нем с таким шумом и грохотом, что окрестные старушки только крестились: «О Господи, опять этот чер-р-рт на своем драндулете катается!» Мотоцикл у него отбирать не пришлось, так как вскоре он разбился в лепешку вместе с мотоциклом.

Окрестные старушки надеялись, что герой Перекопа наконец-таки околеет. Но он выжил. Выходила его Зинаида Генриховна, которая ухаживала за своим прославленным братцем, как за малым ребенком, и кормила его с ложечки до тех пор, пока он опять не встал на ноги. А как только встал, опять принялся чудить еще пуще прежнего.

Когда началась Великая Чистка, герой Перекопа стал выходить из моды. Сначала у него отобрали дом. Тогда он переселился в соседнюю гостиницу и привез туда с собой только две вещи: огромный концертный рояль, на котором он не умел играть, и свой собственный портрет размером во всю стену, верхом на белой кобыле и с шашкой наголо. Весь день он сидел у рояля, бренчал двумя пальцами что-то никому не понятное и любовался на свой портрет.

Потом герой Перекопа вдруг исчез. Поговаривали, что его посадили за портрет. Нельзя вешать такой большой собственный портрет в стране, где есть более великий человек. В этом усмотрели оскорбление Сталнна. Вместе с героем Перекопа исчезла и его сестра Зинаида Генриховна. Говорили, что она занималась в НКВД вредительством: расстреливала не тех, кого надо, а наоборот, то есть по заданию троцкистско-зиновьевского террористического центра.

— Макс, — сказал Борис. — А за что посадили героя Перекопа?

— За дело, — буркнул комиссар госбезопасностн.

— Значит, ты сам не знаешь, — поддел младший.

— Я — и не знаю!? — вскипел тот. — Так ведь это же я его и посадил.

— А за что? — допытывался младший.

И тут Максим рассказал довольно невероятную историю. Оказывается, герой Перекопа никаким героем не был, а Перекопа он и в глаза не видел. В действительности он когда-то был парикмахером и актером-любителем и страшно любил выступать на сцене в героических ролях. А потом он взял и выдал себя за героя Перекопа.

— Ну, значит, хороший артист, — сказал студент. — И глупая ваша советская власть, если ее так просто обмануть.

— Все это далеко не так просто, — сказал комиссар.

Оказывается, когда-то герой Перекопа, действительно, существовал. Но это был совсем другой человек. И человек, действительно, безумной храбрости. Такой храбрости, что даже когда гражданская война окончилась, герой все продолжал воевать и громил все направо и налево. До тех пор, пока его не посадили в ЧК. Там выяснилось, что когда-то он принадлежал к партии анархистов-максималистов, которые имели свою штаб-квартиру в Швейцарии. Потом он в процессе революции примкнул к большевикам.

Продолжение в следующем номере.

ИВАН ИЛЬИН

За национальную Россию

МАНИФЕСТ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ

21. О сопротивлении злу силою

Нельзя сделать людей насильно честными и добрыми. Совершенствование души есть дело *свободы, любви и очевидности*. Ни приказ, ни принуждение, ни запрет, ни угроза, ни наказание — этого не достигнут. Христианину это ясно без доказательств.

Но это не значит, что право «не нужно», что государство правит «насилием», что суд есть дело «греховное», а наказание нравственно недопустимо (как думают непротивленцы во главе с Л. Н. Толстым).

Отвергнуть право — значит отвергнуть мирное и справедливое размежевание человеческих притязаний. Отвергнуть право — значит разрушить все человеческие организации и водворить повсюду хаос и резню. Кто от чрезмерной «святости» отвергает право, тот дает людям возможность сложить с себя всякие обязаниости и попрать чужие полномочия: он должен понять, что его святошничеством воспользуются злоумышленники...

Государство держится совсем не насилием, а *правовым авторитетом, живым правосознанием* граждан, их *добровольной «лояльностью»*. Нелепо думать, что в государстве все всех ко всему принуждают. Сила пускается в ход редко; огромное большинство людей не нуждается в ее применении. Суднтся в судах и наказывается самое небольшое меньшинство граждан. Отожествлять государство с насилием могут только наивные люди или же отъявленные хитрецы.

Суд и наказание необходимы: они укрепляют и воспитывают человеческое правосознание. «Не судите» сказано не государству, а подозрительному и злоязычному человеку; это сказано о нравственном суде, а не о юридическом. И Христос сам не уклонился от суда, зная, что этот суд будет злостный и жестокий.

Государство призвано сопротивляться злу силой. Его призвание не в том, чтобы проповедовать добро и вызывать в человеческих душах умиление, — это призвание семьи и церкви, — но в том, чтобы пресекать противозаконные и злые дела всюду, где это необходимо. К этому деятельность государства *не сводится;* но это пресечение несомненно входит в его обязаниости. Отказаться от этого значило бы предать слабых на угнетеиие или на растерзание сильным; или же предать свой народ на порабощение и эксплуатацию иностранцам. Человек имеет право прощать *свои* обиды, но не чужие страдания. Он имеет право жертвовать *собою* и *своим* имуществом, но не своими братьями и не своей родиной.

Само собою разумеется, что это сопротивление злу силою может стать обязательным не только для людей, находящихся иа государственной службе и пресекающих его от лица государства, но и для каждого из нас в повседневной жизни. Однако человек *имеет право* противопоставить злодею свою силу, не тогда, когда ему этого *хочется*, а тогда, когда он чувствует, что при данном положении вещей он *призван* к этому и *нравственно обязан* это сделать. В этом случае *долг есть мерило права*.

Но и а этом случае человеку *естественно* (а может быть, даже и *неизбежно*) почувствовать в своей душе некоторый осадок злобы, ожесточения, отвращения или ненависти, вызванный этим необходимым и обязательным поступком и отравляющий его душу («как будто я в чем-то испачкался», или «огрубел», «озверел», или «грех на душу принял»). Тогда он призван *очистить свою душу покаянием*. Не раскаянием в том, что он совершил, квк если бы он совершил что-то недолжное, запретное или греховное, в чем ему хотелось бы дать теперь зарок: «никогда больше не совершу этого» или «я не смел поступать так и впредь этого не повторится», но раскаянием в тех *злых страстях*, которые живут в нем и вот, пробудились от этого верного поступка и замешались в это необходимое дело. Тогда человек говорит о себе: «Поступив так, я был прав; я не должен был иначе поступать и не смел иначе действовать; и если впредь случится подобное, то я опять поступлю так же; но душа моя от этого замутилась, соблазнилась и ожесточилась; она вложилась в это дело не только своими благими силами, но и злыми; и эти злые силы моей души нуждаются в покаянном очищении»...

После международных войн, гражданских войн, смут и революций такое покаянное очищение души надо проводить всецерковно и всенародно, — и для тех, кто участвовал в «смутном воровстве», и для тех, кто «верно служил и прямил» родине: дабы состоялось умягчение души и «всепрощение», и люди «пришли в чувство и правду»*.

22. О верном компромиссе

Такова земная жизнь человека и христианина. Он всегда должен по совести хотеть лучшего; но он должен помнить, что есть множество положений в жизни, из которых *нет праведного исхода*, и что во всех этих случаях необходима *внутренняя честность с самим собою*.

Многие людн поступают так: всю жизнь лоако грешат

* *Окончание. Начало в №№ 4—7/1991.*

* Выраженкя Зэбелина. См. «Минин и Пожарский. Прямые к кривые в смутное время», стр. 126.

в свою пользу; а когда придет опасность и потребует волевого подвига, тогда они вспоминают о праведности и о «нравственном совершенстве» и начинают разводить фальшивое и сентиментальное ханжество. В результате они оказываются жизненными дезертирами и прославляют впоследствии мнимую «чистоту своих риз».

Человек с религиозным и сильным характером *не уклоняется от компромисса, когда этого требует его служение:* он принимает решение и совершает поступок, — защищает слабого и больного, обличает предателя, доносит на торговца живым товаром; он дерется с нападающим убийцей, отстаивает правое дело в гражданской войне, сражается за родину на фронте. Все это есть *отступление от праведности* и потому — компромисс. Но этот компромисс не компрометирует его; ибо это отступление — *бескорыстное, вынужденное, жизненно верное;* и, что особенно важно, — оно не отрывает человека от Бога и не заглушает в нем голос совести. *Молитва* связует его с Богом; *покаяние* очистит его от злых страстей; *совесть* восстановит в нем волю к нравственному совершенству; а сознание того, что компромисс его не был корыстным, что он был принят не ради личной карьеры, а *в порядке служения,* — позволит ему не стыдиться перед своей совестью и перед людьми: уважение к себе не будет подорвано и чувство собственного духовного достоинства останется непоколебленным.

Все это можно выразить так: благая цель *не оправдывает* и *не освящает* дурных средств, никогда и ни в чем. Человек нередко оказывается в таком жизненном положении, при котором самая искренняя и глубокая воля к *верной цели* и к *чистым средствам* встречается с *практической безысходностью:* нет таких средств, которые были бы столь же верны и чисты, как сама цель. Тогда ему остается только два выхода: или предать свою цель, или прибегнуть к нравственно-неправедному, «нечистому» средству. Для благородного и нравственно-чуткого человека такое положение является всегда *трагическим,* и душа его может оказаться в состоянии мучительного колебания и нерешительности.

Во всех таких случаях исход надо находить, руководясь следующими основаниями.

Во-первых, надо окончательно удостовериться в том, что других, нравственно-чистых средств действительно нет. Иногда человеку дается для этого кратчайший миг: напр., в случае насилия над слабым или в случае необходимости тотчас же пресечь злую интригу.

Во-вторых, надо отдать себе ясный отчет в явной недоброкачественности этого средства и попытаться облагородить его или свести его дурную природу к возможному минимуму: ибо прямой и храбрый путь всегда лучше кривого и трусливого, и всюду, где жестокость не необходима, она всегда должна быть избегнута.

В-третьих, надо проверить в душе своей, не своекорыстие ли ведет ее к этому дурному средству; и не тайная ли порочная склонность ко злу тянет душу на этот путь; и не потому ли это средство кажется *необходимым* и *единственным,* что оно есть субъективно желанное...

В-четвертых, надо понять, что *благая верность цели никак не может передаться дурному средству.* Нравственное качество средства измеряется не *целью,* а особым *суждением совести;* и если совесть свидетельствует, что средство неправедно, нечисто, несовершенно, то жизненная целесообразность не может изменить в этом *ничего.* Может оказаться, что дурное средство вынужденно, и тогда к нему надо обратиться; но никогда и никак не может оказаться, что вынужденное дурное средство стало благим или праведным. Жизненная целесообразность средства и его нравственное качество — суть два совершенно различные свойства; их нельзя ни смешивать, ни подменять.

Нравственное дурное средство останется при всех условиях дурным. Следовательно, поступок окажется *жизненно-необходимым и верным, но неправедным;* и *нравственный компромисс* будет налицо. Есть немало прекрасных, мужественных и сильных людей, которые совершают такие поступки.

Но именно потому, в-пятых, нельзя закрывать себе глаза на природу таких средств и поступков. И после каждого жизненно-необходимого и «предметно обоснованного» компромисса всякому человеку, а особенно христианину — необходимо подумать об очищении своей души.

Компромиссами живут все люди. Но я разумею здесь *только предметно обоснованные компромиссы.* Очищение души необходимо и после них, иначе душа снизится и очерствеет от того потока лжи, обмана и жестокости, через который ведет нас жизнь.

Итак, целесообразность или жизненная необходимость какого-нибудь средства не делают его ни добрым, ни «оправданным», ни «освященным». Христианину предоставлена *внутренняя и внешняя свобода* воздерживаться от жизненных компромиссов или решаться на них. Но эта свобода всегда предполагает ответственность человека за свое решение и за свой поступок.

23. О свободе

Если кто-нибудь требует свободы или призывает к ней, то он обязан точно сказать, *кто* должен быть свободен и *от чего* он должен быть свободен. Ибо свобода *всех* от *всего* привела бы только к общему разнузданию, разврату, поножовщине, хаосу и гибели.

Мы признаем и чтим свободу потому, что молиться, любить, творить, иметь убеждение, исследовать, совершать совестные поступки и строить семью — человек может только *сам, изнутри, по собственной инициативе, добровольно.* Все попытки предписывать, заставлять или принуждать в этих областях вредны и бессмысленны. Вот почему человеку необходима свобода сердца, веры, совести и воззрений. Человек не механизм, а организм. Жизнь — как сад: она растет сама. А власть — как садовник: она может и должна только направлять этот свободный рост.

Это не значит, что все, что люди делают в этих областях жизни, одинаково хорошо, и что им надо предоставить безграничную свободу. Преступное должно быть оговорено, запрещено и подвергнуто пресечению и наказанию. Злое и растленное должно быть решительно и сурово остановлено в своих *внешних* проявлениях; но *внутренно* — оно должно воспитываться и преображаться в свободном общении.

Однако, получая эту внутреннюю *свободу духа* (свободу исповедания, любви, творчества, исследования и воззрений), — человек призван не к тому, чтобы злоупотреблять ею, но чтобы *верно, предметно наполнить ее и осуществить ее в жизни.* Свобода веры не есть свобода изуверства. Свобода любви не есть право на разврат или извращение. Свобода творчества не есть свобода лени или безответственного произвола. Свобода исследования не есть свобода шарлатанства, лжи и фальсификации. Свобода воззрений не есть право на притворство, на продажность, соблазн или совращение глупых, необразованных или малолетних. Кто *так* понимает свободу духа, тот заслуживает того, чтобы у него ее отняли.

Свобода духа дается человеку именно для того и только для того, чтобы он *сам* освободил себя *внутренно* от звериного инстинкта, от порочных страстей, от дурного произвола и всяческих непредметных пристрастий. Свобода совести не есть свобода от совести. Свобода убеждений не есть беспринципность. Свобода питания не есть оправдание обжорства или пьянства.

Итак, свобода духа дается человеку только для того, чтобы он освободил свою *волю* от злых влечений и созрел к *христианской свободе:* к свободе самостоятельного, ответственного, совестного служения делу Божьему на земле (к этой свободе люди, конечно, могут приближаться и в нехристианских исповеданиях).

И вот *политическую свободу* (свободу публичного слова, печати, собраний и участие в выборах) можно и должно предоставлять только тому, кто словом и делом показал, что он воспитывает себя к такой свободе воли и преуспевает

в этом. Именно поэтому политическая свобода не дается сумасшедшим, преступникам и малолетним. Именно поэтому ее нельзя давать пьяницам, морфинистам, людям зазорных профессий, дезертирам, взяточникам и всем осужденным по суду чести. И именно поэтому ее нельзя предоставлять людям, проповедующим *безбожие,* исповедующим *религию зла,* приверженным к учениям *ненависти, мести и зависти,* отвергающим *право и государство,* подрывающим основы родины, чести, совести и дисциплины.

Современная политика должна найти новые, жизненные мерила для политической зрелости гражданина и устранить незрелых или политически порочных от участия в политической жизни.

Только такое оздоровление духа и политики откроет людям верное разрешение вопроса о равенстве и справедливости.

24. О равенстве и справедливости

Люди от природы не равны: ни размером тела, ни здоровьем, ни полом, ни возрастом, ни красотою, ни силою, ни выносливостью, ни телесными потребностями. Они не равны и душою: ни восприимчивостью, ни отзывчивостью, ни памятью, ни умом, ни образованием, ни чувством, ни волею, ни творческим воображением, ни душевным здоровьем. Люди не равны и духом: они по-разному веруют и молятся; у них разные художественные вкусы. Мы не знаем двух одинаковых поступков, подвигов или преступлений. Мы знаем, что все люди единственны в своем роде и неповторяемы: мы знаем, сколь незаменимы для нас мать, жена, сын и друг; наше сердце всегда содрогается от разлуки, от невозвратности счастья и любви, от непоправимости всякой обиды, от смертности гениального человека...

Итак, люди *не равны.* Как же справедливость может требовать «равенства», т. е. *одинакового* обхождения с *неодинаковыми* людьми? Она этого и не требует. Напротив: справедлив человек тогда, когда ему удается обходиться *неодинаково с неодинаковыми* людьми, и притом — *соответственно их неодинаковости.* Справедливость требует индивидуализированного подхода к человеку, личного учета, приспособления; справедливость не отвлеченна и не механична — она *художественна* и *любовна,* она старается верно (предметно) рассмотреть каждого человека и указать ему в жизни верную (предметную) сферу свободы и права.

Итак: справедливость требует не «равенства», а *предметного неравенства.* Так, кому много дано, с того надо больше взыскивать; и это справедливо. Кому меньше дано, с того надо меньше взыскивать; и это тоже справедливо. Есть *справедливые привилегии,* напр., женщины не служат в солдатах; беременные женщины освобождаются от труда; налог должен быть подоходным и прогрессивным. Но есть и *несправедливые привилегии:* напр., если только богатые имеют право получать образование; или если богатому обеспечена безнаказанность по суду; если только членам коммунистической партии предоставляются все блага жизни; если одни фабричные рабочие имеют доступ к высшим должностям и т. д.

Поэтому *никогда не следует обещать народу равенство.* Нелепо и невозможно уравнивать людей в их естественных свойствах. Несправедливо и разрушительно уравнивать неодинаковых людей в их правах.

Чтобы люди переносили *естественное* неравенство, надо их воспитывать к *свободе от зависти.* Зависть есть один из главных источников злобы, вражды, мстительности, беспорядка и революции. Зависть разрушительна; она портит, вредит, отнимает, убивает. Она говорит: *«я, а не ты».* Напротив, жизненно и созидательно *соревнование:* «и ты, и я; посмотрим, кто лучше, а кто победит, тому не завидуй». Никогда не надо смотреть на то, чего у меня *нет,* а у других есть; надо смотреть на тех, кто беднее: ибо у них многого нет, что у меня имеется. Это есть первое средство против зависти.

Чтобы люди переносили *правовое* неравенство, надо им объяснять, что *несправедливый* порядок лучше, чем *несправедливость всеобщего хаоса и резни.* Полной справедливости никогда не было на земле; при всяком порядке будет оставаться несправедливость. Но *пока есть порядок, с несправедливостью можно бороться.* А в революции и в гражданской войне царит голый произвол и с несправедливостью бороться нельзя: бессовестные грабят беззащитных и человек человеку волк.

Людей много. Каждый добивается своего. Как воздать каждому надлежащее? Как водворить всеобщую справедливость? Как найти эту желанную меру в жизни? Ведь люди обычно называют «справедливым» то, что им самим выгодно. Поэтому необходимо воспитывать в людях *чувство законности и чувство справедливости.* А для того, чтобы люди до поры до времени терпели неизбежные несправедливости жизни, нужна всеобщая твердая *уверенность,* что «мы все искренно желаем и честно ищем справедливости для каждого из нас».

Революция звала людей к равенству и создала великий обман: новое неравенство и всеобщее угнетение. Мы должны звать людей к иному. Мы говорим:

надо примириться с естественным неравенством людей;

надо свободно и добровольно признавать чужой ранг;

надо совестно, братски искать живой справедливости;

надо открыть дорогу таланту, личной инициативе и нравственно сильным, ответственным, качественным людям, преобладание которых было бы для всех убедительным и водительство коих говорило бы само за себя.

Только на этом пути нам удастся угомонить революционные страсти и воссоздать Россию.

25. О частной собственности

Может быть, ни в чем люди не воспринимают так болезненно отсутствие свободы и отсутствие равенства, как именно в сфере имущества.

Свободу творчества человек должен иметь и в области хозяйства. Человек хозяйствует из инстинкта самосохранения. А этот инстинкт есть начало *личное* и *самодеятельное.* Поэтому жизненны только те способы хозяйства, которые пробуждают и напрягают этот творческий инстинкт, а не пресекают и не подавляют его.

Именно частная собственность пробуждает и напрягает хозяйственный инстинкт и хозяйственное творчество человека; она дает человеку уверенность в том, что продукт его труда не будет у него отнят; она дает ему спокойствие и вызывает в нем волю к усердному и постоянному труду; человек начинает охотно «инвестировать» (облекать) свой труд в вещи, как бы доверять его им; его чувство прилепляется к «своим» вещам (любовь к своей земле, к мастерской, к библиотеке); его воля оживает и дышит как бы полной грудью; его воображение творит, создает, предвидит; его мысль ищет знаний и верно разрешает жизненные задачи; его тело работает до пота и крови. Но именно тогда-то и обнаруживается, что его *личный* инстинкт служит не только самому ему, но и семье, и роду, и обществу; и что от его *самодеятельности,* от его частной инициативы приходят в движение все силы и возможности народной жизни.

Отменяя частную собственность, социализм и коммунизм пресекают действие этого инстинкта; они подавляют его и делают его бесплодным. Поэтому они не жизненны и обречены на хозяйственный провал.

Христианин должен глубоко и верно продумать все это, ставя перед собой вопрос о хозяйстве. Человек создан личным, индивидуальным и самодеятельным; таков он *от Бога* и *от природы.* Изменить в этом что-нибудь — пересоздать человека — нам не дано. Но нам задано *воспитать* душу человека так, чтобы *опасные* стороны частиособст-

веннического строя (а следовательно, и капитализма) не влекли за собою противохристианских последствий.

Это значит взрастить в человеке *христиански-социальное понимание частной собственности.* «Спвсителен» не социализм, а творческое сочетание *свободы, всенародного братства и справедливости.* Здесь не может быть единого практического рецепта для всех стран и народов. Проблема должна быть разрешена для каждого народа в отдельности в порядке *национально-христианского* воспитания и верных реформ.

В душах надо укрепить: творческую заботу о том, чтобы не было неимущих и безработных; свободу от зависти и естественное братское доброжелательство; уверенность, что богатство не определяет человеческого достоинства; чувство общественной и нравственной ответственности за свою собственность; живое понимание, что всякий честный труд почетен; волю к общественной и национальной солидарности. В жизни надо утвердить три основы: *изобилие, качество продукта и щедрость.*

Только такое воспитание поможет людям найти новые формы частной собственности и установить законы, при помощи которых христианский дух преодолеет дурные формы и дурные последствия имущественного *неравенства.* Итак, частная собственность есть как бы естественное, необходимое *земное жилище* человеческого инстинкта и человеческого духа. Нельзя отнимать его. Но надо научить человека владеть им творчески и братски.

26. О национальной территории

Что для человека — частная собственность, то для народа и государства — его территория: *земное жилище национального инстинкта и национального духа.* Народ, творящий свое национальное дело, дело своей духовной культуры, нуждается в этом земном жилище, бережет его и обороняет. Это естественно и неизбежно. Народ призван владеть своей территорией в культурном и хозяйственном отношении, извлекая богатства из ее природы — и для себя, и для других народов. И если он не выполняет этого призвания, то он рано или поздно окажется неспособным и *оборонять ее. Культура духа, культура природы и оборона страны* связаны между собою глубокою связью, и эта связь бывает для народов судьбоносною.

Народ живет *не для земли и не ради природы.* Но он живет *на земле и от земли.* Ни одна великая культура не была создана кочевым народом или народом находящимся в рассеянии. Настоящая культура начинается с оседлой и совместной жизни. Территорию мало завоевать; ее надо освоить и культивировать. Право на нее приобретается не только воинственно пролитою кровью, но и ее хозяйственным и техническим приспособлением для жизни, а также ее искусною и упорною обороною. Тогда территория перестает быть пространством, условно ограниченным таможнями, но становится *творческим созданием народа.* Добытая кровью и трудом, волею и духом, она становится *национальным наследием, священным достоянием нации**.

Народ теряет территорию тогда, когда оставляет ее лежать «в пусте». Народ теряет территорию, когда в нем угасает воля к обладанию ею. Народ теряет территорию, когда он оказывается духовно, хозяйственно и стратегически бессильным для ее удержания.

Народ имеет право добровольно отказаться от ненужных ему кусков территории (так Россия уступила Аляску Северо-Американским Соединенным Штатам в 1867 г. за 7 200 000 долл.). Но народ имеет право *не отказаться* и от той территории, которая отнята у него силою оружия (так Италия не отказалась от Триеста и Триента и получила их вновь; так восстановилась трижды «разделенная» Польша и др.). Завоеватель должен всегда помнить, что история еще не сказала своего последнего слова; что занятие войсками и провозглашение «аннексий» часто бывает только *началом борьбы;* что насильственное присоединение территорий и народов может стать для самого завоевателя внутренним бедствием, историческим проклятием, началом конца (напр., присоединение Австро-Венгрией в 1909 г. Боснии и Герцеговины). «Завоевать» не значит освоить (достаточно вспомнить всех великих завоевателей начиная с Тутмоса I, Александра Великого, Аттиллы и Чингисхана и кончая Наполеоном); «присоединить» не значит удержать. Завоеванный народ может как бы пробудиться от сна именно вследствие временного завоевания (Пруссия при Наполеоне).

Каждый русский патриот должен знать и видеть свою национальную территорию и ее природу; он должен крепко продумать ее состав с исторической, политической и хозяйственной точки зрения. Он должен знать, как она слагалась в истории; какою ценою присоединялись к ней отдельные части; зачем каждая часть нужна России и что может означать для России ее утрата.

27. Национальная армия

Армия представляет собою *единство* народа; его мужественное начало; его *волю;* его *силу;* его *рыцарственную честь.* Так она должна восприниматься и самим народом.

В будущей России отношение народа к армии обновится и углубится. Народ не должен и не смеет противопоставлять себя — своей армии, как это было перед революцией: «мы рабочие, крестьяне, штатские, интеллигенция», а «они — военщина, орудие реакции, усмирители, опричники, янычары»... Это больное и позорное отношение исчезнет навсегда. На самом деле все обстоит иначе. Мы — это русский народ, со всеми его братскими меньшинствами; и в нем — наше почетное и ответственное, вооруженное и знаменами славы осененное волевое средоточие, *наша армия и наш флот:* наша сила, наша надежда, основа нашего национального существования. Кость от нашей кости, кровь от нашей крови, дух от нашего духа. Мы сами ее составляем. Ее победа — наша победа. Ее разложение — наша гибель. Она — воплощение нашей национальной рыцарственности; ограда нашей национальной целости и независимости.

Принадлежать к ней значит не «отбывать воинскую повинность», а осуществлять свое *почетное право и приобщаться национальной славе.* Воинское знамя есть священная хоругвь всего народа. Военный инвалид есть почетное лицо в государстве.

Русская армия всегда была школой русской патриотической верности, чести, дисциплины и стойкости. Самое воинское звание и дело заставляет человека выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу, овладеть собою, победить свой «страх» и сосредоточить свою выносливость, мужественность и храбрость. Армия невозможна без *самообладания и усердия.* Армия требует воинского качества. Она гасит в душах распущенность, лень и склонность к раздору. Она учит повиновению и ответственности. Она приковывает волю человека к воинской чести, а чувство единства и солидарности — к своей воинской части. Армия невозможна без характера, патриотизма и жертвенности. Ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».

Русскому народу предстоит изведать опять это радостное, искреннее, волевое единение со своей армией. Это даст армии настоящий расцвет, а русскому народу — настоящий закал характера. Тогда будут осмыслены все великие заслуги армии в создании России, от похода князя Игоря на половцев до последней европейской войны, от Александра Невского до Салтыкова и от Петра Великого и Суворова до наших дней. Тогда будут окончательно формулированы и признаны основы русской национальной стратегии и тактики, над которыми так ревностно работал всю жизнь генерал А. К. Баиов*. И тогда каждая из народностей России по-настоящему вложит в оборону своей единой родины — свою самобытную доблесть и военное искусство.

Дух народа станет духом армии, и обратно. А сама армия станет истинной школой патриотического служения, верного заветам ее великих вождей — князей, императоров и полководцев.

28. О монархии и республике

Какая государственная форма установится в России после революции, — мы не знаем. Мы не в состоянии предусмотреть и предопределить надвигающихся событий. Мы должны помнить, что мы всего-навсего незначительная часть русского народа и что за нами нет силы, которую мы могли бы противопоставить внутри-русской стихии и международным силам. Но мы знаем, что *мы примем Россию в момент падения большевиков такою, какова она будет к тому времени:* с переутомленной, измученной, ожесточившейся народной душой, с дезорганизацией повсюду, в состоянии всенародного оскудения и растерянности. Какая государственная форма будет тогда возможною, необходимою, желательною, спасительною? Ответ ясен и прост: *внепартийная, сверхклассовая, национальная, религиозно-вдохновенная и жизненно-творчески-гибкая диктатура.* Только она сумеет властною, авторитетною рукою остановить всякую новую гражданскую войну, подавить партийную резню и националистические погромы, сократить период хаоса, побудить население немедленно взяться за мирный труд, приступить сразу — к очищению страны от коммунистической нечисти и к водворению справедливых, устойчивых форм правопорядка. Без этого стране предстоит новая эпоха длительного распада и хаоса, *с вечными восстаниями авантюристов, субсидируемых из-за границы* и с новыми попытками гибельных расчленений извне и изнутри. Никакая республиканская форма, — центробежная по своей природе, — не справится с этой задачей. Никакая монархическая форма не сможет быть установлена на основе нелепого хаоса, в пыли и грязи революционно-контрреволюционного кипения. Спасти Россию сможет только *полновластный глава государства,* вокруг которого мы сможем творчески объединиться, *забыв все и помня одну Россию, не предрешая* той окончательной государственной формы, в которой Россия сможет в дальнейшем жить и крепнуть.

Это есть великая иллюзия, что «легче всего» возвести на престол законного Государя. Ибо законного Государя надо заслужить сердцем, волею и делами. Мы не смеем забывать исторических уроков: народ, не заслуживший законного Государя, *не сумеет иметь его,* не сумеет служить ему верою и правдою и предаст его в критическую минуту. Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа *монархического правосознания.* Республика есть правовой *механизм,* а монархия есть правовой *организм.* И не знаем мы еще, не видим мы еще, будет ли русский народ после революции готов опять сложиться в этот организм. Отдавать же законного Государя на растерзание антимонархически настроенной черни было бы сущим злодеянием перед Россией.

Посему: да будет *национальная диктатура, подготовляющая всенародное религиозно-национальное отрезвление!*

При таком положении дел нам, в зарубежии, надлежит блюсти скромность. А политически-партийное доктринерство из пространственного и временного далека — является непозволительным. Мы должны быть готовы к возвращению в Россию и к служению ей на месте при всяком *небольшевицком, некоммунистическом строе.* Мы будем служить *ей, ее* Делу, *ее* возрождению — предметно, честно и грозно. И *тогда, там, на месте,* учитывая реальную обстановку общенационального русского бытия, мы вместе со всей остальной Россией сумеем найти и создать, именно *творчески создать* новую государственную форму для нашей родины.

Именно в этом смысле и *только* в этом смысле мы считаем правильным *не предрешать* будущую государственную форму в России. Нам «приемлема» *всякая* небольшевицки-коммунистическая Россия; мы примем Россию во *всякой* политической форме — ... *только бы она нас опять приняла в свое вековое лоно.* И так обстоит потому, что *мы от России никогда и не отрывались,* что и в революционной горячке, и под коммунистическим игом, и в мученичестве тюрем, колхозов и концентрационных лагерей она всегда оставалась нашим духовным, национальным и территориальным лоном, нашей родиной, нашей святыней; и клятвы верности ей, произнесенные нами, будут жить в нас до конца.

Но это не значит, что мы согласны быть людьми без политической идеи, без государственного идеала, без национальной памяти и благодарности, без волевого хребта; людьми, не постигшими исторических путей и судеб своей родины; отвлеченными мечтателями, воображающими, что есть единая государственная форма, наилучшая для всех стран и народов или что любой народный организм может по человеческому произволу жить и развиваться в любой государственной форме...*

В вопросе о монархии и республике ныне необходимо идейное очищение душ и глубокий идейно-государственный пересмотр. Здесь нельзя восклицать, шуметь, агитировать, интриговать и грозить. Здесь все поколеблено событиями последних двадцати пяти лет. Здесь ничего «само собой» не «разумеется». Здесь необходимо идейное творчество, восстановление старых забытых истин и новое освещение, и новое углубление их из глубины нового опыта и вынесенных страданий.

Те, кто хотят быть ныне «русскими республиканцами»**, — должны прежде всего показать совместимость русского исторического бремени и русской исторической судьбы с республиканской формой; они должны вскрыть республиканские способности и склонности русского правосознания, если таковые имеются; они должны показать, что республика всегда была формой русского национального расцвета или, если этого доселе не было, — что так «наверное будет в дальнейшем» и почему именно... Если же они не сумеют доказать этого, то им придется остаться при их отвлеченном «идеале» и признать его *неприменимость в России.* Ибо нелепа и скандальна такая постановка вопроса: «Россия должна стать республикой, хотя бы ценою своей собственной гибели».

Но и этого мало, они должны открыто и принципиально *сосчитаться с фактом большевицкой республики,* ибо этот факт *вскрыл в республиканстве ряд больных и отвратительных уклонов.* Им придется доказать, что начала классовой борьбы, личного карьеризма, партийной интриги, гражданской войны, одним словом — всяческой социальной и политической *центробежности — не* составляют самой сути республиканства. Они должны открыто выговорить, что идея республики переживает в России и повсюду острый

---

* Это не значит, что территория принадлежит народу на праве частной собственности; она принадлежит ему на праве публичного властвования. Но культурная связь народа с территорией определяется именно через идею земного жилища и возделываемого поля.

* См. поучительную книгу генерала Б. А. Штейфона «Национальная военная доктрина».

* Как образец отвлеченного доктринерства в политике укажу на брошюру проф. Ф. Ф. Кокошкина «Республика», Петроград, 1917.

** Я подчеркиваю эту формулу: она означает «республиканцами из любви к национальной России». Ибо «республиканцем для России» может быть любой доктринер-иностранец, чуждый России и нисколько не принимающий ее благо к сердцу.

кризис, ибо *именно республика оказалась подходящей государственной формой для большевицкого содержания*. Пока русские республиканцы этого не сделали, пока они пытаются игнорировать постигшую их беду и притворяются, будто ничего особенного не случилось, — они продолжают оперировать устаревшей и мертвой схемой; и к их республиканству нельзя относиться серьезно.

А те, кто хотят быть ныне *русскими монархистами*, — должны утвердить свой монархизм в событиях и судьбах русского прошлого и вслед за тем показать, что русская национальная и историческая проблематика по-прежнему требует монархической формы, что Россия может стать республикой только ценою своей собственной гибели. Мало быть «монархистом» в смысле отвлеченного идеала; Россия есть великая историческая реальность, а мы обязаны стать *политическими реалистами*. И иностранцы должны понимать и чтить этот реализм так, как мы умеем чтить реализм швейцарского или североамериканского республиканства.

Но и этого недостаточно. Русские монархисты обязаны открыто сосчитаться с фактом крушения монархии в России и доказать, что *монархическая Россия рухнула не потому, что она была монархическая*. Они должны мужественно осмыслить и исследовать это крушение и постигнуть его духовные, социально-экономические и национально-имперские причины — и тогда заново обосновать и оправдать *идею монархии*. Они должны показать, что все те обвинения, которые выдвигаются республиканцами против монархии, — «вредная централизация», «кастовый режим», «бюрократическое средостение», «бесправный произвол», «реакционный обскурантизм», «временщичество» и т. д., словом, все начала *вредной и застойной центростремительности*, — совсем не составляют самой сути монархизма. Они должны доказать, что монархия сокрушилась в России не потому, что монархическая стихия была слишком *сильна* в стране, *а потому, что она ослабла, расшаталась и выветрилась в душах:* что за последние двадцать лет перед революцией государственный строй в России был «монархией» больше по закону и по имени, чем по существу, ибо радикально настроенная интеллигенция проводила *противо-монархическую* тактику *изоляции*, оклеветания и обессиления Царя; что *монархия в России заживо захлебнулась в чисто республиканской стихии недоверия к главе государства, ослабления его власти, интеллигентского честолюбия и партийной борьбы за власть*. Пока русские монархисты этого не сделали, пока они не очистили и не укрепили свое собственное монархическое правосознание и не доказали всем, что монархическая идея *творчески жива, сильна и национальна* (а не партийна!), они рискуют тем, что их «политику» будут принимать за политиканство и что они сами извратят идею монархии до полной неузнаваемости*...

Ныне весь мир стоит на великом распутьи: и духовно, и политически, и социально. *И кто хочет жить старыми, отжившими трафаретами, тот не имеет ничего сказать миру*.

Новое же добывается лишь через духовный опыт и творческое созерцание.

29. Россия спасется творчеством

Возродить Россию может только новая идея: ее могут воссоздать только обновленные души.

Нет больше *былой* России. Нет ее и не будет. Будет *новая* Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя. Ее дух жив и будет жить; мало того, — в невиданном крушении и в исторически небывалых страданиях дух русского народа очистится и углубится, закалится и расцветет. Но ее общественный и государственный уклад будет иной; и хозяйственный строй ее будет новый. Самый душевный материал, из которого будет строиться новая Россия, окажется не тем, что прежде. Все проблемы будут поставлены заново; все борозды и межи будут проведены иначе. Мы должны понимать это и предвидеть; мы обязаны готовиться к этому. Все, что было в нашем прошлом священного, мы должны понимать и хранить. Мы не смеем забыть ни одного из тех уроков, «нежданных и кровавых», которые послала нам история. Мы не отречемся ни от одной национальной святыни. И тем не менее мы должны готовить *не реставрацию*, а *новую Россию*.

Мы не должны пугаться этого: нас учит этому все наше историческое прошлое. Всю свою историю Россия провела в том, что *строилась на пепелище*. И то пепелище, которое останется нам в наследство от большевиков, будет не страшнее тех пепелищ, которые оставались нам от татар или от Смуты. Страшнее, опаснее будет то *духовное пепелище*, которое мы унаследуем после их крушения.

За прежними культурными, политическими и социальными лозунгами, увлекавшими русскую интеллигенцию (от «кантианства» до «толстовства», от «демократии» до «анархизма», от «народнической общины» до «марксизма») осталась некая духовная пустота; вся эта идеология повисла над бездною и все эти идеи стали беспочвенны и мертвы. Обновить их, наполнить их новым, зиждущим содержанием сможет только тот, что, отрешившись от всех доктрин и предрассудков, *уйдет опытом и созерцанием в глубину, к последним истокам человеческого духа*, к последним корням человеческого существа и человеческой *веры*.

Мы должны понять и усвоить эту суровую истину: *безыдейная интеллигенция не нужна своему народу*. Она не исполняет своего назначения; она не может никого вести; она есть мнимая реальность, историческая накипь, политический мираж.

Нет «всеисцеляющих средств» и рецептов; нет спасительных трафаретов. И заимствовать их нам не у кого. Никто не разведет руками нашу беду, никто не сумеет и ума приложить к ней. А если бы нашлись такие из иностранцев, то только с тем, чтобы использовать нашу беду и попытаться построить на ней свое собственное благополучие.

Россия спасется творчеством, — обновленной религиозной верой, новым пониманием человека, новым политическим строительством, новыми социальными идеями.

Так, западно-европейский разрыв между *научным знанием* и *верою* может привести культуру только в тупик и в разложение. Россия будет добывать себе *новое знание* и *новую веру**.

Безбожная *мораль* черствой порядочности — не удовлетворит русскую совесть.

Русское *искусство* вернется к своим собственным созерцаниям и глубинам, и западный модернизм перестанет быть для него соблазном**.

Европейский разрыв между формальным *правом* и живым правосознанием — не поведет за собою Россию. Возникнет новая, *русская культура права*.

Россия создаст *новую политическую форму*, подходящую только для нее, но зато действительно соответствующую всем ее нуждам.

Возникнет новая русская, национальная *культура*, которая пойдет от *прежних* национальных корней, но по-новому и к новому расцвету.

* Срв., напр., кощунственно бредовую и бесконечно пошлую идею «Царь и Советы».

* При этом разумеется не новая религия, а новый акт веры в пределах православного христианства. См. об этом мою статью «Идея обновленного разума» в № 5 «Русского Колокола».

** См. об этом мою книгу «Основы художества. О совершенном в искусстве».

То, что нам нужно, есть *новая постановка* и *новое разрешение* все тех же вечных проблем, но из нового, национально-трагического опыта истории. Мы повинны России новыми идеями и новыми ведущими словами; не отрицательными только, но и положительными; не отвлеченными выдумками, не рассудочными построениями, не демагогическими выкриками. Здесь спасительны только: *чувство ответственности, почвенность духовного опыта, серьезность ищущей мысли*. Ибо те новые идеи и новые слова, которые необходимы новой России, будут вероятно лишь вновь открытою, но зато по-новому постигнутою древнею мудростью.

Эта древняя и священная глубина духовного опыта не должна отпугивать нас. Наоборот. Увидеть сквозь завесу новых событий старую истину и ее верность, увидеть ее по-своему и по-новому, извлечь из нее умудрение для будущей России — будет для нас не разочарованием, а радостью. Ибо в конечном счете новое ценно не новизною своею, а *целительной верностью*.

Русский народ вернется к Богу и ко Христу, чтобы по-новому заткать и создать новую христианскую культуру.

●

30. Заключение

Восстановить Россию можно только верным, предметным служением ей, которое должно быть почувствовано и осмыслено, как служение Делу Божиему на земле. Нас должен вести религиозно-осмысленный патриотизм и религиозно-вдохновенный национализм. Тогда наше служение найдет верные пути и примет верные формы.

Вот основы такого служения.

1. Для всех политических событий есть единое и единственное мерило: русский национальный интерес — интерес Богу служащей России.

2. Россия ни на кого не похожа. Она — единственна в своем роде во всей истории человечества. Она идет своими путями. Ей необходимы свои, особые формы жизни.

3. Чтобы найти эти новые русские формы бытия, надо созерцать Россию, как она есть, — *ее* дары, *ее* опасности, *ее* нужды, *ее* силы и слабости; и *из* нее самой, *для* нее самой создавать верный уклад, и строй, и порядок, и власть, а не навязывать ей иностранные, инославные, иноплеменные трафареты.

4. Россия — наше отечество, наша родина, русское государство — выше классов, сословий, партий, выше всякого лица и всякого рода, выше династии. *Мы* призваны *ей* служить, а *не она нам*. Она не есть «механическая сумма» лиц, партий и классов. Она есть живое, органическое, таинственное и священное единство и зовет нас всех к совместному единению перед лицом Божиим.

5. Русский — это тот, кто принимает Россию огнем своей любви и служит ей волею и делами. И вот, русский русскому брат в предметном служении Родине, как общему и совместному Делу Божьему на земле. Мы свободны объединяться с нашими братьями по единочувствию и единомыслию. Но всякая непредметная вражда, борьба и ненависть между русскими — запретна и позорна.

6. У русских должна быть ныне одна главная забота: во всем и всегда искать ответственного служения, стоять «безо всякие шатости» и дело России «нести честно и грозно». И, так служа, искать себе таких же людей, верных, крепких и грозных. С ними договариваться до полного доверия. И беспощадно жечь в себе всякие непредметные и противопредметные побуждения.

Таковы основы борьбы за национальную Россию.

●

К читателям

В афише «Слова», опубликованной в предыдущем номере, мы еще не могли сообщить читателям новую цену журнала на 1992 год, хотя и предполагали, что она увеличится не менее чем вдвое. Теперь сообщаем: цена номера для подписчиков 3 рубля, в розницу — 4 рубля.

Годовая подписка — 36 рублей, на полгода — 18 рублей, на три месяца — 9 рублей.

Весть неутешительная, но такова реальность наших дней. Точно так же — в два и три раза — увеличатся цены и на все другие периодические издания, поскольку бумага подорожала в пять-десять раз (в зависимости от вида и сорта), а «Союзпечать» и другие ведомства тоже требуют свою «мзду». И все это прикрывается разговорами о «рынке», который еще только грядет...

И все-таки даже в этих условиях тотальной экономической войны с прессой, брошенной на растерзание этого невиданного по своей дикости «рынка» теневиков, у нас есть возможность сохранить журнал. И сохранить не с помощью каких-либо партий, общественных или государственных организаций, спонсоров, готовых платить, а значит и «заказывать музыку», диктовать свои условия. Единственная наша надежда только на вас, наши подписчики.

ПОДПИСКА — ЭТО И ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ НАШЕЙ И ВАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, НАШЕЙ И ВАШЕЙ СВОБОДЫ, НАШЕГО ОБЩЕГО СВОБОДОМЫСЛИЯ.

Потому как действительно только благодаря подписке мы пользуемся сейчас той степенью свободы слова, которую, быть может, еще никогда не ведала наша пресса. И пользуемся, хочется надеяться, во благо читателей, а не своих собственных групповых или партийно-клановых интересов. Во всяком случае, именно к этому мы стремимся, открывая для читателей новые имена, новые книги, новые идеи того удивительного явления в мировой истории и в мировой культуре, которое называется Русским Миром, Русской Идеей.

Впрочем, дело не только в направлении и «позиции» журнала, но еще и в новом типе литературно-художественного издания, который мы пытались выработать в эти два года. Книги по ценам (в этом, к сожалению, сомневаться не приходится) вскоре будут еще более недоступными, чем журналы. А потому не торопитесь отказываться от любых журнальных подписок, поскольку годовые подписки будут стоить гораздо дешевле, чем двенадцать книг, которые вы сможете купить за год по 5—7—10 рублей.

«Слово» же в этом отношении вообще является единственным в нашей стране журналом-дайджестом издательских новинок, книг, возвращенных из спецхранов, из Русского Зарубежья.

Подписка на «Слово» поможет каждому остаться в мире культуры, в мире книг. Многообразие литературной и художественной жизни в «Слове» заменит вам целую библиотеку. Только сохраняйте все номера, комплектуйте и переплетайте годовую подшивку.

Помните, что журнал «Слово» не только послужит вам, но и вашим внукам и правнукам. Правда историческая переиздается редко, она всегда живет вместе со своим временем. Вместе со временем публикуется или же прячется от современников...

«МОСКВА»

Если судьба России — ваша судьба; если вы мечтаете о сохранении ее достоинства и о ее процветании; если вы хотите знать правду о русской истории и культуре, ВЫПИСЫВАЙТЕ НАШ ЖУРНАЛ! ДО КОНЦА 1991-го и В 1992 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ «МОСКВА» ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ:

Новые произведения В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, Д. Балашова, В. Лихоносова, В. Солоухина, Л. Бежина, Г. Горышина; книгу В. Сукача «Жизнь В. В. Розанова как она есть».

Новые стихи Ю. Кузнецова, В. Лапшина, Т. Ребровой, Т. Смертиной, М. Шелехова; современные духовные стихи; народные песни, баллады, басни; политическую сатиру. Прозу и стихи писателей Русского Зарубежья — А. Муравьева, Р. Гуля, Б. Филиппова, И. Елагина; документальный роман Л. Леховича «Белые против красных. Жизнь и смерть генерала Деникина» (США); мемуарную прозу Н. Савича «Закат Белого движения» (Франция); книгу иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти» (перевод с английского).

В рубрике **«НАШИ ПУБЛИКАЦИИ»** — неизвестные работы русских мыслителей И. Ильина, Л. Карсавина, К. Леонтьева, М. Меньшикова; старцев Оптиной пустыни; публицистику К. Аксакова, А. Куприна, Д. Святополка-Мирского, письма М. Волошина.

В рубрике **«РОССИЯ В МИРЕ»** — что думают о нас за рубежом?

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ»:
К. Победоносцев, П. Столыпин, А. Суворин и другие общественные и политические деятели России.

В рубрике **«ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ»** — житийный календарь, месяцеслов, проповеди, сочинения святых отцов Русской Православной Церкви, помогающие созиданию и сохранению христианской семьи.

Новая постоянная рубрика — **«ДУША И ЗДОРОВЬЕ».**
Тысячелетний опыт народного врачевания.

В рубрике **«РУССКИЕ, РОССИЯ, СОЮЗ»** — материалы о социальных, экономических, демографических проблемах русского народа, о положении русских в «бывших» союзных республиках, о будущем русской нации. Статьи К. Мяло, Ю. Воробьевского, С. Кургиняна, Г. Литвиновой, М. Лемешева, И. Шафаревича, В. Тростникова и др.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
Взгляд на положение дел в современном ГУЛАГе.

В рубрике **«ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР: КТО ЕСТЬ КТО!»** — анализ программ и деятельности новых политических партий (Христианско-демократическая партия, либерально-демократическая партия, «Отечество», «Единство» и др.).

В разделе **«КРИТИКА»** — дискуссионные материалы о современном литературном авангарде, о писателях «третьей волны» эмиграции, о престиже и ответственности писателя, о судьбах русского языка.
Воспоминания о В. Шукшине, А. Вампилове, С. Клычкове.

В рубрике **«ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРБИТРАЖ»** — заметки, эссе, статьи о литературных новинках. Обзоры русской зарубежной печати (журналы «Вече», «Возрождение», «Беседа», «Континент» и др.). Наши авторы — известные критики Л. Аннинский, Ю. Архипов, А. Гулыга, В. Гусев, Ю. Давыдов, В. Кожинов, В. Курбатов, А. Ланщиков, Е. Лебедев, О. Михайлов, П. Палиевский, Н. Скатов, Б. Тарасов.

НАШИ УБЕЖДЕНИЯ:
— не конфронтация, а творческая дискуссия;
— не «плюрализм», а общее движение к истине;
— не разрушение, а строительство;
— не космополитизм, а национальное самосознание;
— не элитарность литературы, а народность;
— не ненависть, а любовь.

Если вас заинтересовала наша программа —
ВЫПИСЫВАЙТЕ ЖУРНАЛ «МОСКВА».

Наш индекс — 73253.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В 1992 году журнал предполагает опубликовать:

Андрей Шолохов. «Генерал Скобелев». Документальная повесть о легендарном русском полководце, его связях с масонами и загадочной смерти.

Ринат Махмадиев. «Львы и канарейки». Роман о советской мафии.

Александр Сизоненко. «Далекий Бейкуш». Роман об экологических диверсантах, едва не приведших Украину к гибели.

Евгений Ельмин, Юрий Чернявский. «Заложники безумия». Политический роман об острейших социальных проблемах современной Прибалтики и России.

Александр Афанасьев. «Сэниг». Приключенческий роман о подвигах военного разведчика.

ОТЕЧЕСТВО НА КРАЮ ГИБЕЛИ. ПУТЬ К СПАСЕНИЮ — В НАЦИОНАЛЬНОМ СПЛОЧЕНИИ!

Об этом размышляют блистательные публицисты и критики нашего времени: М. Лобанов, В. Бушин, С. Золотцев, В. Якушев, Э. Володин, В. Зерубин, Г. Климов, Ю. Калабухов, П. Ланин, С. Жариков, Ю. Прокушев, А. Кузьмин, Д. Жуков, В. Васильев, В. Тростников, Н. Федь, С. Королев,

В. Канашкин...
Свои новые работы обещали журналу: Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Петр Проскурин, Иван Стаднюк, Николай Кузьмин, Валентин Распутин, Юрий Сергеев, Эдуард Скоболев, Сергей Михеенков...
Боль, тревоги и надежды народа — в стихах О. Фокиной, В. Цыбина, И. Савельева, В. Фирсова, С. Викулова, С. Куняева, И. Ляпина, И. Тюленева, В. Сорокина, В. Солоухина, Т. Глушковой, Т. Зульфикаровой, Я. Васильева, В. Топорова, Л. Котюкова...
ЧИТАТЕЛЬ, ПОМНИ! СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА В НАШИХ С ТОБОЙ РУКАХ!

Наш индекс — 70644.

«НАШ СОВРЕМЕННИК»

До конца этого года и в 1992 году вы прочтете в журнале:

ПРОЗА

Дмитрий БАЛАШОВ. Похвала Сергию. Роман о жизни Преподобного Сергия Радонежского; Юрий БОНДАРЕВ. Мгновения (цикл художественных миниатюр); Размышления о русской и мировой литературе; отец Дмитрий ДУДКО. Проповедь через позор (свидетельство православного священника, прошедшего через унижения властей и брежневские лагеря); Олег ВОЛКОВ. Воспоминания (новое произведение тематически продолжает книгу «Погружение во тьму»); Дмитрий ЖУКОВ. Сны (исторический роман о В. В. Шульгине); Владимир КРУПИН. Прощай, Россия, встретимся в раю. Стариковские записки. Повесть; Станислав КУНЯЕВ. Сергей Есенин. Из серии «Жизнь замечательных людей»; Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы; Валентин ПИКУЛЬ. На задворках империи. Главы из неоконченной третьей части романа; Александр ПРОХАНОВ. Ангел пролетел. Роман-метафора; Аркадий САВЕЛИЧЕВ. Потоп (трагическая история затопления старинных русских сел и городов на Волге в предвоенные годы); Владимир СОЛОУХИН. Камешки на ладони.

СТИХИ

Леонида БОРОДИНА, Виктора КОЧЕТКОВА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Виктора ЛАПШИНА, Бориса СИРОТИНА, Валентина СОРОКИНА, Геннадия СТУПИНА, других поэтов.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий БОРОДАЙ. Третий путь; Николай ИВАНОВ. «ШТОРМ—333» (неизвестные материалы, рассказывающие о том, что предшествовало принятию решения о вводе наших войск в Афганистан); Андрей ЛАПИН. Наука и природа (предисловие И. Шафаревича «Метод, несущий смерть...»); Михаил ЛЕМЕШЕВ. Слово о Волге; Владимир ЛИЧУТИН. Новые очерки из цикла «Душа неизъяснимая»; Федор НЕСТЕРОВ. Наиболее интересные фрагменты из только что законченной книги «Очерки по истории зарубежной русофобии»; НАМ ГОТОВЯТ 41-Й ГОД... (Ядерный щит и национальная идея: «круглый стол» в Сарове и Москве); Владимир ОВЧИНСКИЙ. «Бархатная» революция, или Контрперестройка; Анатолий САЛУЦКИЙ. Вечная номенклатура; Игорь ШАФАРЕВИЧ. «Русофобия»: десять лет спустя; Юлия ШИШИНА. Психодизайн — XXI. Технология Апокалипсиса; Николай ФЕДОРЕНКО. Китай: открывая будущее.

Свои новые работы в «Наш современник» передают Михаил АНТОНОВ, Александр ДУГИН, Игорь ДЬЯКОВ, Станислав ЗОЛОТЦЕВ, Вадим КОЖИНОВ, Аполлон КУЗЬМИН, Сергей КУРГИНЯН, Александр МИХАЙЛОВ.

В РУБРИКЕ «ЛЕТОПИСЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»

Лев ГУМИЛЕВ. Великий князь Святослав Игоревич; Николай ЛИСОВОЙ. Святой равноапостольный князь Владимир; Митрополит Иларион; Вадим КОЖИНОВ. Ярослав Мудрый; Юрий ЛОЩИЦ. Феодосий Печерский.

В РУБРИКЕ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АРХИВ»

Николай КЛЮЕВ. Неизвестные письма; М. О. МЕНЬШИКОВ. Неопубликованные работы; Сергей НЕБОЛЬСИН. Запрещенный Александр Блок.

В РУБРИКЕ «ЗАРУБЕЖНАЯ МЫСЛЬ»

Мартин ХАЙДЕГГЕР. Философские эссе; Дуглас РИД. Спор о Сионе. 2500 лет еврейского вопроса.

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ВЫСТУПАЮТ:

Глеб ГОРЫШИН, Валентин КУРБАТОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Олег МИХАЙЛОВ, Петр ПАЛИЕВСКИЙ, Дмитрий УРНОВ и другие.

Наш индекс — 732747.



СЛОВО

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Учредители — Министерство информации и печати СССР и трудовой коллектив редакции журнала.
Издается с сентября 1936 года.
№ 8. 1991.

В НОМЕРЕ:

Сдано в набор 24.06.91.
Подписано в печать 3.07.91.
Формат 84×108/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,05+0,99.
Печ. л. 5,0+0,5+0,25.
Тираж 165 500 экз.
Заказ 2248.
Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64.
Телефон для справок:
281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Государственного комитета СССР по печати.
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

Владимир Коркодым



Фото Павла Кривцова